RINA NVOVA TA

Нил Стивенсон



Ртуть

Ртуть
Нил Стивенсон

Аннотация
Нил Стивенсон. Книга первая. Ртуть
К Музе
Бостонский луг. 12 октября 1714 г., 10:33:52 до полудня.
1655
Ньютаун, Колония Массачусетского залива. 12 октября 1713 г.
Коллегия Святой и Нераздельной Троицы. 1661 г.
Бостон, Колония Массачусетского залива. 12 октября 1713 г.
Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж. 1663 г.
На «Минерве», Массачусетский залив. Октябрь, 1713 г.
Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж. 1664 г.
Ни «Минерве», Массачусетский залив. Октябрь, 1713 г.
Берег реки Кем. 1665 г.
На «Минерве» у побережья Новой Англии. Ноябрь, 1713 г.

Чумной год. Лето, 1665 г.
Эпсом. 1665-1666 г.
На «Минерве», Плимутский залив, Массачусетс. Ноябрь, 1713 г.
Вулсторп, Линкольншир. Весна, 1666 г.
На «Минерве», Плимутский залов, Массачусетс. Ноябрь, 1713 г.
Чаринг-Кросс. 1670 г.
Собрание Королевского общества, колледж Грешема. 12 августа, 1670 г.
На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс. Ноябрь, 1713 г.
Колледж Грешема, Бишопсгейт, Лондон. 1672 г.
Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж. 1672 г.
Лондонский мост. 1673 г.
На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс. Ноябрь, 1713 г.
Собрание Королевского общества, Ганфлит-хаус. 1673 г.
На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс. Ноябрь, 1713 г.
Сити. 1673 г.
На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс. Ноябрь, 1713 г.

Аннотация

Алхимия и герметика.

«Королевское искусство» и «искусство королей».

Загадочная наука, связавшая в прочную цепь магов и авантюристов, философов и чернокнижников.

Алхимиков то принимали как равных, то жгли на кострах Святой инквизиции.

Перед вами — история одного из ПОСЛЕДНИХ АЛХИМИКОВ Европы.

История тайн и приключений, чудес и мистических открытий.

Потрясающая интеллектуальная фэнтези, открывающая читателю НОВУЮ ГРАНЬ таланта Нила Стивенсона!

Нил Стивенсон
Книга первая
Ртуть

Женщине на втором этаже

К Музе

Яви себя, о Муза. Ты ведь здесь.
Коль правы барды, коих нет давно,
Ты — пламени и дуновенья смесь.
Моё перо, как я, погружено
Во мрак полночный жидкий, без тебя
Тьму лишь расплещет — свет не даст оно.
Оперена огнём — стоишь в тени…
Очнись! Пусть вихри света разорвут
Глухой покров. Навстречу мне шагни!
Но нет, не ты во тьме — лишь я, как спрут
Плыву, незряч, в клубах своих чернил,
Что сам к твоей досаде породил.
Завесу тёмную одно перо
Пронзить способно. Вот оно. Начнём.

Заимствующие основания своих рассуждений из гипотез… создали бы весьма изящную и красивую басню, но всё же лишь басню.

Роджер Котс, предисловие ко второму изданию книги сэра Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии», 1713 [1]

[1] Примечания: 1
Перевод академика А. Н. Крылова.

Бостонский луг
12 октября 1714 г., 10:33:52 до полудня.

Енох появляется из-за угла в тот миг, когда палач возносит петлю над осуждённой. Молитвы и рыдания в толпе стихают. Джек Кетч[2] стоит, руки на весу — ни дать ни взять плотник, вздымающий коньковый брус. Петля сжимает круг синего новоанглийского неба. Пуритане смотрят и, судя по всему, думают. Енох Красный останавливает чужую лошадь у самого края толпы и видит, что цель палача — не продемонстрировать толпе узел, а дать ей краткую (и для пуритан — дразнящую) возможность увидеть врата в мир иной, их же ни один из нас не минует.

Бостон — щепотка холмов в ложке болот. Дорогу вдоль ложки преграждает стена, перед которой, как водится, торчат виселицы, а казнённые, либо их части, болтаются в воздухе или прибиты к городским воротам. Енох только что оттуда и думал, что больше такого не увидит:

---

[2] Примечания: 2

См. список действующих лиц в конце книги. (Прим. перев.)
Конец книги будет в конце третьей части. (Примечание Fim Killby)

дальше должны были начаться корчмы и церкви. Впрочем, мертвецы за воротами — обычные воры, казнённые за мирские преступления. То, что происходит сейчас на выгоне, ближе к священнодействию.

Петля ложится на седые волосы словно царский венец. Палач тянет её вниз. Голова женщины раздвигает петлю, как головка младенца — родовые пути. Миновав самое широкое место, верёвка падает на плечи. Колени топырят передник, юбки телескопически складываются под оседающим телом. Палач одной рукой обнимает женщину, словно учитель танцев, а другой поправляет узел, покуда председатель церковного суда зачитывает смертный приговор, убаюкивающий, как соглашение аренды. Зрители почесываются и переминаются с ноги на ногу. Здесь вам не Лондон, так что развлечений никаких — ни улюлюканья, ни ярмарочных фигляров, ни карманников. На дальней стороне луга солдаты в красных мундирах отрабатывают строевой шаг у подножия холма, на вершине которого расположился каменный пороховой склад. Сержант-ирландец орет устало, хотя и с искренним возмущением, — голос плывет по воздуху бесконечно, как запах или дым.

Енох приехал не для того, чтобы смотреть расправу над ведьмой, но раз уж он здесь, повернуть в сторону было бы нехорошо. Звучит барабанная дробь, наступает внезапная неловкая тишина. Енох решает, что это не худшее повешение, какое ему доводилось видеть: женщина не брыкается, не корчится, верёвка не развязывается и не рвётся. Короче, на редкость справная работа.

Он не знал, чего ждать от Америки. Однако, судя по всему, здешний люд исполняет любое дело — включая повешения — с грубоватой сноровкой, которая одновременно восхищает и действует на нервы. Местные жители берутся за тяжелый труд с хладнокровным спокойствием лососей, преодолевающих пороги на пути к нерестилищу. Как будто они от рождения знают то, что другие должны перенимать у родных и односельчан вместе со сказками и суевериями. Может быть, это оттого, что они по большей части прибыли сюда на кораблях.

Когда обмякшую ведьму срезают с виселицы, над выгоном проносится порыв северного ветра. По температурной шкале сэра Исаака Ньютона, в которой ноль — точка замерзания, а двенадцать — теплота человеческого тела, сейчас должно быть градуса четыре. Будь здесь

герр Фаренгейт с его новым термометром — запаянной ртутной трубкой, — он бы намерил за пятьдесят. Впрочем, такого рода ветер, налетающий с севера по осени, холодит сильнее, нежели может определить прибор. Он напоминает присутствующим, что, если они не хотят умереть в ближайшие несколько месяцев, надо запасать дрова и конопатить щели. Хриплый проповедник под виселицей, чувствуя ветер, решает, что сам сатана явился по ведьмину душу, и спешит поделиться своими мыслями с паствой. Вещая, он смотрит Еноху в глаза.

Енох чувствует растущее стеснение в груди — предвестие страха. Что мешает им схватить и повесить *его* как колдуна?

Каким его видят колонисты? Человек неопределённого возраста, явно много повидавший, с седой косицей на затылке, медно-рыжей бородой, светлыми глазами и лицом, продублённым, словно кожаный фартук кузнеца. В длинном дорожном плаще, с притороченными вдоль седла посохом и старомодной рапирой, на отменном вороном коне. Два пистолета за поясом, заметные издалека, скажем, из засады, в которой сидят индейцы, грабители или французские мародёры. (Ему хочется их спрятать, но неумно браться за

пистолеты в таком месте.) В седельных сумках (если их обыскать) обнаружатся приборы, склянки со ртутью и кое-что ещё более странное (в том числе, на взгляд бостонцев, опасное) — книги на древнееврейском, греческом и латыни, наполненные алхимической и каббалистической тайнописью. В Бостоне они могут сослужить ему дурную службу.

Однако толпа воспринимает хриплые разглагольствования проповедника не как призыв к оружию, а как сигнал расходиться по домам. Солдаты разряжают мушкеты с глухим звуком, словно на барабан бросили пригоршню песка. Енох спешивается в толпе колонистов, закутывается в плащ, пряча пистолеты, опускает капюшон и становится похож на любого другого усталого пилигрима. Он искоса оглядывает лица, избегая встречаться с кем-либо глазами, и видит на удивление мало воинствующего ханжества.

— Бог даст, — говорит кто-то, — это последняя.

— Последняя ведьма, сэр? — спрашивает Енох.

— Я хотел сказать, последняя казнь.

Обтекая, как вода, подножие крутого холма, люди движутся через погост на южном краю общественной земли (уже переполненный) и вслед за телом ведьмы по улицам. Дома по боль-

шей части деревянные, церкви — тоже. Испанцы воздвигли бы один огромный собор — каменный снаружи, позолоченный внутри, — но колонисты ни в чем не могут прийти к согласию. В этом смысле Бостон больше похож на Амстердам — множество церковок (иные почти неотличимы от сараев), и в каждой, без сомнения, учат, что остальные заблуждаются. Хотя, во всяком случае, колонисты могли достаточно столковаться, чтобы повесить ведьму. Её несут к новому кладбищу, устроенному почему-то под зерновыми амбарами. Енох не знает, как расценивать решение хранить источник своей жизни и своих покойников практически в одном месте — как некое послание городских властей или как простую безвкусицу.

Енох видел не один горящий город и сразу примечает на главной улице следы большого пожара. Дома и церкви отстроены заново из дерева и камня. Он минует, видимо, самый большой бостонский перекрёсток, где дорогу от городских ворот пересекает широкая улица, которая ведёт прямиком к воде и продолжается длинной пристанью за полуразрушенным валом из брёвен и камней — бывшей дамбой. Вдоль длинной пристани тянутся казармы. Она так далеко вдаётся

в залив, что у её конца смог пришвартоваться большой военный корабль. Повернув голову в другую сторону, Енох видит на холме батарею; канониры в синих мундирах суетятся возле бочкообразной мортиры, готовые накрыть огнём любой испанский или французский галеон, нарушивший неприкосновенность залива.

Итак, протянув мысленную линию от мёртвых воров у городских ворот до порохового склада и дальше от виселицы на выгоне до портовых оборонительных сооружений, Енох получает одну декартову числовую ось (которую Лейбниц назвал бы ординатой); он понимает, чего боятся бостонцы и как церковники с военными поддерживают здесь порядок. Правда, надо еще выяснить, что прочертится вверх и вниз. Бостонские холмы разбросаны среди бесконечной болотистой низины, которая медленно, как сумерки, растворяется в гавани или реке, образуя пустые плоскости, на которых люди с веревками и вешками могут построить любые кривые, какие заблагорассудится.

Енох говорил со шкиперами, бывавшими в Бостоне, и знает, где начало этой системы координат. Он идёт к длинной пристани. Среди каменных купеческих домов есть кирпично-крас-

ная дверь, над которой болтается виноградная гроздь. Енох проходит в дверь и попадает в приличную таверну. Люди при шпагах и в дорогой одежде поворачивают к нему голову. Торговцы рабами, ромом, патокой, чаем и табаком; капитаны кораблей, которые всё это перевозят. Таверна могла бы стоять в любой точке мира; в Лондоне, Кадисе, Смирне или Маниле её наполняли бы те же люди. Им глубоко безразлично (если вообще известно), что в пяти минутах ходьбы отсюда вешают ведьм. Здесь Еноху было бы весьма уютно, но он явился сюда не за уютом. Конкретного капитана, которого он ищет — ван Крюйка, — в таверне нет. Енох торопится на улицу, пока трактирщик не принялся зазывать его внутрь.

Снова в Америку, к пуританам. Он входит в узкую улочку и ведёт лошадь по шаткому мостику через речушку, вращающую мельничное колесо. Флотилии стружек из-под плотницкого рубанка плывут по воде, словно корабли на войну. Под ними слабое течение несёт к заливу убойные отбросы и экскременты. Вонь соответствующая. Несомненно, где-то с наветренной стороны притулился свечной заводик, где сало, негодное в пищу, становится свечами и мылом.

— Вы из Европы?

Енох чувствовал, что кто-то за ним идёт, но, оборачиваясь, никого не видел. Теперь он понимает почему: его тень — мальчишка, подвижный, как шарик ртути, который невозможно придавить пальцем. На вид ему около десяти. Тут мальчуган решает улыбнуться и раздвигает губы. Из ямок в розовых дёснах лезут коренные зубы, молочные качаются, как вывеска таверны на кожаных петлях, Нет, на самом деле ему ближе к восьми, просто на треске и кукурузе он не по годам вымахал — во всяком случае, по сравнению с лондонскими сверстниками.

Енох мог бы ответить: «Да, я из Европы, где дети обращаются к старшим „сэр“, если вообще обращаются». Однако он не может пропустить терминологическую интересность.

— Значит, вы зовете это место Европой? — спрашивает он. — Там обычно говорят «христианский мир».

— Здесь тоже живут христиане.

— Ты хочешь сказать, что это тоже христианский мир, — говорит Енох, — а вот я прибыл из какого-то другого места… Хм-м. Быть может, Европа и впрямь более удачный термин.

— А как другие её называют?

— По-твоему, я похож на школьного учителя?

— Нет, но говорите как учитель.

— Так ты кое-что знаешь про школьных учителей?

— Да, сэр, — отвечает мальчишка и осекается, видя, что угодил в капкан.

— И тем не менее в понедельник днём…

— В школе никого нет, все побежали смотреть казнь. Не хочу сидеть и…

— И что?

— Обгонять других сильнее, чем уже обогнал.

— Коль скоро ты обогнал других, то надо привыкать к этому, а не превращать себя в дурачка. Иди, твоё место в школе.

— Школа — место, где учатся, — говорит мальчик. — Если вы соблаговолите ответить на мой вопрос, я чему-нибудь научусь, и это будет означать, что я в школе.

Мальчонка явно опасен. Поэтому Енох решает принять предложение.

— Можешь обращаться ко мне «мистер Роот». А ты кто?

— Бен. Сын Джосайи. Мой отец — свечник. Почему вы смеётесь, мистер Роот?

— Потому что в большей части христианского мира — или Европы — сыновья свечников не посещают школу. Это особенность… здешнего

люда. — Енох едва не сказал «пуритан». В Англии, где пуритане — воспоминание давно ушедшей эпохи или докучливые уличные проповедники, такой ярлык успешно означает неотёсанных обитателей Колонии Массачусетского залива. Однако здесь всё напоминает Еноху, что правда куда сложнее. В лондонской кофейне можно всуе поминать ислам, и магометан, но в Каире таких терминов нет. Здесь — пуританский Каир.

— Я отвечу на твой вопрос, — говорит Енох, прежде чем Бен успевает задать следующий. — Как в других краях называют то место, откуда я прибыл? Что ж, ислам — более крупная, богатая и в некотором смысле более умудрённая цивилизация, объемлющая европейских христиан с востока и с юга, — делит мир всего лишь натри части: их часть, сиречь *дар Аль-Ислам*; часть, с которой они состоят в дружбе, сиречь *дар аль-сульх*, или Дом Мира; и всё остальное, сиречь *дар аль-харб*, или Дом Войны. Последнее, вынужден признать, куда лучше слов «христианский мир» описывает края, населённые христианами.

— Я знаю про войну, — самоуверенно говорит Бен. — Она закончилась. В Утрехте подписан мир. Франция получает Испанию. Австрия — Испанские Нидерланды. Мы — Гибралтар,

Ньюфаундленд, Сент-Киттс и… — понизив голос, — …работорговлю.

— Да… «Асьенто».

— Тс-с! У нас тут есть противники рабства, сэр, и они опасны.

— У вас есть гавкеры?

— Да, сэр.

Енох пристально изучает мальчика, ибо человек, которого он ищет, тоже своего рода гавкер. Полезно узнать, как смотрят на них в округе менее одержимые собратья. В лице Бена читается скорее осторожность, нежели презрение.

— Но ты говоришь только об *одной* войне.

— Войне за Испанское наследство, — кивает Бен, — причиной которой стала смерть короля Карла Страдальца.

— Я бы сказал, что смерть несчастного была не причиной, а поводом, — замечает Енох. — Война за Испанское наследство была лишь второй и, надеюсь, последней стадией великой войны, которая началась четверть столетия назад, во времена…

— Славной Революции!

— Как некоторые её называют. Ты и впрямь посещал уроки, Бен, хвалю. Может быть, ты знаешь, что во время Революции английского короля —

католика — пнули коленом под зад и посадили на его место протестантских короля и королеву.

— Вильгельма и Марию!

— Верно. А ты не задумывался, из-за чего протестанты и католики вообще начали воевать?

— У нас в школе чаще говорят про распри *между* протестантами.

— Ах да — явление сугубо английское. Это естественно, ибо твои родители попали сюда в результате именно такого конфликта.

— Гражданской войны, — говорит Бен.

— Ваши выиграли Гражданскую войну, — напоминает Енох, — но после Реставрации им пришлось туго, и они вынуждены были бежать сюда.

— Вы угадали, мистер Роот, — говорит Бен, — ибо именно так мой родитель покинул Англию.

— А твоя матушка?

— Уроженка острова Нантакет, мистер Роот. Правда, её отец бежал сюда от жестокого епископа — ах и епископ, о нем такое говорят…

— Ну вот, Бен, наконец-то я нашёл изъян в твоих познаниях. Ты имеешь в виду архиепископа Лода — ярого гонителя пуритан, как некоторые называют твоих сородичей, — при короле Карле I. Пуритане в отместку оттяпали голову тому

самому Карлу на Чаринг-Кросс в лето Господне тысяча шестьсот сорок девятое.

— Кромвель, — говорит Бен.

— Да, Кромвель имел к упомянутым событиям некоторое касательство. Итак, Бен. Мы стоим у этой речушки уже довольно долго. Я замёрз. Моя лошадь беспокоится. Мы отыскали место, в котором твои познания сменяются невежеством. Я с удовольствием исполню свою часть соглашения — чему-нибудь тебя научить, дабы, вернувшись вечером домой, ты мог сказать Джосайе, что пробыл весь день в школе; впрочем, слова учителя могут разойтись с твоими. Однако взамен я попрошу кое-каких услуг.

— Только назовите их, мистер Роот.

— Я приехал в Бостон, чтобы разыскать некоего человека, который, по последним сведениям, проживал здесь. Он — старик.

— Старше вас?

— Нет, но выглядеть может старше.

— Тогда сколько ему лет?

— Он видел, как скатилась голова Карла I.

— Значит, по меньшей мере шестьдесят три.

— Вижу, ты научился складывать и вычитать.

— А также умножать и делить, мистер Роот.

— Тогда возьми в расчёт вот что: тот, кого я

ищу, отлично видел казнь, ибо сидел на плечах у своего отца.

— Значит, годков ему стукнуло совсем мало, разве что родитель его был не слабого десятка.

— В определённом смысле его родитель и впрямь был не слабого десятка, — говорит Роот, — ибо за двадцать лет до того ему по приказу архиепископа Лода в Звёздной палате отрубили уши и нос, однако он не устрашился, а продолжал обличать монарха. Всех монархов.

— Он был гавкер. — И вновь лицо Бена не выразило презрения. Как же это место не похоже на Лондон!

— Ладно, возвращаясь к твоему вопросу, Бен: Дрейк не обладал исключительной силой или мощью телосложения.

— Значит, сын на его плечах был совсем мал. Сейчас ему примерно шестьдесят восемь. Но я не знаю здесь ни одного мистера Дрейка.

— Дрейк — имя, данное его отцу при крещении.

— А какова же его фамилия?

— Её я пока тебе не скажу, — говорит Енох, ибо человек, которого он ищет, может оказаться здесь на очень плохом счету — если его вообще не повесили на Бостонском лугу.

— Как же я помогу вам отыскать того, сэр, кого вы не хотите назвать?

— Ты можешь отвести меня к чарльстонскому парому. Насколько мне известно, он обретается по ту сторону реки Чарльз.

— Следуйте за мной, сэр, — говорит Бен, — но я надеюсь, что у вас есть серебро.

— О да, серебро у меня есть, — отвечает Енох.

* * *

Они огибают возвышенность в северной части города. Здесь от берега отходят пристани, поменьше и постарше большой. Паруса, такелаж, реи и мачты справа по борту сплетаются в огромный гордиев узел, словно буквы на странице в глазах неграмотного крестьянина. Енох не видит ни «Минервы», ни ван Крюйка. Как бы не пришлось ходить по тавернам и наводить справки — то есть терять время и привлекать внимание.

Бен ведёт его прямиком к причалу, от которого готовится отвалить чарльстонский паром. На палубе толпятся зрители недавней казни. Паромщик говорит, что за лошадь придётся платить отдельно. Енох открывает кошель и заглядывает внутрь. На него смотрит герб испанского короля, оттиснутый на серебре, в разной степени

затёртом и сплющенном. Имена меняются в зависимости оттого, при каком короле эту монету отчеканили в Новой Испании, но под каждым написано одно: D.G. HISPAN ET IND REX — Милостью Божией король Испанский и обеих Индий. Похвальба, какую все венценосцы печатают на своих монетах.

Эти слова никого не заботят — большинство всё равно не в силах их прочесть. Существенно то, что человек, стоящий на холодном ветру у переправы в Бостоне, не может расплатиться с паромщиком-англичанином английской монетой, которую сэр Исаак Ньютон чеканит на Монетном дворе в лондонском Тауэре. Здесь признают только испанские деньги — те самые, что сейчас переходят из рук в руки на улицах Лимы, Манилы, Макао, Гоа, Бендер-Аббаса, Мокки, Каира, Смирны, Мадрида, Марселя, Мальты и Канарских островов.

Знакомец, провожавший Еноха до лондонских доков месяц назад, сказал: «Золото знает то, что неведомо никому из людей».

Енох встряхивает кошель, пересыпая монеты в надежде, что на поверхность выскочит хотя бы один реал — восьмая часть пиастра; их обычно отбивают от монеты и потому называют битами.

Однако он потратил почти все биты на мелкие дорожные нужды. Сейчас в кошельке нет ничего мельче полупиастра — то есть четырёх реалов.

Енох смотрит в проулок и видит кузницу меньше чем в броске камня от пристани. Пара ударов зубилом, и кузнец изготовит ему разменную монету.

Паромщик читает его мысли. Он не видит, что в кошельке, но слышит тяжёлый звон, не позвякивание мелочи.

— Мы отправляемся, — с довольным видом сообщает он. Енох, очнувшись, возвращается мыслями на паром и протягивает серебряный полукруг.

— Мальчик со мной, — твёрдо произносит он, — и потом ты доставишь его назад.

— По рукам, — отвечает паромщик.

Бен едва смел на такое надеяться. Хотя мальчику хватило выдержки не высказать этого вслух, для него прокатиться на пароме — всё равно что отправиться с флибустьерами в Карибское море. Он, не касаясь сходней, прыгает с пристани на палубу.

До Чарльстона меньше мили через устье медлительной реки. Вытянутый зелёный холм усеян длинными узкими стогами за сложенными без

раствора каменными оградами. На склоне, обращенном к Бостону, ниже вершины, но выше бесконечных отмелей и заросших рогозом болот, прилепился город, частью заложенный геометрами, частью разросшийся, как плющ.

Дюжие негры взрывают чёрные воды реки Чарльз длинными, закреплёнными в уключинах вёслами, порождая системы завихрений — они закручиваются и образуют затухающие конические сечения, которые сэр Исаак, наверное, сумел бы проанализировать в голове. «Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями». Небо — сплетение визирных нитей туго натянутого джута и оструганных стволов. От порывов ветра парусники на рейде вздрагивают и прядают, словно нервные кони при звуке далёких пушек. Неравномерные волны бьют в дощатые корпуса, по которым ползают, конопатя и смоля щели, босоногие матросы. Кажется, что корабли смещаются туда-сюда — параллакс, вызванный движением парома. Енох, которому посчастливилось быть выше остальных пассажиров, вручает поводья Бену и подходит к противоположному борту, чтобы прочесть названия судов.

Он узнает корабль, который ищет, по носовому украшению под бушпритом. Сероглазая

женщина в золочёном шлеме дерзко рассекает Северо-Атлантический простор змееносной эгидой и острыми (надо полагать, от холода) сосками. «Минерва» ещё не подняла якорь (что радует), но тяжело нагружена и, судя по всему, готова к выходу в открытое море. Матросы таскают корзины со свежевыпеченными хлебами, такими горячими, что от них ещё идёт пар. Енох оборачивается к берегу, чтобы прочесть уровень прилива по обросшей ракушками пристани, потом в другую сторону — определить высоту и фазу луны. Скоро начнётся отлив, и «Минерва» скорее всего готова будет им воспользоваться. Енох наконец различает ван Крюйка (тот стоит на баке и заполняет какие-то бумаги, разложив их на бочке) и телепатически уговаривает капитана поднять глаза.

Ван Крюйк смотрит в сторону Еноха и напрягается.

Енох, сохраняя внешнюю неподвижность, долго смотрит голландцу в глаза, предостерегая от поспешного отплытия.

Колонист в чёрной шляпе пытается завязать дружбу с одним из негров, который почти не говорит по-английски; впрочем, это не помеха, потому что белый выучил несколько слов на

каком-то африканском наречии. Негр очень чёрный, на левом плече у него выжжен герб испанского короля. Скорее всего он из Анголы. Чего он только не повидал! Его похитили более воинственные африканцы, бросили в яму, заклеймили калёным железом в знак уплаченной пошлины, погрузили на корабль и отправили в холодную страну, населённую бледнокожими. Казалось бы, его уже ничем не проймёшь; однако слова гавкера приводят негра в изумление. Сектант размахивает руками и всё сильнее горячится — явно не только от нехватки слов. Вероятно, он состоит в сношениях с лондонскими собратьями и сейчас убеждает ангольца, что тот, как и другие рабы, имеет законное право поднять оружие на господ.

— Ваш конь весьма хорош. Вы привезли его из Европы?

— Нет, Бен. Одолжил в Новом Амстердаме. Я хочу сказать, в Нью-Йорке.

— Почему вы поплыли в Нью-Йорк, коли человек, которого вы ищете, в Бостоне?

— Ближайший корабль в Америку из лондонской гавани отходил именно туда.

— Так вы отправлялись с большой поспешностью!

— Я с большой поспешностью выброшу тебя

за борт, если не перестанешь строить умозаключения!

Бен замолкает ровно настолько, чтобы придумать новый тактический манёвр и зайти с другой стороны:

— Хозяин лошади, наверное, ваш близкий друг, коли одолжил вам такого скакуна.

Сейчас Енох должен быть очень осторожен. Хозяин лошади — заметный человек в Нью-Йорке. Если Енох объявит этого джентльмена своим другом, а после наломает в Бостоне дров, то повредит его репутации.

— Не то чтобы друг. Мы впервые увиделись несколько дней назад, когда я постучал в его дверь.

Этого Бен не может взять в толк.

— Тогда с какой стати он вообще пустил вас в дом? Учитывая вашу, прошу прощения, наружность и вооружение? Почему одолжил вам столь ценного скакуна?

— Он впустил меня в дом, потому что на улице происходили беспорядки, и я попросил убежища. — Енох косится на гавкера и подходит поближе к Бену. — Вот послушай кое-что интересное: когда наш корабль подплыл к Нью-Йорку, нам предстало необычное зрелище. Тысячи невольни-

ков — частью ирландцы, частью ангольцы — бегали по улицам с вилами и горящими головнями. Солдаты преследовали их перебежками и стреляли залпами. Белый дым от мушкетов мешался с чёрным дымом пылающих складов, преображая небосвод в сверкающий искрами плавильный тигель, дивный на вид, но, как предположили мы, негодный для поддержания жизни. Наш лоцман выжидал, пока начавшийся прилив не понудил его подойти к берегу. Мы сошли на пристань, которую буквально заполонили солдаты в красных мундирах. Так, — продолжает Енох (ибо его рассказ уже начал привлекать непрошеных слушателей), — я оказался возле упомянутой двери. Хозяин одолжил мне лошадь, поскольку мы с ним принадлежим к одному обществу, а я тут в некотором смысле по поручению, с этим обществом связанному.

— Обществу гавкеров, сэр? — шепчет Бен, подойдя совсем близко и оглядываясь через плечо на колониста, который распинается перед невольником. Мальчик давно приметил пистолеты и клинки Еноха и, вероятно, сопоставил их с рассказами родственников о деяниях неукротимой секты в героические дни разграбления соборов и цареубийства.

— Нет, это общество философов, — говорит Енох, пока воображение Бена не разыгралось ещё пуще.

— Философов, сэр!

Енох думал, что мальчик будет разочарован, но у того, напротив, загорелись глаза. Значит, Енох не ошибся: мальчишка опасен.

— Натурфилософов. Тех, кто стремится к естественному знанию. Не путай с другими, которые занимаются…

— Неестественным знанием?

— Меткое словцо. Некоторые считают, что именно неестественное знание повинно в том, что протестанты воюют с протестантами в Англии и с католиками по всему миру.

— Так кто такой натурфилософ?

— Тот, кто пытается избежать разброда в мыслях, следуя тому, что может быть проверено опытом, и строя доказательства в соответствии с законами логики. — Бен только хлопает глазами, и Енох объясняет: — Подобно судье, который держится фактов, отбрасывая слухи, домыслы и призывы к чувствам. Как когда ваши судьи приехали наконец в Салем и сказали, что тамошние жители повредились в уме.

— И как же называется ваш клуб?

— Лондонское королевское общество.

— Когда-нибудь я буду его членом и судьёй в подобных вопросах.

— Я предложу твою кандидатуру, как только вернусь в Англию, Бен.

— Ваш устав требует, чтобы члены Общества в случае надобности ссужали друг другу коней?

— Нет, но есть правило, по которому они должны платить членские взносы — в которых надобность есть *всегда,* — а помянутый джентльмен не платил взносы многие годы. Сэр Исаак — президент Королевского общества — им недоволен. Я объяснил нью-йоркскому джентльмену, что сэр Исаак смешает его с дерьмом — приношу извинения, приношу извинения. Мои доводы оказались столь убедительны, что он без долгих слов одолжил мне своего лучшего скакуна.

— Красавчик, — говорит Бен и дует коню в ноздри. Тот поначалу не одобрил Бена как нечто маленькое, юркое и пахнущее убоиной, но теперь принял мальчика в качестве одушевленной коновязи, способной оказывать кой-какие мелкие услуги, как то: чесать нос и отгонять мух.

Паромщику скорее забавно, чем досадно обнаружить, что гавкер охмуряет его раба. Он отгоняет сектанта прочь. Тот распознаёт в Енохе

свежую жертву и пытается поймать его взгляд. Енох отходит и делает вид, будто внимательно изучает приближающийся берег. Паром огибает плывущий по реке плот из исполинских стволов, помеченных «королевской стрелой», — они пойдут на строительство военного флота.

За Чарльстоном начинается редкая россыпь хуторов, соединённых протоптанными дорожками. Самая большая ведёт в Ньютаун, где расположился Гарвардский колледж. Впрочем, внешне он представляется почти сплошным лесом, который дымится, но не горит. Оттуда долетает приглушённый стук топоров и молотков. Редкие мушкетные выстрелы эхом передаются от деревеньки к деревеньке — видимо, это местное средство связи. Енох гадает, как отыщет здесь Даниеля.

Он подходит к разговорчивой компании, которая собралась в центральной части парома, предоставив менее учёным пассажирам (ибо разговаривающие, очевидно, принадлежат к Гарвардскому колледжу) служить им заслоном от ветра. Это компания напыщенных пьяниц и шустроглазых живчиков, пересыпающая фразы плохой латынью. Одни одеты с пуританской строгостью, другие — по прошлогодней лондон-

ской моде. Грушевидный красноносый господин в высоком сером парике, судя по всему, дон этого импровизированного колледжа. Енох ловит на себе его взгляд и ненароком распахивает плащ, показывая рапиру. Это не угроза, а демонстрация общественного положения.

— К нам пожаловал гость из дальних краёв! Рады приветствовать вас, сэр, в нашей скромной колонии!

Енох совершает все требуемые вежливые телодвижения и произносит все положенные слова. К нему проявляют заметный интерес — явный знак, что в Гарвардском колледже не происходит ничего нового и занимательного. Впрочем, этому заведению всего три четверти века — что здесь может происходить занимательного? Спрашивают, из германских ли он земель, Енох отвечает, что не совсем. Высказывается предположение, что он прибыл с каким-то делом алхимического свойства; догадка блестящая, но ошибочная. Выждав приличествующее время, Енох называет фамилию человека, к которому приехал.

Он никогда не слышал такого зубоскальства. Все как один безумно огорчены, что джентльмен счёл нужным пересечь Северную Атлантику и теперь реку Чарльз, чтобы испортить себе путе-

шествие встречей с *этим* субъектом.

— Я с ним не знаком, — врёт Енох.

— Тогда позвольте подготовить вас, сэр! — говорит один из собеседников. — Даниель Уотерхауз — человек преклонных лет, но годы обошлись с ним суровее, нежели с вами.

— К нему пристало обращаться «доктор Уотерхауз», не так ли?

Тишину нарушают приглушённые смешки.

— Я не беру на себя смелость кого-либо поправлять, — говорит Енох, — лишь желаю не совершить промашки при личной встрече.

— И впрямь, он считается доктором, — говорит грушевидный дон, — хотя…

— …доктором чего? — спрашивает кто-то.

— Шестерён, — предполагает другой к бурной радости остальных.

— Нет, нет, — с притворным великодушием утихомиривает их дон, — ибо все шестерни бесполезны, пока отсутствует *primum mobile*, источник движущей силы…

— Франклинов мальчишка! — И все разом смотрят на Бена.

— Сегодня это может быть юный Бен, завтра, допустим, его сменит маленький Годфри Уотерхауз. Впоследствии, возможно, это будет мышь

в ступальной мельнице. Но в любом случае vis viva[3] сообщается шестерням доктора Уотерхауза посредством чего? Кто подскажет? — Дон сократовским жестом подносит ладонь к уху.

— Кривошипов? — предполагает один.

— Шатунов! — кричит другой.

— Отлично! В таком случае наш коллега Уотерхауз — доктор чего?

— Шатунов! — кричит весь колледж хором.

— И наш доктор шатунов до того предан своей работе, что буквально не щадит живота, — восхищённо продолжает дон. — Ходит с непокрытой головой…

— Вытряхивает графитовую смазку из рукавов, садясь преломить хлеб…

— Лучше перца!

— И дешевле!

— Так, возможно, вы приехали, чтобы вступить в его институт?

— Или закрыть его за долги? — Говорящий заходится от смеха.

— Я слышал про его институт, но ничего о нём не знаю, — говорит Енох Роот. Он смотрит на Бена, который покраснел до ушей и, отвернувшись,

---

[3] Примечания: 3

Живая сила (*лат.*), она же — кинетическая энергия. (Прим. перев.)

гладит лошади морду.

— Многие учёные мужи пребывают в таком же неведении, посему не стыдитесь.

— С самого приезда в Америку доктор Уотерхауз подхватил местную инфлюэнцу. Её главный симптом — стремление затевать новые прожекты и начинания вместо того, чтобы исправлять старые.

— Так он не вполне удовлетворен Гарвардским колледжем? — вопрошает Енох.

— О да! Он основал…

— …на собственные средства…

— …и самолично заложил краеугольный камень…

— …краеугольное бревно, если быть точным…

— …в фундамент… как он это называет?

— Институт технологических искусств Колонии Массачусетского залива.

— Где я могу найти институт доктора Уотерхауза? — спрашивает Енох.

— На полпути от Чарльстона к Гарварду. Идите на скрежет шестерён, покуда не увидите самую маленькую и продымлённую хибарку во всей Америке.

— Сэр, вы — образованный и трезвомыслящий джентльмен, — говорит дон. — Коль скоро вас

влечёт философия, не лучше ли вам направить стопы в Гарвардский колледж?

— Мистер Роот — видный натурфилософ, сэр! — выпаливает Бен, чтобы не разреветься. По тону ясно, что он считает Гарвард прибежищем неестественного знания. — Член Королевского общества!

Вот нелёгкая!

Дон делает шаг вперёд и, заговорщицки ссутулившись, произносит:

— Простите великодушно, сэр. Не знал.

— Пустяки.

— Доктор Уотерхауз, должен вас предостеречь, подпал под влияние герра Лейбница…

— Который украл дифференциальное исчисление у сэра Исаака, — добавляет кто-то в качестве примечания.

— Да, и подобно Лейбницу заражён метафизическими предрассудками…

— …которые суть пережитки схоластики, сэр, несостоятельность коей сэр Исаак продемонстрировал со всей убедительностью…

— …и сейчас трудится как одержимый над созданием машины — построенной по принципам Лейбница! — которая, он мнит, будет открывать новые истины путём *вычислений*!

— Может быть, наш гость прибыл сюда, чтобы изгнать из него лейбницевых бесов! — предполагает кто-то очень пьяный.

Енох раздражённо прочищает горло, отхаркивая желчь — гумор гнева и сварливого нрава. Он говорит:

— Несправедливо по отношению к Лейбницу называть его просто метафизиком.

Наступает недолгая тишина, затем — общее веселье. Дон криво улыбается и пытается разрядить обстановку.

— Я знаю одну таверну в Гарварде, где смогу развеять ваши прискорбные заблуждения…

Мысль посидеть за кружечкой пива и просветить этих остряков до опасного соблазнительна. Чарльстонская пристань всё ближе, невольники уже гребут не так широко, «Минерва» натягивает якорные канаты, спеша отплыть, а дело ещё не сделано. Лучше было бы обойтись без лишнего шума, но после слов Бена это невозможно. Ладно, сейчас главное — действовать без промедления.

Кроме того, Енох вне себя.

Он вытаскивает из нагрудного кармана сложенное запечатанное письмо и, за неимением лучших доводов, потрясает им в воздухе.

Письмо берут, изучают — на одной стороне

написано «герру доктору Уотерхаузу, Ньютаун, Массачусетс» — и переворачивают. Из обшитых бархатом кармашков извлекаются монокли, и начинается изучение печати — красной, восковой, размером с Бенов кулак. Губы движутся, из охрипших глоток вырывается странное бормотание — попытки читать по-немецки.

До всех профессоров разом доходит. Они пятятся, словно это образчик белого фосфора, внезапно занявшийся огнём. Конверт остается в руках у дона. Тот с мольбой во взоре протягивает его Еноху Красному. Енох в отместку не спешит избавить дона от бремени.

— Битте, майн герр…

— Английский вполне уместен, — говорит Енох, — и даже предпочтителен.

По краям одетой в мантии толпы некоторые близорукие профессора исходят досадой от того, что не могут прочесть печать. Коллеги шепчут им что-то вроде «Ганновер» и «Ансбах».

Кто-то снимает шляпу и кланяется Еноху. Другие следуют их примеру.

Они ещё не успевают ступить на чарльстонский берег, как ученые мужи разводят невероятную суматоху. Носильщики и будущие пассажиры недоумённо таращатся на паром, с которого

несутся крики: «Расступись! Дорогу!» Палуба превращается в плавучую сцену, наполненную плохими актёрами. Енох гадает, неужто эти люди и впрямь рассчитывают, что весть об их усердии достигнет ганноверского двора и слуха их будущей королевы? Возмутительно — они ведут себя так, будто королева Анна уже мертва и в могиле, а Ганноверы заняли престол.

— Сэр, если бы вы только сказали *мне*, что ищете Даниеля Уотерхауза, я бы отвел вас к нему без промедления и без всей этой суматохи.

— Я был не прав, что не открылся тебе, Бен, — говорит Енох.

Задним умом он понимает, что в маленьком городке Даниель должен был заметить такого паренька, как Бен, или Бена бы потянуло к Даниелю, или то и другое вместе.

— Так ты знаешь дорогу?

— Конечно.

— Прыгай в седло, — велит Енох.

Бена не приходится просить дважды. Он взбирается на лошадь, как паук, Енох за ним — с той скоростью, какую дозволяют инерция и достоинство. Они вместе устраиваются в седле, Бен — впереди; его ноги зажаты между коленями Еноха и лошадиными рёбрами. Конь, не одоб-

ривший и паром, и профессуру, направляется к сходням, как только их опускают. Самые проворные доктора бегут за наездниками по улицам Чарльстона. К счастью, в Чарльстоне не так много улиц, и преследователи скоро отстают.

Зловонные прибрежные испарения вызывают в памяти Еноха другой болотистый, грязный, наполненный грамотеями и миазмами городок: Кембридж в Англии.

* * *

— В заросли, потом через ручей вброд, — предлагает Бен. — Так мы отвяжемся от профессоров и, может быть, найдем Годфри. С парома я видел, как он шёл сюда с ведром.

— Годфри — сын доктора Уотерхауза?

— Да, сэр. На два года младше меня.

— Его второе имя, часом, не Вильям?

— Откуда вы знаете, мистер Роот?

— Он, весьма вероятно, наречён в честь Готфрида Вильгельма Лейбница.

— Это друг ваш и сэра Исаака?

— Мой — да, сэра Исаака — нет. Но история сия слишком длинна, чтобы рассказывать её сейчас.

— Хватило бы на книгу?

— Даже на несколько — и она до сих пор не

завершена.

— Когда же она завершится?

— Порой я страшусь, что никогда. Однако сегодня мы с тобой, Бен, должны приблизить её развязку. Сколько ещё ехать до Института технологических искусств Колонии Массачусетского залива?

Бен пожимает плечами.

— Он на полпути между Чарльстоном и Гарвардом. Ближе к реке. Больше мили, но, наверное, менее двух.

Лошадь не хочет входить в подлесок, поэтому Бен спрыгивает и на своих двоих отправляется выслеживать юного Годфри. Енох находит место для переправы через ручей и, обогнув лесок с другой стороны, видит Бена, который затеял перестрелку яблоками с более бледным и маленьким пареньком.

Енох спешивается и в роли миротворца предлагает мальчикам поехать верхом. Сам он идёт впереди, ведя лошадь под уздцы, но вскоре ту осеняет, что их цель — бревенчатое строение вдалеке, поскольку это *единственное* строение, и к нему ведёт более или менее протоптанная тропа. Теперь лошадь уже не надо вести, достаточно идти рядом и время от времени подкармливать

её яблоками.

— Двое мальчишек, затеявших потасовку из-за яблок в унылом, населённом пуританами краю, напомнили мне примечательное событие, свидетелем коего довелось быть давным-давно.

— Где? — спрашивает Годфри.

— В Грантеме, Линкольншир. Это часть Англии.

— Когда, если быть точным? — в эмпирическом запале вопрошает Бен.

— Легче спросить, чем ответить, ибо эти события перемешались в моей памяти.

— А зачем вы отправились в тот унылый край?

— Чтобы мне перестали докучать. В Грантеме жил аптекарь, именем Кларк, человек исключительно назойливый.

— Тогда почему вы поехали к нему?

— Он докучал мне письмами, прося доставить нечто потребное для его ремесла, и делал это в течение долгих лет — с тех пор, как вновь стало возможным отправлять письма.

— Почему это стало возможным?

— В наших палестинах — ибо я обретался в Саксонии, в городе под названием Лейпциг — благодаря Вестфальскому миру.

— В 1648 году! — менторским тоном сообщает

Бен к сведению Годфри. — Конец Тридцатилетней войны.

— А в *его* краях, — продолжает Енох, — благодаря тому, что королевскую голову отделили от остального короля, каковое событие положило конец Гражданской войне и принесло в Англию некое подобие мира.

— В 1649-м, — торопится сказать Годфри, пока не встрял Бен.

Енох удивлен: неужто Даниель забивает ребенку голову россказнями о цареубийстве?

— Если мистер Кларк докучал вам письмами долгие годы, вы должны были отправиться в Грантем не раньше середины пятидесятых, — говорит Бен.

— Как ему может быть столько лет? — спрашивает Годфри.

— Спроси своего отца, — отвечает Енох. — Я лишь пытаюсь ответить на вопрос «когда». Бен прав. Я не рискнул бы отправиться в путь до, скажем, 1652 года, ибо даже после цареубийства Гражданская война продолжалась ещё пару лет. Кромвель разгромил роялистов -надцатый и последний раз в Вустере. Карл II вместе с недобитыми сторонниками еле унес ноги. К слову, я видел его по пути в Париж.

— Почему в Париж? Это *огромный* крюк по дороге из Лейпцига в Линкольншир.

— В географии ты сильнее, чем в истории. Как, по-твоему, мне следовало добираться?

— Через Голландскую республику, разумеется.

— И впрямь, я завернул туда, чтобы навестить господина Гюйгенса в Гааге. Но я не стал *отплывать* из Голландии.

— Почему? Голландцы — куда лучшие мореходы, чем французы!

— Что сделал Кромвель, как только победил в Гражданской войне?

— Даровал всем, включая евреев, право исповедовать любую религию! — шпарит Годфри будто по катехизису.

— Да, естественно, ради этого и затеяли весь сыр-бор, А что ещё?

— Перебил кучу ирландцев, — предполагает Бен.

— Правда твоя, но я спрашивал о другом. Ответ — Навигационный акт и морская война с Голландией. Так что, как видишь, Бен, путь через Париж пусть *окольный*, но куда более *безопасный*. К тому же люди, жившие в Париже, тоже мне докучали, а денег у них было больше, нежели у Кларка. Так что мистеру Кларку пришлось *обо-*

ждать, как говорят в Нью-Йорке.

— Почему столько людей вам докучали? — спрашивает Годфри.

— Столько богатых ториев! — добавляет Бен.

— Ториями мы стали называть их значительно позже, — поправляет Енох. — Впрочем, вопрос дельный: что такое было у меня в Лейпциге, в чём нуждались и грантемский аптекарь, и кавалеры, дожидающиеся в Париже, пока Кромвель состарится и умрёт от естественных причин?

— Это что-то имеет отношение к Королевскому обществу? — предполагает Бен.

— Догадка делает честь твоей проницательности. Однако в те времена не существовало Королевского общества. Не существовало даже натурфилософии в нашем нынешнем понимании. О да, были люди — такие как Фрэнсис Бэкон, Галилей, Декарт, — которые видели свет и всемерно стремились показать его другим. Но тогда большинство тех, кто интересовался устройством мира, находились в плену у совсем другого подхода, именуемого алхимией.

— Мой отец ненавидит алхимиков! — объявляет Годфри с явной гордостью за отца.

— И я, кажется, знаю почему, — говорит Енох. — Тем не менее сейчас 1713 год, довольно многое

изменилось. В эпоху, о которой я повествую, была либо алхимия, либо ничего. Я знал многих алхимиков и снабжал их ингредиентами. Среди них попадались английские кавалеры. Тогда это было вполне аристократическим занятием, даже король-изгнанник держал собственную лабораторию. Получив от Кромвеля хорошую трёпку и дав дёру во Францию, они не знали, чем себя занять, кроме как… — Тут, если бы Енох беседовал со взрослыми, он мог бы перечислить некоторые их занятия.

— Кроме как чем, мистер Роот?

— Кроме как изучением скрытых законов Божьего мироздания. Некоторые — в частности, Джон Комсток и Томас Мор Англси, — близко сошлись с мсье Лефевром, аптекарем французского двора. Они довольно много времени тратили на алхимию.

— Но разве это всё не вздорная чушь, ахинея, белиберда и злонамеренное шарлатанское надувательство?

— Годфри, ты — живое свидетельство, что яблоко от яблони недалеко падает. Кто я такой, чтобы спорить в таких вопросах с твоим отцом? Да. Всё это чепуха.

— Тогда зачем вы поехали в Париж?

— Отчасти, если сказать по правде, из желания взглянуть на коронацию французского короля.

— Которого? — спрашивает Годфри.

— Того же, что сейчас! — Бен сердится, что они тратят время на такие вопросы.

— Великого, — говорит Енох. — Короля с большой буквы. Людовика Четырнадцатого. Формальная коронация состоялась в 1654-м. Его помазали святым елеем тысячелетней давности.

— Небось и воняло же!..

— Кто бы заметил, во Франции-то.

— Где они такое старье раздобыли?

— Не важно. Я подбираюсь к ответу на вопрос «когда». Впрочем, главным образом мною двигало другое: *что-то происходило*. Гюйгенс, гениальный юноша из знатной гаагской семьи, создал маятниковые часы, и это было воистину поразительно. Разумеется, маятник знали давным-давно, однако Гюйгенс сумел сделать нечто упоительно красивое и простое, а в итоге создал механизм, который и впрямь показывал время! Я видел образец в великолепном доме; с дворцовой площади в окна струился вечерний свет… Потом в Париж, где Комсток и Англси корпели над — ты прав — вздорной чушью. Они искренне стремились к познанию, и всё же им недоставало

гениальности Гюйгенса, дерзости придумать совершенно новую дисциплину. Алхимия была единственным подходом, который они знали.

— Так как вы попали в Англию, коли на море шла война?

— С французскими контрабандистами, — отвечает Енох, словно это само собой разумеется. — Итак, многие английские джентльмены поняли, что сидеть в Лондоне и забавляться алхимией безопаснее, нежели воевать с Кромвелем и его Новой Образцовой армией. Поэтому в Лондоне я без труда облегчил свой груз и набил кошель. Потом заглянул в Оксфорд, чтобы повидать Джона Уилкинса и забрать несколько экземпляров «Криптономикона».

— Что это? — любопытствует Бен.

— Чудная старая книга, жутко толстая, полная всякой дребедени, — вставляет Годфри. — Отец подпирает ею дверь, чтобы не захлопывалась от ветра.

— Это компендиум тайных шифров, который Уилкинс составил несколькими годами раньше, — говорит Енох. — В те дни он был ректором Уодем-колледжа, что в Оксфордском университете. Когда я приехал, он собирался с духом, готовясь принести себя в жертву на алтарь на-

турфилософии.

— Его обезглавили? — спрашивает Бен.

Годфри:

— Подвергли пыткам?

Бен:

— Отрезали ему уши и нос?

— Нет: он женился на сестре Кромвеля.

— Мне казалось, вы говорили, будто тогда не было натурфилософии, — укоряет Годфри.

— Была — раз в неделю, у Джона Уилкинса на дому, — говорит Енох, — ибо там собирался Экспериментальный философский клуб. Кристофер Рен, Роберт Бойль, Роберт Гук и другие, о которых вы наверняка слышали. К тому времени, как я туда добрался, им сделалось тесно, и они перебрались в лавку аптекаря как наиболее огнестойкую. Этот-то аптекарь, если вспомнить, и убедил меня отправиться на север, чтобы посетить мистера Кларка в Грантеме.

— Так мы определили год?

— Сейчас определю, Бен. К тому времени, как я достиг Оксфорда, маятниковые часы, которые я видел у Гюйгенса в Гааге, были наконец усовершенствованы и пошли. Первые часы, достойные своего названия. Галилей в опытах отмечал время, считая себе пульс либо слушая

музыкантов. Начиная с Гюйгенса, мы пользуемся часами, которые показывают — как считают некоторые — абсолютное время, единственное и безусловное. Божье время. Книгу о них Гюйгенс написал позже, однако первые часы затикали, и эпоха натурфилософии началась в лето Господне…

1655

Ибо незнание составляет середину между истинным знанием и ложными доктринами.

***Гоббс, «Левиафан»*[4]**

Во всех королевствах, империях, княжествах, герцогствах, архиепископствах и курфюршествах, какие Еноху когда-либо довелось посетить, превращение низших металлов в золото либо попытки его осуществить (а в иных — и самые мысли о нём) карались смертью. Его это не слишком заботило. То был лишь один из тысячи предлогов, по которым правители казнят неугодных и милуют угодных. Например, во Франкфурте-на-Майне, где сам курфюрст-архиепископ фон Шёнберн и его главный приближённый Бойнебург баловались алхимией, можно было чувствовать себя в относительной безопасности.

Другое дело — кромвелевская Англия. С тех пор, как пуритане казнили короля и захватили власть, Енох не разгуливал по Республике (как

---

[4] Примечания: 4
Перевод А. Гутермана.

это теперь называлось) в остроконечной шапке со звёздами и полумесяцами. Впрочем, Енох Красный никогда и не был такого рода алхимиком, звёзды и полумесяцы — показуха. Да и необходимость добывать деньги поневоле заставит усомниться в собственной способности делать золото из свинца.

Енох выработал в себе навык исключительной живучести. Лишь два десятилетия минуло с тех пор, как лондонская чернь растерзала доктора Джона Лэма. Толпа вообразила, будто именно Лэм наслал смерч, сорвавший землю с могил, в которых лежали жертвы последнего чумного поветрия. Не желая повторить судьбу Лэма, Енох научился двигаться на краю человеческого восприятия, подобно сновидению, которое не застревает в памяти, но улетучивается с первыми мыслями и впечатлениями дня.

Он прожил неделю-две в доме Уилкинса и побывал на собраниях Экспериментального клуба. Они стали для него откровением, поскольку на время Гражданской войны всякая связь с Англией прекратилась. Учёным Лейпцига, Парижа и Амстердама она уже представлялась одинокой скалой, которую заполонили вооружённые до зубов проповедники.

Глядя в окно на идущие к северу подводы, Енох дивился числу торговцев. С окончанием Гражданской войны предприимчивые негоцианты потянулись в деревню за дешёвыми фермерскими продуктами, которые можно выгодно перепродать в городе. По виду это были в основном пуритане. Стремясь избежать нежелательных попутчиков, Енох тронулся безоблачной лунной ночью и засветло въехал в Грантем.

Перед домом Кларка было прибрано, из чего Енох заключил, что миссис Кларк ещё жива. Он отвёл лошадь в конюшню. Во дворе валялись треснутые ступки и тигли в жёлтых, киноварных и серебристых пятнах. Груды угля подле цилиндрической печи усеивала окалина с тиглей — испражнения алхимического процесса, смешанные с более мягким лошадиным и гусиным помётом.

Кларк спиной вперёд выступил из двери в обнимку с наполненной ночной посудиной.

— Сберегите ее, — посоветовал Енох голосом, хриплым от длительного молчания. — Из урины можно извлечь много всего занятного.

Аптекарь вздрогнул, потом, узнав Еноха, едва не выронил ночную вазу, однако успел её подхватить и тут же пожалел, что не выронил, — сии

манёвры опасно всколыхнули содержимое сосуда; Кларк, дабы не усугублять колебания, был вынужден семенить на полусогнутых, протаивая на инее следы босых ног, и, наконец, в качестве последней спасительной меры, выплеснуть мочу при появлении на волнах белых барашков. Грантемские петухи, проспавшие приезд Еноха, проснулись и начали воспевать героическое свершение аптекаря.

Солнце несколько часов медлило у горизонта, словно жирная утка, что никак не соберётся взлететь. Задолго до того, как окончательно рассвело, Енох уже был в аптекарской лавке и заваривал настой какой-то экзотической восточной травы.

— Берёте пригоршню, бросаете…

— Вода уже стала бурой!

— …и снимаете с огня, не то получится нестерпимая горечь. Нужно ситечко.

— Вы и впрямь предлагаете мне это попробовать?

— Не только попробовать, но и выпить. Я делаю это несколько месяцев без какого-либо вреда для себя.

— Если не считать привыкания, как я погляжу.

— Вы чересчур подозрительны. Маратхи пьют его круглые сутки.

— Значит, я прав насчет привыкания!

— Это всего лишь лёгкое взбадривающее средство.

— М-м-м, — заметил Кларк чуть позже, осторожно отхлёбывая из чашки. — Какие недуги оно лечит?

— Решительно никаких.

— А, тогда другое дело… как это зовётся?

— Ч'хай, шай, цха или тья. Я знаю одного голландского купца, у которого в Амстердаме лежат тонны этой травы.

Кларк хихикнул.

— О нет, Енох, не втравливайте меня в заморскую торговлю. Этот чхай довольно безобиден, но я не думаю, что англичане когда-либо согласятся пить нечто настолько иноземное.

— Отлично, тогда поговорим о других товарах. — Отставив чашку с шаем, Енох полез в седельные сумы и достал мешочки жёлтого сульфура, собранного на склоне огнедышащей итальянской горы, продолговатые, с палец, слитки сурьмы, склянки со ртутью, крошечные глиняные тигельки, реторты, спиртовки и книги с гравюрами, изображающими устройство различных печей. Всё это Енох разложил на прилавке и конторках, сообщая о каждом пред-

мете несколько слов. Кларк стоял рядом, сцепив пальцы, отчасти от холода, отчасти — чтобы не потянуться к разложенному добру. Отшумела Гражданская война, голова короля скатилась на Чаринг-Кросс, прошли годы с тех пор, как Кларк держал в руках что-либо подобное. Он воображал, будто адепты на Континенте всё это время постигали последние тайны Божьего мироздания. Зато Енох знал, что европейские алхимики — такие же люди, как Кларк; они ждут от него вестей, что некий английский учёный в тиши и одиночестве нашёл способ получить из низшего, плотного, существенно шлакового вещества, составляющего мир, философскую ртуть — квинтэссенцию Божьего присутствия во Вселенной, ключ к превращению металлов, средство обрести бессмертие и совершенную мудрость.

Енох был не столько торговцем, сколько вестником. Серу и ртуть он привёз в качестве даров, деньги взял, чтобы покрыть расходы. Самый главный груз хранился у него в голове. Они с Кларком проговорили не один час.

Наверху послышались сонная возня, звуки шагов и пронзительные голоса. Лестница загудела и застонала, как застигнутый шквалом корабль. Служанка разожгла огонь и сварила овсянку.

Миссис Кларк встала и раздала кашу детям — явно несообразному их количеству.

— Неужто столько времени прошло? — спросил Енох, пытаясь по голосам сосчитать юных едоков в соседней комнате.

Кларк сказал:

— Это не наши.

— Жильцы?

— Некоторые окрестные йомены отправляют сыновей в школу моего брата. У нас есть комната наверху, и моя жена любит детей.

— А вы?

— Смотря каких.

Юные квартиранты расправились с овсянкой и ринулись к дверям. Енох подошёл к окну. В решетчатый переплёт были вставлены маленькие, с ладонь, ромбы зеленоватого пузырчатого стекла. Каждый ромбик представлял собой призму и отбрасывал в комнату миниатюрные радуги. Дети розовыми пятнами прыгали из ромбика в ромбик, пестря, дробясь и собираясь вновь, словно шарики ртути на поверхности стола. Впрочем, это была лишь некоторая гипербола того, как Енох обычно воспринимал детей.

Один из них, хрупкий и белокурый, остановился перед окном и заглянул внутрь. Вероятно, он

был восприимчивее других, поскольку знал, что у мистера Кларка сегодня гость, — может быть, различил приглушённые голоса или услышал незнакомое ржание из конюшни. А может, он мучился бессонницей и через щёлочку в стене видел, как Енох на рассвете прошёл через двор. Мальчик сложил ладони трубкой, отгораживаясь от периферического света — его руки словно забрызгало радужными переливами. С одной свешивалось какое-то приспособление — игрушка или оружие на бечёвке.

Товарищ позвал его; мальчик обернулся с чрезмерной готовностью и упорхнул, как воробышек.

— Мне пора, — сказал Енох, сам не зная почему. — Наши собратья в Кембридже наверняка прослышали, что я побывал в Оксфорде, и сгорают от нетерпения.

С непреклонной вежливостью он отверг все завуалированные попытки Кларка отсрочить прощание — отказался от каши, на предложение вместе помолиться ответил: «В другой раз» и решительно заверил, что отдыхать будет уже в Кембридже.

У лошади было всего несколько часов на сон и еду. Енох одолжил её у Джона Уилкинса; не желая

утомлять чужую лошадь, он взял её под уздцы и, развлекая беседой, повел вдоль главной улицы Грантема по направлению к школе.

Довольно скоро он приметил питомцев мистера Кларка. Те нашли камешки, которые нужно попинать, собак, с которыми необходимо свести знакомство, и несколько яблок, ещё висящих на ветках. Енох остановился в тени длинной каменной стены и стал смотреть, как будут добывать яблоки. Очевидно, план составили загодя — скорее всего шепотом в спальне. Один из мальчишек взобрался на яблоню и наступил на ветку, слишком тонкую, чтобы выдержать его вес. Замысел состоял в том, чтобы пригнуть ветку — тогда самый высокий сможет допрыгнуть до яблока.

Худенький мальчуган восторженно смотрел, как прыгает рослый товарищ. У него был свой собственный план — с использованием того самого камня на бечёвке, который Енох видел через окно. Он раскрутил бечевку и забросил камень на ветку, потом потянул ее вниз. Высокий с досадой отошёл в сторону, но худенький продолжал обеими руками держать верёвку, убеждая товарища принять яблоко в дар. Енох едва не застонал вслух, видя страстную влюбленность в его глазах.

На долговязого мальчика смотреть было куда менее приятно. Он быстрым движением сорвал плод и, стиснув добычу в кулаке, пристально взглянул на светловолосого, пытаясь разгадать его мотивы, ничего не понял и окрысился. Он надкусил яблоко — лицо светловолосого осветилось почти физическим удовольствием. Мальчик, который пытался пригнуть ветку, спустился на землю и сумел сдернуть бечёвку с ветки. Потом изучил, как она привязана к камню, и выбрал агрессивную тактику.

— Ну ты у нас и кружевница! — выкрикнул он.

Однако светловолосый мальчик смотрел только на предмет своего обожания.

Тот сплюнул на землю и перебросил надкушенное яблоко через ограду, где две свиньи немедленно затеяли из-за него драку. Дальше всё стало настолько невыносимо, что Еноху захотелось оказаться где-нибудь в другом месте.

Двое глупых мальчишек тащились по дороге за третьим, пялясь во все глаза, словно впервые его увидели — увидели часть того, что различил Енох. До Еноха долетали их издёвки: «Что у тебя на руках? Как ты говоришь? Краска?! Зачем? Хорошенькие картиночки рисовать? Как ты сказал? Для мебели? Я не видел никакой мебели. Ах, для

кукольной мебели?!»

Прожжённого эмпирика Еноха не интересовали мелкие томительные подробности того, как именно будет разбито сердце светловолосого мальчика. Он вернулся к яблоне, чтобы взглянуть на приспособление.

Мальчик заключил камень в верёвочную сетку: две спирали, навитые одна по часовой стрелке, другая против, так что на пересечении образовались ромбы, как в свинцовом переплёте окна. Енох не думал, что совпадение случайно. Сетка вначале была неровной, но, завершив первый ряд узлов, мальчик понял, сколько верёвки уходит на сам узел, так что к концу достиг постоянства зодиакальной прецессии.

Енох быстрым шагом направился к школе и поспел как раз к началу неизбежной драки. У белокурого мальчика были красные глаза и рвота на подбородке — очевидно, его ударили в живот. Другой ученик — в каждой школе находится такой заводила — взял на себя роль церемониймейстера и подзадоривал бойцов, главным образом меньшего, как оскорблённую и слабейшую сторону. К изумлению и восторгу школяров, белокурый мальчик выступил вперёд и сжал кулаки.

Енох покамест смотрел на него с одобрением. Некоторая драчливость будет мальчику только на пользу. Талант — не редкость, редкость — умение выжить при своих талантах.

Драка началась. Ударов было нанесено совсем немного. Меньший из бойцов ловко подставил подножку, и его противник плюхнулся на зад. Светловолосый коленом ударил его в пах, потом под дых, потом придавил горло. Внезапно долговязый начал приподниматься, но лишь потому, что невысокий пытался оторвать ему оба уха. Словно крестьянин, влекущий вола за кольцо в носу, он за уши подтащил обидчика к ближайшей стене — это оказался фасад огромной, старинной грантемской церкви — и принялся возить лицом о камень, словно пытался протереть кожу до кости.

До сего момента мальчишки ликовали. Даже в Енохе победа слабого пробудила (на первой своей стадии) приятную гордость. Впрочем, дальше лица у школяров вытянулись, некоторые повернулись и убежали. Белокурый мальчик пришёл в некоего рода экстаз — он дрожал, как в любовном упоении. Тело — мертвый балласт, препятствующий расцветанию духа, — не могло вместить его страсть. Наконец какой-то взрослый — брат

Кларка? — выскочил из школы и заспешил через двор к церкви неверной походкой человека, непривычного к столь быстрой ходьбе, сжимая в руках трость, но не касаясь ею земли. От ярости он не мог выговорить ни слова и даже не пытался разнять дерущихся, лишь, приблизившись, принялся лупить тростью по воздуху, словно слепец, отбивающийся от медведя. Довольно скоро он подобрался к светловолосому мальчику, уперся ногами в землю и принялся за работу. Каждый свист трости завершался звонким ударом.

Несколько школяров теперь осмелились подойти. Они оттащили белокурого мальчика от пострадавшего, который тут же скорчился под стеной в позе эмбриона, держа ладони перед окровавленным лицом, словно раскрытую книгу. Учитель поворачивался вслед за целью, как следящий за кометою телескоп, однако мальчик, похоже, ещё не почувствовал ударов; на его лице застыло то несломимое праведное торжество, с каким, по предположению Еноха, Кромвель мог наблюдать за избиением ирландцев в Дроэде.

Мальчика отволокли в школу, чтобы наказать основательнее. Енох поехал назад в аптеку, преодолевая глупое желание проскакать через городок во весь опор.

Кларк попивал шай и жевал галету. Он уже на несколько страниц углубился в новый алхимический трактат; губы с налипшими на них крошками шевелились, проговаривая латинские слова.

— Кто он? — вопросил Енох, входя в дверь.

Кларк сделал вид, будто не понимает. Енох пересёк комнату и отыскал лестницу. В конце концов, его не слишком интересовал ответ: та или иная английская фамилия, какая разница?

На втором этаже располагалась странной формы мансарда с грубо отёсанными балками и оштукатуренными стенами, на которых кое-где сохранились следы побелки. Енох нечасто бывал в детских, но они всегда представлялись ему подобием брошенного в спешке разбойничьего притона, где случайно забредший констебль видит бесчисленные улики странных, хитроумных, часто опрометчивых замыслов и плутней в разной стадии разработки. Он замер в дверях и собрался с мыслями, как хороший эмпирик, желая все увидеть и ничего не нарушить.

На стенах виднелось то, что Енох поначалу принял за небрежные следы мастерка. Когда глаза привыкли к полумраку, он понял, что питомцы мистера и миссис Кларк рисовали на

стенах — видимо, углем из камина. Было ясно видно, какие картинки кому принадлежат. Часть механически воспроизводила карикатуры, какие, очевидно, рисовали в школе дети постарше. Другие — обычно ближе к полу — являли собой карты прозрений, манифесты ума, всегда чёткие, временами прекрасные. Енох не ошибся в предположении, что мальчик наделён редкостно тонким восприятием. То, что другие не видели либо не замечали из умственного упрямства, он впитывал с жаром.

В мансарде стояли четыре узенькие кровати. Раскиданные по полу игрушки были в основном мальчишескими, но возле одной кровати преобладали оборки и ленты. Кларк упоминал воспитанницу. Енох приметил кукольный домик и целый клан тряпичных кукол на разных стадиях онтогенеза. Здесь, очевидно, произошла встреча интересов. Кукольную мебель создали те же ловкие руки и тот же упорядоченный ум, который придумал, как обвязать камень бечёвкой. Мальчик соорудил ротанговые столы из пучков соломы, плетёные креслица из ивовых прутиков. Алхимик в нем прилежно скопировал рецепты из старого соблазнителя пытливых юных умов, «Трактата о тайнах Природы и Искусства» Бейтса,

чтобы получить красители из растений и составить краски.

Он пытался рисовать других мальчиков, пока те спят — только в это время они не двигались и не делали гадости. Художнику ещё не хватало умения на грамотный портрет, но порою Муза водила его рукой, и тогда ему удавалось запечатлеть красоту в изгибе скулы или ресниц.

Были сломанные и разобранные детали механизмов, которые поначалу поставили Еноха в тупик. Позже, пролистав тетради, в которые мальчик списывал рецепты, он обнаружил наброски крысиных и птичьих сердец, которые, судя по всему, препарировал юный исследователь. После этого крохотные механизмы обрели смысл. Ибо что такое сердце, как не модель вечного двигателя? И что такое вечный двигатель, как не попытка человека воспроизвести работу сердца, овладеть его неведомой силой и поставить её себе на службу?

Аптекарь, заметно нервничая, поднялся к Еноху в мансарду.

— Вы что-то затеяли, да? — спросил Енох.

— Хотите ли вы этим сказать…

— Он попал к вам случайно?

— Не совсем. Моя жена знакома с его матерью.

Я видел мальчика.

— И, приметив его задатки, не могли устоять.

— У него нет отца. Я подал матери совет. Она женщина весьма достойная и добродетельная. Наученная читать-писать…

— Но слишком глупая, чтобы понять, кого произвела на свет?

— О да!

— Вы взяли мальчика под свою опеку и, когда он проявил интерес к алхимическому искусству, не стали ему препятствовать?

— Разумеется! Енох, может быть, он — избранный.

— Нет, — сказал Енох. — Во всяком случае, не тот избранный, о котором вы думаете. Да, он будет великим эмпириком. Ему суждены великие свершения, которых нам сейчас не дано даже вообразить.

— Енох, о чём таком вы говорите?

У Еноха заболела голова. Как объяснить, не выставив Кларка глупцом, а себя — шарлатаном?

— Что-то происходит.

Кларк подвигал губами и стал ждать объяснений.

— Галилей и Декарт были только предвестниками. Что-то происходит прямо сейчас. Ртуть

поднимается в земле, как вода в колодце.

Енох не мог прогнать воспоминание об Оксфорде, где Гук, Рен и Бойль обмениваются мыслями настолько стремительно, что между ними практически летают молнии. Он решил зайти с другой стороны.

— В Лейпциге есть мальчик, подобный этому. Отец недавно умер, не оставив ему ничего, кроме обширной библиотеки. Мальчик начал читать книги. Ему всего шесть.

— Эка невидаль! Многие дети читают в шесть.

— На немецком, на латыни, на греческом.

— При должном наставлении…

— Вот и я о том же. Учителя убедили мать запереть от мальчика библиотеку. Я об этом проведал. Поговорил с матерью и заручился обещанием, что маленький Готфрид получит беспрепятственный доступ к книгам. За год он самостоятельно выучил греческий и латынь.

Кларк пожал плечами.

— Отлично. Может быть, маленький Готфрид и есть избранный.

Еноху давно следовало понять, что разговор бесполезен, тем не менее он предпринял новый заход.

— Мы — эмпирики; мы презираем схоластов,

которые зубрили старые книги и отвергали новые. Это хорошо. Однако, возложив упования на философскую ртуть, мы заранее решили, что хотим отыскать, а это всегда ошибка.

Кларк только больше занервничал. Енох решил испытать другую тактику.

— В седельной сумке у меня лежат «Начала философии» Декарта, последнее сочинение, которое он написал перед смертью и посвятил юной Елизавете, дочери Зимней королевы.

Кларк изо всех сил делал вид, будто внимательно слушает, словно университетский студент, не отошедший от вчерашней попойки. Енох вспомнил камень на бечёвке и решил заговорить о чём-нибудь более конкретном.

— Гюйгенс сделал часы, в которых время отмеряет маятник.

— Гюйгенс?

— Голландский учёный. Не алхимик.

— Хм.

— Он придумал маятник, который всегда совершает мах за определенное время. Соединив его с часовым механизмом, он собрал идеально точный прибор для измерения времени. Тиканье маятниковых часов делит время бесконечно, как кронциркуль отмеряет лиги на карте. С помощью

двух приспособлений — часов и кронциркуля — мы в состоянии измерить протяженность и длительность. Вместе с новым анализом, который предложил Декарт, мы сумеем описывать мироздание и, возможно, предсказывать будущее.

— А, ясно! — сказал Кларк. — Этот ваш Гюйгенс — какой-то астролог?

— Нет, нет, нет! Он не астролог и не алхимик. Он — нечто совершенно новое. Будут и ещё такие, как он. Уилкинс в Оксфорде пытается собрать их вместе. Возможно, они добьются большего, чем алхимики. — «Если нет, — подумал Енох, — мне будет очень жаль». — Я хочу сказать, мальчик может стать одним из подобных Гюйгенсу.

— Так вы хотите, чтобы я отвратил его от алхимического искусства? — ужаснулся Кларк.

— Коль скоро он будет проявлять интерес — нет. Однако сверх того не понуждайте его, пусть следует собственным влечениям. — Енох взглянул на портреты и чертежи по стенам, примечая вполне толково построенную перспективу. — Вижу, он заинтересовался математикой.

— Не думаю, что он создан быть простым счётчиком, — предупредил Кларк. — Дни напролет сидеть над тетрадями, корпеть над таблицами ло-

гарифмов, кубическими корнями, косинусами…

— Благодарение Декарту, теперь математикам есть чем заняться помимо этого, — промолвил Енох. — Скажите брату, чтобы показал мальчику Евклида, и пусть тот выбирает сам.

Разговор не обязательно происходил именно так. Енох имеет свойство обходиться с воспоминаниями, как шкипер — с корабельным имуществом: что-то подтянуть, что-то подлатать или просмолить, нужное закрепить понадежнее, ненужное швырнуть за борт. Беседа с Кларком могла заходить в тупик гораздо чаще, нежели ему помнится. Вероятно, много времени ушло на расшаркивания. Так или иначе, разговор занял большую часть того короткого осеннего дня, потому что Енох выехал из Грантема уже вечером. По пути к Кембриджу он ещё раз миновал школу. Все мальчики разошлись по домам, за исключением одного, которого в наказание оставили соскабливать собственное имя с подоконников и скамей. Видимо, брат Кларка давно приметил эти надписи, но берёг их до какой-нибудь серьёзной провинности.

Вечернее солнце светило в открытые окна. Енох подъехал к школе с северо-западной стены, чтобы случайный наблюдатель увидел лишь

длинную тень в плаще с капюшоном. Он довольно долго смотрел на мальчика. Закатное солнце багрило и без того красное от натуги лицо. Мальчик истреблял надписи усердно и даже с жаром, как будто это жалкое место недостойно нести его собственноручную подпись. С одного подоконника за другим исчезало имя: «И. НЬЮТОН».

Ньютаун, Колония Массачусетского залива 12 октября 1713 г.

До такой степени английские Колонии приумножились в Размерах и Богатстве, что иные, хоть и по избытку Невежества, опасаются, как бы они не взбунтовались супротив английского Престола и не отложились в независимую Державу. Верно, опасения сии нелепы и беспочвенны, но успешно подтверждают то, что я сказал выше о Росте этих Колоний и о процветании ведущейся в них Коммерции.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

Порою кажется, что все перебрались в Америку. Парусников в Северной Атлантике — что рыбачьих лодок на Темзе, и в океане пролегла уже более или менее наезженная колея. Еноху мнится, что его появление на пороге Института технологических искусств Колонии Массачусетского залива нимало не удивит её основателя. Однако при виде Еноха Даниель Уотерхауз едва

не проглатывает зубы, и не только потому, что пола Енохова плаща сбивает на пол высокую стопку карточек. Мгновение Енох боится, что хозяина хватил апоплексический удар, и последним вкладом доктора Уотерхауза в деятельность Королевского общества, после более чем полувекового служения, станет заспиртованное в стеклянной банке измученное сердце. Первую минуту разговора доктор проводит полупривстав, с открытым ртом и держась левой рукой за грудь. Это может быть началом учтивого поклона — либо торопливой попыткой скрыть, что рубашка под камзолом покрыта грязными пятнами, бросающими тень на усердие молодой докторской супруги. А может быть, это *философическое* изыскание, и доктор считает себе пульс, что было бы отрадной новостью, поскольку сэр Джон Флойер только-только описал упомянутый метод в своей книге, и раз Даниель Уотерхауз о нём знает, значит, он следит за последними достижениями лондонской науки.

Енох пользуется затишьем, чтобы сделать другие наблюдения и определить эмпирически, так ли Даниель Уотерхауз выжил из ума, как уверяет гарвардская профессура. По шуточкам на пароме Енох ожидал увидеть исключительно шестерни

и кривошипы. И впрямь, он примечает небольшую механическую мастерскую в углу — как он опишет это строение в докладе Королевскому обществу? «Бревенчатый домик», будучи терминологически правильным определением, заставляет представить одетых в шкуры дикарей. «Прочная недорогая лаборатория, воздвигнутая с использованием местных строительных материалов»? Годится. Впрочем, так или иначе, большая часть пространства отведена не железу, а чему-то куда более эфемерному — карточкам. Они составлены в колонны, которые обрушились бы от трепетания бабочкина крыла, если бы не были сложены в террасы, лестницы и бастионы. Всё сооружение покоится на плитках, уложенных без раствора поверх земляного пола. Енох предполагает, что это необходимая предосторожность, иначе карточки разбухнут от грунтовых вод. Протиснувшись дальше в комнату и заглянув за карточный брустверь, он видит письменный стол, заваленный всё теми же карточками. Из чернильниц торчат облезлые серые перья, сломанные и погнутые валяются на полу вперемежку с птичьими хрящами и пухом.

Якобы стремясь исправить причинённый ущерб, Енох начинает поднимать с пола рас-

сыпанные карточки. У каждой наверху стоит довольно большое число, всегда нечетное, под ним — длинный ряд нулей и единиц. Поскольку последняя цифра всегда 1 — свидетельство нечетности, — Енох предполагает, что это то же самое число в двоичной записи, которую последнее время предпочитает Лейбниц. Дальше написано слово или короткая фраза, на каждой карточке свои. Поднимая их и складывая в стопку, он читает: «Ноев Ковчег», «Мирные договоры», «Мембранофоны (напр., мирлитоны)», «Концепция классического общества», «Зев и его наросты», «Чертёжные инструменты (напр., рейсшины)», «Скептицизм Пиррона из Элиды», «Требования контрактов по страхованию морской торговли», «Камакура бакуфу», «Ошибочность суждений, не основанных на знании», «Агаты», «Порядок рассмотрения фактических вопросов в римском гражданском суде», «Мумификация», «Пятна на Солнце», «Органы размножения бриофитов (напр., печёночника)», «Евклидова геометрия — равенство и подобие», «Пантомима», «Избрание и правление Рудольфа Габсбургского», «Испытания», «Несимметричные диадические отношения», «Фосфор», «Традиционные средства от мужского бессилия», «Арминианская ересь» и…

— Некоторые представляются мне чересчур сложными для монад, — говорит Енох, пытаясь разрядить обстановку. — Вот хотя бы «Развитие португальского господства в Центральной Африке».

— Взгляните на число вверху карточки, — отвечает Уотерхауз. — Это произведение пяти простых чисел: для «развития», для «португальского», для «господства», для «центральной» и для «Африки».

— Ах, так это не монада, а составное множество.

— Да.

— Трудно определить, когда карточки лежат в беспорядке. Вы не думаете, что их следует разложить?

— По какому принципу? — вопрошает Уотерхауз.

— О нет, я не стану ввязываться в этот спор.

— Ни одна линейная система каталогизации не в силах передать многомерность знания, — напоминает Уотерхауз. — Зато коли каждой присвоить уникальное число: простые — монадам, произведения простых — составным множествам, то их упорядочение станет лишь вопросом вычислений… *мистер Роот*.

— Доктор Уотерхауз. Простите за вторжение.

— Пустяки. — Уотерхауз наконец окончательно садится и возвращается к прерванному занятию — начинает со скрежетом водить напильником по куску металла. — Напротив, весьма приятная неожиданность видеть вас здесь, негаданно, столь невероятно хорошо сохранившимся, — кричит он, перекрывая звон металла и визг нагревшегося инструмента.

— Телесная крепость предпочтительнее своей альтернативы, но не всегда удобна. Люди, не столь бодрые телом, вечно гоняют меня с поручениями.

— Долгими и скучными, как это.

— Тяготы, опасности и скука пути вполне искупаются для меня радостью видеть вас в плодотворных трудах и столь добром здравии. — Или что-то в таком роде. Это предварительный обмен любезностями, который много времени не займёт. Если бы Енох вернул комплимент, хозяин дома только бы фыркнул: никто не скажет, будто он хорошо сохранился в том же смысле, что и его собеседник. Даниель выглядит на свои годы. Однако он жилистый, с чистыми небесно-голубыми глазами, челюсть и руки не трясутся, он не мямлит, во всяком случае, теперь, преодолев первый

шок от появления Еноха (и вообще кого-либо) на пороге института. Даниель Уотерхауз почти совершенно лыс, только на затылке белеют редкие седины, словно снег, прибитый ветром к стволу дерева. Он не просит извинений за непокрытую голову и не тянется за париком; весьма может статься, что у него вовсе нет парика. Глаза большие и склонны уставляться на собеседника, что, вероятно, тоже не укрепляет реноме доктора Уотерхауза. Крючковатый нос нависает над узким ртом скряги, надкусившего сомнительную монету. Уши удлинённые и покрыты прозрачным белым пушком наподобие младенческого. Такое несоответствие между органами ввода и вывода словно говорит, что человек этот знает и видит больше, нежели высказывает.

— Вы теперь колонист, или…

— Я здесь, чтобы повидать вас.

Большие глаза смотрят спокойно и понимающе.

— Так вы с визитом! Какой героизм — учитывая, что простой обмен письмами куда менее чреват морской болезнью, пиратами, цингой и массовыми утоплениями.

— Кстати о письмах. Вот. — Енох извлекает на свет эпистолу.

— Внушительная печать. Написал явно кто-то чрезвычайно важный. Не в силах выразить, как я потрясен.

— От близкой знакомой Лейбница.

— Курфюрстины Софии?

— Нет, от другой.

— А. И чего принцесса Каролина от меня хочет? Должно быть, чего-то ужасного, иначе не отправила бы вас мне докучать.

Доктор Уотерхауз стыдится своего первого испуга — отсюда эта несколько наигранная сварливость. Впрочем, так и лучше — Еноху кажется, что тридцатилетний Уотерхауз, таящийся в старике, проглядывает сквозь дряблую кожу, словно завернутая в мешковину статуя.

— Скажите лучше: выманить вас из добровольного заточения, Доктор Уотерхауз! Давайте найдем таверну…

— Мы найдем таверну после того, как я услышу ответ. Чего она от меня хочет?

— Того же, что всегда.

Доктор Уотерхауз сникает. Тридцатилетний внутри него ретируется, остается смутно знакомый старый хрыч.

— Мне следовало сразу догадаться. На что ещё годится никчёмный монадолог-вычислитель,

одной ногой стоящий в могиле?

— Потрясающе!

— Что?

— Мы знакомы — дайте-ка вспомнить — лет тридцать-сорок, столько же, сколько вы знаете Лейбница. За эти годы я видел вас в весьма незавидных коллизиях, но, если не ошибаюсь, впервые слышу, чтобы вы ныли.

Даниель тщательно обдумывает эти слова и неожиданно смеётся.

— Приношу извинения.

— Полноте!

— Я думал, здесь мою работу оценят. Я надеялся создать заведение, которое стало бы для Гарварда тем же, что колледж Грешема — для Кембриджа. Воображал, будто найду здесь учеников и последователей, хотя бы одного. Кого-то, кто помог бы мне построить Логическую Машину. Тщетные обольщения! Вся механически одаренная молодежь бредит паровой машиной. Нелепость! Чем плохи мельничные колёса? Здесь полно рек! Вот одна течёт прямо у вас под ногами!

— Юные умы всегда влеклись к механизмам.

— Можете мне не рассказывать. В мои университетские годы чудом была *призма*. Мы с Исааком покупали их на Стаурбриджской ярмарке — ма-

ленькие драгоценности, укутанные в бархат. Возились с ними месяцами.

— Ныне этот факт широко известен.

— Теперешних молодых тянет во все стороны разом, словно четвертуемого преступника. Или восьмеруемого. Или шестнадцатируемого. Я уже вижу, как это происходит с юным Беном, и вскоре то же самое будет с моим собственным сыном. «Изучать мне математику? Евклидову или Декартову? Анализ бесконечно малых по Ньютону или по Лейбницу? Или податься в эмпирики? И коли да, то чему себя посвятить: препарировать животных, классифицировать растения или выплавлять неведомые вещества в тиглях? Катать шары по наклонной плоскости? Возиться с электричеством и магнитами?» Что после этого может привлечь их в моей лачуге?

— Не объясняется ли отчасти недостаток интереса тем, что проект ваш, как всем ведомо, внушён Лейбницем?

— Я не пошёл по его пути. Он собирался использовать для двоичных знаков скатывающиеся шарики и совершать логические операции, пропуская их через механические воротца. Весьма изобретательно, но не очень практично. Я использую стержни.

— Поверхностно. Спрашиваю ещё раз: не связана ли ваша непопулярность с тем, что англичане поголовно считают Лейбница низким плагиатором?

— Странный поворот разговора. Вы хитрите?

— Лишь самую малость.

— Ах эти ваши континентальные замашки!

— Просто спор о приоритете за последнее время перерос в нечто невыносимо гнусное.

— Ничего другого я не ожидал.

— Думаю, вы не представляете, насколько всё это прискорбно.

— Вы не представляете, насколько хорошо я знаю сэра Исаака.

— Вы видели последние памфлеты, которые летают по Европе, без подписи, без даты, даже без имени издателя? Анонимные обзоры, подбрасываемые, как гранаты, в научные журналы? Внезапные разоблачения доселе безвестных «ведущих математиков», вынужденных подтверждать либо опровергать мнения, высказанные давным-давно в приватной корреспонденции? Великие умы, которые в другую эпоху свершали бы открытия коперниковского масштаба, растрачивают силы в роли наушников и наймитов той или другой враждующей стороны! Новоявлен-

ные журналишки возносятся до небес учёного общения, потому что какой-то холуй тиснул на последних страницах очередной подлый выпад! «Состязательные» задачи летают через Ла-Манш с единственной целью: доказать, что лейбницево дифференциальное исчисление — оригинал, а ньютоново — низкопробная подделка, либо наоборот! Вам это известно?

— Нет, — говорит Уотерхауз. — Я перебрался сюда от европейских интриг. — Его взгляд падает на письмо. Роот невольно смотрит туда же.

— Одни говорят «судьба». Другие…

— Не будем об этом.

— Хорошо.

— Анна при смерти, Ганноверы пакуют островерхие шлемы и расписные пивные кружки, а в промежутках берут уроки английского. София ещё может взойти на английский престол, пусть и ненадолго. Однако раньше или позже Георг-Людвиг станет королём Ньютона и — поскольку сэр Исаак по-прежнему возглавляет Монетный двор — его начальником.

— Понимаю, к чему вы клоните. Это в высшей степени неловко.

— Георг-Людвиг — воплощение неловкости. Он едва ли знает и едва ли захочет знать. Зато его

невестка-принцесса — автор этого письма и, вероятно, тоже будущая королева Англии — состоит в близкой дружбе с Лейбницем и одновременно восхищается Ньютоном. Она ищет примирения.

— Она хочет, чтобы голубь пролетел между Геркулесовыми Столпами. На которых ещё не высохли кишки предыдущих миротворцев.

— Вас считают иным.

— Уж не Геркулесом ли?

— Ну…

— Вы знаете, в чём я иной, мистер Роот?

— Нет, доктор Уотерхауз.

— Тогда в таверну.

* * *

Бена и Годфри отправляют на пароме в Бостон. В ближайшую таверну Даниель идти не хочет из-за каких-то давних разногласий с хозяином, поэтому они проезжают мили две на северо-запад, время от времени пропуская погонщиков со скотом, и оказываются в городке, который был столицей Массачусетса, пока отцы Бостона не обскакали здешнее самоуправление. Несколько дорог выныривают из леса и соединяются вместе; йомены, погонщики и лесорубы превратили их в месиво навоза и грязи. Рядом колледж. Другими

словами, Ньютаун — рай для кабатчиков, и вся «площадь», как это здесь называют, окружена трактирами.

Уотерхауз заходит в таверну и тут же пятится назад. Заглянув ему через плечо, Енох видит длинный стол, судью в белом парике, присяжных на дощатых скамьях и приведённого на допрос угрюмого головореза.

— Неподходящее место для праздной болтовни, — бормочет Уотерхауз.

— Вы вершите суд в *питейных заведениях*?

— Пфу! Этот судья не пьянее, чем любой магистрат в Олд-Бейли.

— Что ж, можно взглянуть и так.

Даниель подходит к другому трактиру и открывает кирпично-красную дверь. У входа висят два кожаных ведра с водой на случай пожара, в соответствии с предписанием городских властей, на стене — приспособление для снимания сапог, дабы хозяин мог оставлять обувь посетителей в качестве залога. Сам кабатчик укрылся за деревянным бастионом в углу, позади него — полки с бутылями, к стене прислонена пищаль длиною не меньше шести футов. Енох дивится размеру половых досок. Они, словно лёд на озере, скрипят под ногами. Уотерхауз ведёт его к столу. Столеш-

ница выпилена из цельного ствола диаметром не меньше трёх футов.

— В Европе таких деревьев не видели сотни лет, — замечает Енох, измеряя стол локтем. — Этот ствол должен был пойти на постройку Королевского флота. Я потрясён.

— Из правила есть исключение, — говорит Уотерхауз, впервые обнаруживая весёлость. — Если дерево повалило бурей, любой может его забрать. Вот почему Гомер Болструд и его единоверцы-гавкеры основали свои колонии в лесной глуши, где деревья очень велики…

— А ураганы налетают нежданно-негаданно?

— И неведомо для соседей. Да.

— Смутьяны во втором поколении становятся мебельщиками. Интересно, что подумал бы старый Нотт.

— Смутьяны и мебельщики в одном лице, — поправляет Уотерхауз.

— Ах да. Будь моя фамилия Болструд, я бы тоже предпочел поселиться подальше от архиепископов и ториев.

Даниель Уотерхауз встаёт, подходит к камину, берёт с крюков пару полешков и сердито подбрасывает их в огонь. Потом направляется в угол и заговаривает с кабатчиком. Тот разбивает в две

кружки по яйцу, наливает ром, горькую настойку и патоку. Напиток вязкий и мудрёный, как ситуация, в которую влип Енох.

За стеной похожая комната — для женщин. Слышно, как крутятся самопрялки и шуршит на кардах шерсть. Кто-то настраивает смычковый инструмент — не старинную виолу, а (судя по звуку) скрипку. Трудно поверить — в такой глуши! Однако, когда музыкантша начинает играть, звучит не барочный менуэт, а дикий протяжный вой — ирландский, если Енох не ошибается. Это всё равно что пустить муаровый шёлк на мешки для зерна — лондонцы хохотали бы до слёз. Енох встаёт и заглядывает в дверь — убедиться, что ему не почудилось. И впрямь, девушка с морковно-рыжими волосами наяривает на скрипке, развлекая женщин, которые прядут или шьют. И музыкантша, и мелодия, и пряхи со швеями — ирландские до мозга костей.

Енох возвращается за стол, ошалело мотая головой. Даниель опускает в каждую кружку по горячему песту, чтобы напиток согрелся и загустел. Енох садится, делает глоток и решает, что ему нравится. Даже музыка начинает казаться приятной.

— С чего вы взяли, что убежите от интриг?

Даниель оставляет вопрос без ответа. Он разглядывает других посетителей.

— Мой отец, Дрейк, отдал меня в учение с единственной целью, — говорит наконец Даниель. — Чтобы я помог ему подготовиться к Апокалипсису, который, по его убеждению, должен был наступить в 1666 году — число Зверя и всё такое. Соответственно, я родился в 1646-м — Дрейк, как всегда, всё просчитал. К совершеннолетию я должен был стать учёным клириком и овладеть многими мёртвыми языками, дабы, стоя на Дуврских скалах, приветствовать грядущего со славой Спасителя на бойком арамейском. Когда я смотрю вокруг, — он обводит рукой таверну, — на то, во что оно вылилось, я гадаю, мог ли отец ошибиться больше.

— Думаю, для вас это подходящее место, — говорит Енох. — Здесь ничто не идёт по плану. Музыка. Мебель. Всё вопреки ожиданиям.

— Мы с отцом видели казнь Хью Питерса — то был капеллан Кромвеля. Оттуда отправились прямиком в Кембридж. Поскольку казнили на рассвете, усердный пуританин успевал посмотреть расправу и до вечерних молитв совершить все положенные труды и поездки. Питерса лишили жизни посредством ножа. Дрейк не дрогнул,

наблюдая, как из брата Хью выпустили потроха, лишь сильнее укрепился в решимости отправить меня в Кембридж. Мы приехали туда и зашли к Уилкинсу в Тринити-колледж…

— Погодите, что-то память меня подводит… Разве Уилкинс был не в Оксфорде? В Уодем-колледже?

— В 1656-м он женился на Робине. Сестре Кромвеля.

— *Это* я помню.

— Кромвель сделал его мастером Тринити. Но, разумеется, Реставрация положила этому конец. Так что он пробыл в Кембридже всего несколько месяцев — немудрено, что вы запамятовали.

— В таком случае простите, что перебил. Дрейк отвёз вас в Кембридж…

— И мы зашли к Уилкинсу. Мне было четырнадцать. Отец ушёл и оставил нас вдвоём, свято веря, что уж этот-то человек — шурин самого Кромвеля! — наставит меня на путь праведности: может быть, мы станем толковать библейские стихи о девятиглавых зверях, может быть, помолимся за упокой Хью Питерса.

— Полагаю, ничего такого не произошло.

— Попытайтесь вообразить коллегию Святой Троицы: готический муравейник, похожий на

крипту древнего собора; старинные столы, в пятнах и подпалинах от алхимических опытов, реторты и колбы с содержимым едким и ярким, но, главное, *книги* — бурые кипы, составленные, как доски в штабелях, больше книг, чем я когда-либо видел в одном помещении. Минуло лет десять-двадцать с тех пор, как Уилкинс завершил великий «Криптономикон». По ходу работы он, разумеется, собирал трактаты о шифрах со всего мира и сопоставлял всё, что известно о тайнописи со времени древних. Издание книги принесло ему славу среди адептов этого искусства. Известно, что экземпляры «Криптономикона» достигли таких дальних городов, как Пекин, Лима, Исфахан, Шахджаханабад. В результате Уилкинс стал получать *ещё* книги — их слали ему португальские криптокаббалисты, арабские учёные, роющиеся в пепле Александрии, парсы — тайные последователи Зороастра, армянские купцы, которые поддерживают связь по всему миру посредством знаков, упрятанных на полях или в тексте письма столь искусно, что конкурент, перехвативший послание, увидит лишь ничего не значащую болтовню, в то время как другой армянин извлечёт важные сведения с той же лёгкостью, с какой вы или я прочтём уличный

памфлет. Здесь были тайные шифры мандаринов, которые по самой природе китайского письма не могут шифровать, как мы, и вынуждены упрятывать послания в расположении иероглифов на листе и другими способами — столь хитроумными, что на их создание, должно быть, ушла целая жизнь. И всё это попало к Уилкинсу благодаря «Криптономикону». Вообразите, что я должен был испытать. С младых ногтей Дрейк, Нотт и другие внушали мне убеждение, что книги эти, до последних слова и буквы, сатанинские. Что, лишь приоткрыв переплёт и нечаянно бросив взгляд на оккультные письмена, я буду немедленно ввержен в Тофет.

— Вижу, на вас это произвело весьма сильное впечатление.

— Уилкинс дал мне полчаса посидеть в кресле, просто чтобы освоиться, потом мы принялись куролесить и подожгли стол. Уилкинс читал гранки бойлевского «Химика-скептика» — к слову, непременно когда-нибудь прочтите, Енох…

— Я знаком с этим сочинением.

— Мы с Уилкинсом пытались воспроизвести один из опытов, но что-то пошло не так. По счастью, пожар оказался пустяковый, ничего всерьёз не сгорело. Однако цель Уилкинса была достиг-

нута: я сбросил маску вежливости, навязанную мне Дрейком, и заговорил. Наверное, я был похож на человека, увидевшего лицо Божье. Уилкинс походя обронил, что коли я хочу получить *образование*, то на этот случай в Лондоне есть колледж Грешема, где он и несколько его оксфордских приятелей учат натурфилософии *непосредственно*, без необходимости долгие годы продираться сквозь густой лес классической белиберды.

Я был слишком юн, чтобы даже помыслить об ухищрениях, а если б и упражнялся в лукавстве, не осмелился бы прибегнуть к нему в этой комнате. Я просто сказал Уилкинсу правду: что не испытываю тяги к религии, во всяком случае, как роду занятий, и желаю быть натурфилософом, подобно Бойлю и Гюйгенсу. Но, разумеется, Уилкинс это уже приметил. Он сказал: «Положись на меня» и подмигнул.

Дрейк и слышать не захотел о том, чтобы отправить меня в колледж Грешема, так что через год я попал в старую кузницу викариев — Тринити-колледж Кембриджа. Отец верил, что таким образом я иду по пути, им предначертанному. Уилкинс же тем временем составил на мой счёт собственный план. Так что видите, Енох, я привык, что другие безрассудно решают, как мне

жить. Вот почему я приехал в Массачусетс и вот почему не собираюсь его покидать.

— Ваши намерения целиком на вашем усмотрении. Я лишь прошу, чтобы вы прочитали письмо, — говорит Енох.

— Что за внезапные события стали причиной вашей поездки, Енох? Сэр Исаак рассорился с очередным юным протеже?

— Блистательная догадка!

— Это не более догадка, чем когда Галлей предсказал возвращение кометы. Ньютон подчиняется своим собственным законам. Он работал над вторым изданием «Математических начал» вместе с молодым как-его-бишь…

— Роджером Котсом.

— Многообещающий розовощёкий юнец, да?

— Розовощёкий, без сомнения, — говорит Енох. — И был многообещающим, пока…

— Пока не допустил какую-то оплошность. После чего Ньютон впал в ярость и низверг его в Озеро Огня.

— Очевидно, так. Теперь всё, над чем трудился Котс — исправленное издание «Математических начал» и какого-то рода примирение с Лейбницем, — пошло прахом или по крайней мере остановлено.

— Исаак ни разу не швырнул меня в Озеро Огня, — задумчиво произносит Даниель. — Я был так юн и так очевидно бесхитростен — он никогда не подозревал во мне худшего, как во всех других.

— Спасибо, что напомнили! Сделайте милость. — Енох придвигает конверт.

Даниель ломает печать и достает письмо. Вытаскивает из кармана очки и придерживает их одной рукой, как будто заправить за уши дужки значит взять на себя какого-то рода обязательства. Сперва он держит письмо на вытянутой руке, как произведение каллиграфического искусства, любуясь красивыми росчерками и завитушками.

— Благодарение Богу, оно написано не этими варварскими готическими письменами, — говорит Даниель, после чего наконец приближает письмо к глазам и начинает читать.

К концу первой страницы он внезапно меняется в лице.

— Вы, вероятно, заметили, — говорит Енох, — что принцесса, вполне осознавая опасности далекого плавания, промыслила страховой полис…

— Посмертная взятка! — восклицает Дани-

ель. — В Королевском обществе теперь пруд пруди актуариев и статистиков, которые составляют таблицы для продувных бестий с Биржи. Наверняка вы прикинули, каковы шансы у человека моих лет пережить плавание через Атлантику, месяцы или даже годы в нездоровом лондонском климате и обратный путь в Бостон.

— Помилуйте, Даниель! Ничего мы не «прикидывали»! Вполне естественно со стороны принцессы застраховать вашу жизнь.

— На такую сумму!.. Это пенсион — *наследство* для моих жены и сына.

— Вы получаете пенсион, Даниель?

— Что?! В сравнении с этим — нет, — сердито отчеркивая ногтем вереницу нулей посреди письма.

— В таком случае мне кажется, что её королевское высочество привела весьма убедительный довод.

Уотерхауз сейчас, в эту самую минуту, осознал, что очень скоро поднимется на корабль и отплывёт в Лондон. Это можно прочесть на его лице. Однако пройдёт час или два, прежде чем он выскажет своё решение, — непростое время для Еноха.

— Даже если не думать о страховке, — говорит

тот, — поехать — в ваших собственных интересах. Натурфилософия, как война или любовь, лучше всего даётся молодым. Сэр Исаак не сделал ничего творческого с загадочного бедствия в девяносто третьем.

— Для меня оно не загадка.

— С тех пор он трудится на Монетном дворе, перерабатывает свои старые книги да изрыгает пламень в Лейбница.

— И вы советует мне подражать ему *в этом*?

— Я советую вам отложить напильник, упаковать карточки, отойти от верстака и задуматься о будущем революции.

— Какой? Была Славная Революция в восемьдесят восьмом, поговаривают о том, чтобы затеять революцию здесь, но…

— Не лукавьте, Даниель. Вы говорите и думаете на языке, которого не существовало, когда вы с Исааком поступили в Тринити.

— Отлично, отлично. Коль вам угодно называть это революцией, я не буду придираться к словам.

— Эта революция теперь обратилась против себя. Спор из-за дифференциального исчисления расколол натурфилософов на Континенте и в Великобритании. Британцы теряют гораздо больше. Уже сейчас они неохотно пользуются ме-

тодикой Лейбница — куда более разработанной, ибо он приложил усилия к распространению своих идей. Трудности, с которыми столкнулся Институт технологических искусств Колонии Массачусетского залива, — лишь симптом того же недуга. Довольно прятаться на задворках цивилизации, возясь с карточками и шатунами! Возвращайтесь к истокам, найдите первопричину, исцелите главную рану. Если вы преуспеете, то к тому времени, когда ваш сын будет поступать в университет, институт из болотной лачуги превратится во множество корпусов и лабораторий, куда даровитейшие юноши Америки съедутся изучать и совершенствовать искусство автоматических вычислений!

Доктор Уотерхауз смотрит на него с тоскливой жалостью, адресуемой обычно дядюшкам, которые настолько заврались, что уже сами не отвечают за свою околесицу.

— Или по крайней мере я подцеплю лихорадку, умру через три дня и оставлю Благодати и Годфри приличный пенсион.

— Это дополнительный стимул.

* * *

Быть европейским христианином (во всяком случае, немудрено, что так думает весь остальной мир) означает строить корабли, плыть на них к любому и каждому берегу, ещё не ощетинившемуся пушками, высаживаться в устье реки, целовать землю, устанавливать флаг или крест, стращать туземцев мушкетной пальбой и — проделав такой путь, преодолев столько тягот и опасностей — доставать плоскую посудину и нагребать в неё речную грязь. При размешивании в посудине возникает вихревая воронка, поначалу скрытая мутной взвесью. Однако постепенно течение уносит муть, словно ветер — пыльное облако, и взгляду предстает завихрение, к центру которого стягивается концентрат, в то время как более лёгкие песчинки отбрасываются к краям и смываются водой. Голубые глаза пришельцев пристально смотрят на более тяжёлые крупицы, поскольку иногда они бывают жёлтыми и блестящими.

Легко назвать этих людей глупцами (не упоминая уже их алчность, жестокость и проч.), ибо есть некая сознательная безмозглость в том, чтобы достичь неведомых берегов и, не обращая

внимания на аборигенов, их языки, искусство, на местных животных и бабочек, цветы, травы и развалины, свести всё к нескольким крупицам блестящего вещества в центре посудины. И всё же Даниель в трактире, пытаясь собрать воедино старые воспоминания о Кембридже, с горечью осознаёт, что последние полвека в его мозге шёл сходный процесс. Воспоминания, полученные в те годы, были столь же разнообразны, как у конквистадора, втащившего шлюпку на берег, куда ещё не ступала нога белого человека. Слово «странный» в своём первом и буквальном смысле означает чужой, иноземный, *чужестранный*; первые годы в Тринити Даниель и впрямь чувствовал себя чужестранцем в неведомой и непонятной стране. Аналогия не слишком натянутая, ибо Даниель поступил в университет сразу же после Реставрации и оказался среди молодых аристократов, которые почти всю жизнь провели в Париже. Он дивился на их наряды, как чернорясец-иезуит — на яркое оперение тропических птиц; их рапиры и кинжалы были не менее смертоносны, чем когти и клыки заокеанских хищников. Юноша вдумчивый, он с первого дня пытался осмыслить увиденное — докопаться до самой сути, словно путешественник, что, повер-

нувшись спиной к орангутангам и орхидеям, зачерпывает лотком речные наносы. Результатом было лишь коловращение мутной взвеси.

В последующие годы он редко возвращался к этим воспоминаниям. Сейчас, в таверне близ Гарвардского колледжа, он с удивлением обнаруживает, что мутный водоворот унесло течением. Мысленный лоток взбалтывало и трясло долгие годы, отбрасывая ил и песок на периферию, откуда их смывало потоком времени. Осталось лишь несколько крохотных золотин. Даниель не знает, почему одни впечатления сохранились, а другие, казавшиеся в своё время куда более важными, развеялись. Впрочем, если сравнение с промывкой золота верно, то эти воспоминания и есть самые ценные. Ибо золото оказывается в центре лотка благодаря удельному весу; оно содержит больше субстанции (уж как ни понимай это слово) в заданном объёме, нежели всё остальное.

Толпа на Чаринг-Кросс, меч бесшумно опускается на шею Карла I — это первая из его золотин. Дальше провал в несколько месяцев до того дня, когда Уотерхаузы вместе со старинными друзьями Болструдами отправились на буколическую гулянку — спалить церковь.

Золотина: силуэтом на фоне витража-розетки

маячит ссутуленный чёрный призрак; руки его — маятник, в них раскачивается отбитая голова мраморного святого. Это — Дрейк Уотерхауз, отец Даниеля, в свои примерно шестьдесят лет.

Золотина: каменная голова летит, обернувшись в полёте, чтобы изумленно взглянуть на Дрейка. Сложный переплёт розетки проминается, словно корочка жира на застывшей похлёбке, если ткнуть в неё ложкой; сыплются стёкла, трансцендентное видение витража сменяется диском зелёных английских холмов под серебристым небом. Это — Гражданская война в Англии.

Золотина: невысокий кряжистый человек, обрушив золочёную ограду, воздвигнутую вокруг алтаря по приказу архиепископа Лода, роняет молот и в приступе падучей валится на престол Божий. Это Грегори Болструд, о ту пору примерно пятидесяти лет, проповедник, сам себя называющий индепендентом. Его склонность к эпилептическим припадкам породила слух, будто он лает, как пёс, во время своих многочасовых проповедей; отсюда секта, которую Грегори основал, а Дрейк поддержал деньгами, получила название гавкеров.

Золотина: гавкер помоложе лупит по церковному органу железным прутом; ровные ряды

труб падают как подрубленные, самшитовые клавиши разлетаются по мраморному полу. Нотт Болструд, сын Грегори, в расцвете сил.

Однако это все из раннего детства, до того, как он научился читать и думать. В следующие годы его юная жизнь текла упорядоченней и (как он, к своему изумлению, осознаёт задним числом) интересно. Даже с приключениями. В 1650-х, после окончания Гражданской войны, Дрейк с маленьким Даниелем разъезжали по всей Англии, задёшево скупая местную продукцию, которую затем переправляли в Голландию и продавали с большой выгодой. Хотя торговля эта была по большей части незаконная (Дрейк придерживался религиозных воззрений, по которым государство не вправе облагать его налогами и пошлинами, посему контрабанду почитал делом не только благим, но и священным), протекала она по заданному распорядку. Воспоминания Даниеля о той поре — те, что сохранились, — просты и суровы, словно нравоучительная пьеса. Всё вновь смешалось после Реставрации, когда он поступил в Кембридж и пережил как бы второе младенчество.

Золотина: в ночь перед тем, как отправиться в Кембридж и начать четырёхлетнее натаскивание

к концу света, Даниель спал в отцовском доме на окраине Лондона. Кровать представляла собой прямоугольную раму из прочных брусьев, сверху была натянута холстина, лежал мешок с соломой, и спали вповалку полдюжины диссидентских проповедников. Монархия вернулась, Англия получила короля, который звался Карлом II, и у короля этого были придворные. Один из них, Джон Комсток, составил Акт о Единообразии, который король подписал, одним росчерком пера превратив священников-индепендентов в еретиков и безработных. Разумеется, все они собрались у Дрейка. Сэр Роджер Лестрейндж, главный королевский цензор, совершал на дом ежедневные налеты, подозревая, что праздные фанатики печатают в подвале прокламации.

Уилкинс — который на короткое время возглавил коллегию Святой Троицы — сумел определить туда Даниеля. Тот воображал, что будет студентом Уилкинса, его протеже. Однако прежде, чем Даниель приступил к занятиям, Реставрация вышвырнула Уилкинса вон. Уилкинс вернулся в Лондон, чтобы служить в церкви Святого Лаврентия Еврейского и на досуге создавать Королевское общество. Останься Даниель в Лондоне, он мог бы общаться с Уилкинсом и

вволю постигать натурфилософию, не покидая города. Вместо этого он отправился в Тринити через несколько месяцев после того, как Уилкинс навсегда уехал из Кембриджа.

Золотина: по пути в университет он видит у дороги святых, которым разъяренные пуритане несколько лет назад откололи носы и уши. Соответственно, все они разительно похожи на Дрейка. Даниелю кажется, что статуи поворачивают головы, провожая его взглядом.

Золотина: размалёванная шлюха, визжа, падает на кровать Даниеля в Тринити-колледже. У Даниеля встаёт. Это Реставрация.

Женщина на его ногах внезапно становится значительно тяжелее: юноша вдвое моложе неё, во французских кружевах, наваливается сверху. Это Апнор.

Золотина: изукрашенная каменьями шпага лязгает о половицы. Её хозяин, упав на четвереньки, исходит булькающим веером блевоты. Затем со стоном приподнимается на колени и роняет голову на кружевной воротник. Свечи озаряют его лицо: дурной портрет английского короля. Это герцог Монмутский.

Золотина: субсайзер — неимущий студент, вынужденный в качестве платы за обучение

прислуживать более обеспеченным собратьям, — суетится с ведром и шваброй, пытаясь прибрать комнату; Монмут, Апнор, Джеффрис и другие привилегированные студенты гонят его за пивом в подвал. Это Роджер Комсток. Дальний родич Джона, написавшего Акт о Единообразии, правда, из другой ветви рода, враждебной Джону и его родичам. Отсюда его низкий статус в Тринити.

У Даниеля была в колледже собственная кровать, и всё же ему не спалось. В доме Дрейка, в одной постели с немытыми фанатиками, и на постоялых дворах во время поездок, где все храпели вповалку, он спал как убитый. Однако в университете ему пришлось делить комнату и даже постель с юнцами, пьяными до бесчувствия и настолько опасными, что лучше им было не перечить. Ночи разлетались в осколки; яркие, изматывающие сновидения пробивались в трещины, как пар из сосуда, покрытого глазурью кракле. Его первые связные воспоминания начались в одну из таких ночей.

Коллегия Святой и Нераздельной Троицы
1661 г.

Диссентеры лишены всех внешних прикрас, что привлекают чувства; их Учителя могут рассчитывать на Вспомоществование лишь за счёт собственных усилий; им нечем подкрепить свою Доктрину (за исключением слов) иначе как безупречным Поведением и образцовой Жизнью.

«Беды, которых можно справедливо ожидать от правительства вигов», приписывается Бернарду Мандевилю, 1714 г.

Какой-то шум во дворе — не обычная пьяная гульба, иначе бы он не удосужился ее заметить.

Даниель встал с постели и понял, что остался один в комнате. Внизу явно ссорились. Он подошёл к окну. Хвост Большой Медведицы застыл, как стрелка небесных часов, которые Даниель учился читать. Вероятно, около трёх часов пополуночи.

Под ним в мутных лужах света от фонарей плавали несколько фигур. Одна была одета так, как люди на памяти Даниеля одевались всегда, за исключением последнего времени: в чёрный камзол и чёрные же панталоны без какой-либо отделки. Остальные были расфуфырены и украшены перьями, как редкие птицы.

Тот, что в чёрном, по всей видимости, не пропускал остальных в дверь. До недавних пор все в Кембридже выглядели как он, а сам университет существовал лишь затем, что народу Божьему требовались священнослужители, сведущие в латыни, греческом и древнееврейском. Человек в черном загородил дверь своим телом, потому что люди в бархате, шёлке и кружевах пытались провести с собой уличную девку. И если бы в первый раз! Однако именно сегодня, по всей видимости, терпение его лопнуло.

Ярко-алый юнец выкаблучивался в кругу света от фонаря — кудрявый букет оборок и лент. Он обхватил себя руками и тут же со звоном их развёл. В каждой из рук блеснуло по стержню серебристого света: длинный в правой, короткий в левой. Его товарищи кричали. Даниель не различал слов, но угадывал смешение страха и радости. Тот, что в чёрном, с глухим лязгом

вытащил собственное оружие — тяжёлый эспадрон, — и мальчишка в алом ринулся на него, как грозовая туча, бьющая молниями. Он дрался как зверь, взгляд не успевал различить движения; тот, что в чёрном, — как человек, медленно и с оглядкой. Очень скоро он был весь продырявлен и превратился в груду чёрного окровавленного тряпья на зелёной траве у входа. Груда перекатывалась, пытаясь отыскать положение, в котором боль будет не такой нестерпимой.

По всему двору начали захлопываться ставни.

Даниель набросил камзол, натянул башмаки, зажёг фонарь и стремглав сбежал по лестнице. Однако торопиться было поздно — тело исчезло. Кровь смолой чернела на траве. Даниель пошёл по тёмным пятнам через двор, на задворки колледжа, и оказался в болотистой пойме реки Кем, петляющей позади университета. Поднялся ветер, и шум ветвей почти заглушил всплеск. Кто-то другой на месте Даниеля мог бы, не кривя душой, присягнуть, что ничего не слышал.

Он остановился, потому что мозг наконец проснулся, и ему стало страшно. Идя за мертвецом к чёрной воде, он оказался один в зарослях папоротника, и ветер пытался задуть фонарь.

В кругу света возникли двое голых людей, и

Даниель вскрикнул.

Один был высокий, с прекраснейшими глазами, какие Даниель когда-либо видел на человеческом лице; почти так же смотрела живописная Пиета, которую Дрейк однажды бросил в костёр. Глаза эти были устремлены на Даниеля и словно спрашивали: «Кто посмел вскрикнуть?» Другой был пониже ростом и от резкого звука втянул голову в плечи. Даниель наконец узнал Роджера Комстока, субсайзера.

— Кто это? — спросил Роджер. — Вы, милорд?

— Ничей не лорд, — ответил Даниель. — Это я, Даниель Уотерхауз.

— Это Комсток и Джеффрис. Что вы тут делаете среди ночи?

Оба были голые и мокрые, длинные волосы прилипли к плечам, и с них струилась вода. Тем не менее даже Комсток выглядел уверенней, чем Даниель, который стоял сухой, в одежде и с фонарём.

— Могу задать вам тот же вопрос. И где ваша одежда?

Ответил Джеффрис — Комстоку хватило ума придержать язык.

— Мы сняли одежду перед тем, как залезть в реку, — ответил он таким тоном, будто это само

собой разумеется.

Комсток увидел нестыковку в рассказе одновременно с Даниелем и поспешно добавил:

— Когда мы вылезли, то поняли, что нас отнесло течением, и не смогли найти одежду в темноте.

— А зачем вы полезли в реку?

— Мы преследовали негодяя.

— *Негодяя?!*

Прекрасные глаза сощурились, на лице Джеффриса проступило лёгкое отвращение. Однако Комсток счёл, что не сильно уронит своё достоинство, если продолжит разговор.

— Да! Какой-то фанатик — пуританин, возможно, гавкер — напал на милорда Апнора! Во дворе, прямо сейчас! Вы, наверное, не видели.

— Видел.

— А… — Джеффрис повернулся вбок, поймал двумя пальцами мокрый член и пустил мощную струю. Смотрел он на колледж.

— Окно вашей и милорда Монмута спальни расположено весьма неудобно — вы, должно быть, из него высунулись?

— Да, самую малость.

— Иначе как бы вы могли видеть дуэль?

— Дуэль или убийство?

И снова Джеффрис скривился от того, что раз-

говаривает с подобным ничтожеством. Комсток очень правдоподобно разыграл изумление.

— Вы утверждаете, что стали свидетелем убийства?

Даниель так опешил, что не смог ответить. Джеффрис продолжал мочиться. На траве уже образовалась блестящая лужа, от которой поднимался пар. Казалось, Джеффрис пытается спрятать за влажными испарениями свою наготу. Он наморщил лоб и спросил:

— Убийство, вы говорите? Значит, тот человек умер?

— Я… я так предполагаю, — запинаясь, выговорил Даниель.

— М-м-м… Опасно *предполагать*, когда вы обвиняете графа в тягчайшем преступлении. Быть может, вам лучше предъявить тело мировому судье, и пусть коронер установит причину смерти.

— Тело исчезло.

— Вы сказали *тело*. Не правильнее ли было бы сказать *раненый*?

— Ну… я не убедился лично, что его сердце остановилось, коли вы об этом.

— В таком случае раненый — правильный термин. На мой взгляд, был *раненый*, а не *мёртвый*, когда мы с Комстоком гнались за ним к реке.

— Мёртвым он точно не был, — согласился Комсток. — Но я видел, как он лежал…

— Из окна? — спросил Джеффрис, переставая наконец журчать.

— Да.

— Вы же не смотрите из окна сейчас, Уотерхауз?

— Очевидно, не смотрю.

— Весьма любезно с вашей стороны сообщить мне, что *очевидно*. Выпрыгнули вы из окна или спустились по лестнице?

— Спустился по лестнице, разумеется!

— Видели ли вы с неё двор?

— Нет.

— Значит, Уотерхауз, на какое-то время вы потеряли раненого из вида.

— Естественно.

— Так вы не имеете ни малейшего понятия, верно, Уотерхауз, что происходило во дворе, покуда вы спускались по лестнице?

— Да, но…

— И вопреки своему неведению — полному, чёрному и абсолютному — вы обвиняете графа, состоящего в личной дружбе с королем… повторите-ка ещё раз, что вы сказали?

— Мне кажется, он произнёс: «убийство», сэр, —

подсказал Комсток.

— Отлично. Коли так, пойдёмте и разбудим мирового судью, — сказал Джеффрис. Минуя Уотерхауза, он вырвал из его руки фонарь и направился к колледжу. Комсток, хихикая, двинулся следом.

Первым делом Джеффрис должен был вытереться и призвать собственного субсайзера, чтобы тот помог ему одеться и расчесаться — не может же джентльмен явиться к мировому судье с всклокоченными мокрыми волосами. Тем временем Даниель сидел у себя в комнате. Рядом суетился Комсток, наводя чистоту с невиданным прежде усердием. Поскольку Даниель был не в настроении разговаривать, Роджер по мере сил старался заполнить тишину.

— Луи Англси, граф Апнор, разит шпагой, как дьявол, верно? И не поверишь, что ему всего четырнадцать! Это потому, что они с Монмутом и остальными провели Междуцарствие в Париже и обучались фехтованию в академии господина дю Плесси, возле кардинальского дворца. Там они усвоили французские понятия о чести и ещё не вполне приспособились к английским обычаям — бросают вызов по малейшему поводу, реальному или надуманному. Ой, не делайте

такое лицо, мистер Уотерхауз, — помните, если его противника найдут, и он окажется мёртвым, и следствие установит, что смерть наступила от ран, а раны эти нанёс и вправду милорд Аннор, и не на дуэли как таковой, а в результате неспровоцированного нападения, и присяжные решат не принимать во внимание некоторые нестыковки в вашем рассказе, — короче, если его осудят за это гипотетическое убийство, вам не о чем будет тревожиться! В конце концов, если суд признает графа виновным, он не сможет сказать, что вы оскорбили его своим обвинением, ведь так? Признаю, некоторые его друзья очень на вас обидятся… ой, нет, мистер Уотерхауз, не поймите меня превратно. *Я* вам не враг, потому что происхожу из Золотых, не из Серебряных Комстоков…

Роджер не в первый раз произносил нечто подобное. Даниель знал, что Комстоки — непомерно разветвлённый род, первые представители которого кратко упоминаются ещё в хрониках времён Ричарда Львиное Сердце. Он смог заключить, что разделение на Золотых и Серебряных восходит к застарелой вражде между ветвями клана. Роджер Комсток пытался внушить Даниелю, что не имеет ничего общего (за исключением фамилии) с Джоном Комстоком, стареющим

пороховым магнатом, архироялистом и автором Акта о Единообразии, из-за которого дом Дрейка наполнился безработными дрыгунами, гавкерами, квакерами и проч.

— Эти ваши, как вы говорите, Золотые Комстоки, — спросил Даниель, — кто они, скажите на милость? Принадлежите вы к высокой церкви?

(Сиречь к англиканам школы архиепископа Лода, которые, согласно Дрейку и иже с ним, были ничуть не лучше папистов — а Дрейк буквально считал Папу Антихристом.)

— К низкой церкви?

(Как именовались англикане более кальвинистского толка, отвергающие разряженных попов.)

— К индепендентам?

(Подразумевая тех, что порвали всякую связь с государственной религией и создали собственные церкви по своему вкусу.)

Вниз по континууму Даниель двинуться не решился, ибо уже вышел за пределы теологических познаний Роджера.

Тот развёл руками.

— Из-за неладов с Серебряной ветвью последние поколения Золотых Комстоков вынуждены были много времени проводить в Голландской

республике.

Для Даниеля Голландия означала такие приюты благочестия, как Лейден, где пилигримы останавливались перед отплытием в Массачусетс. Однако вскоре стало ясно, что Роджер имеет в виду Амстердам.

— В Амстердаме каких только церквей нет! И все прекрасно уживаются. Может показаться странным, но с годами мы к этому притерпелись.

— В каком смысле? Научились сохранять свою веру среди еретиков?

— Нет. Скорее у меня в голове своего рода Амстердам.

— *Что?!*

— Много разных верований и сект, ведущих нескончаемый спор. Столпотворение религий. Я к этому привык.

— Вы не верите *ни во что*?!

Дальнейшая беседа — если разглагольствования Роджера достойны именоваться беседой — была прервана появлением Монмута, вызывающе спокойного, даже расслабленного. Роджер тут же принялся стягивать с него сапоги, распускать ему волосы и расстегивать пряжки. Одновременно он развлекал герцога рассказом

о том, как они с Джеффрисом преследовали кровожадного пуританина и загнали его в реку. Чем дольше Монмут слушал историю, тем больше она ему нравилась и тем больше нравился ему Комсток. При этом Роджер так часто отпускал лестные замечания в адрес Уотерхауза, что Даниель невольно почувствовал себя членом той же развесёлой компании; Монмут даже пару раз ласково ему подмигнул.

Наконец явился Джеффрис в великолепном парике, плаще с меховой опушкой, пурпурном шёлковом дублете и панталонах, отделанных бахромой. На боку у него болталась рапира с украшенной рубинами рукоятью, отвороты ботфортов только что не мели землю. Он выглядел в два раза старше и в два раза богаче Уотерхауза, хотя был на год моложе и, вероятно, без гроша в кармане. Он повёл оробелого Даниеля и неунывающего Комстока вниз — помедлив на лестнице, чтобы ещё раз указать на невозможность увидеть с неё двор, — затем через луг на улицы Кембриджа, где наполненные водой колеи сонными змеями поблескивали в первых лучах рассвета. Через несколько минут они подошли к дому мирового судьи и выслушали от слуги, что хозяин в церкви. Джеффрис повёл спутников в питейный дом,

где его сразу окружили девки. Даниель сидел и смотрел, как он рвёт зубами огромную, запеченную с кровью телячью ляжку, запивая её двумя пинтами эля и четырьмя стопками ирландского напитка под названием «асквибо»[5]. На Джеффрисе это никак не сказывалось — он был из тех, кто, напиваясь, становится лишь вкрадчивей и обходительней.

Внимание Джеффриса полностью занимали девки. Даниель сидел и боялся. Это был не абстрактный страх, который он честно старался испытать, слушая проповеди об адском огне, но реальное телесное ощущение, привкус во рту, чувство, что в любой миг с любой стороны в его внутренности может войти французский клинок, а дальше — долгое кровотечение или мучительная смерть от гниющей раны. Иначе зачем бы Джеффрис привёл его в этот вертеп, идеальное место для убийства?

Единственным способом отвлечься было слушать Роджера Комстока, который с прежним рвением пытался расположить Даниеля к себе. Он снова завёл речь о Джоне Комстоке, с которым

---

[5] Примечания: 5

Старинное название виски (от ирландского uisce beathadh, которое в свою очередь представляет собой производное от латинского aqua vitae, то есть «живая вода»). (Прим. перев.)

(не уставал повторять Роджер) их не связывает ничего, кроме фамилии. Доподлинно известно (сообщил Роджер), что порох, изготовленный на заводах Комстока, содержит примесь песка, потому либо не взрывается вовсе, либо вызывает разрыв орудийных стволов. Да что там, все, кроме наивных пуритан, давно знают, что Карл I проиграл войну не из-за полководческих талантов Кромвеля, а из-за дурного пороха, который поставлял кавалерам Комсток. Даниель — перепуганный до полусмерти — не имел ни сил, ни желания разбираться в генеалогических отличиях между Золотыми и Серебряными Комстоками. Он усвоил лишь, что Роджер почему-то старательно набивается ему в друзья и что это и впрямь на удивление славный малый — насколько может быть славным малый, только что утопивший в реке тело безвинной жертвы.

Колокольный трезвон возвестил, что мировой судья уже, вероятно, вкусил хлеба и вина. Однако Джеффрис явно не собирался покидать уютный трактир. Время от времени он ловил на себе взгляд Даниеля и смотрел на того, словно предлагая встать и пойти к дверям. Даниель тоже не торопился. Он судорожно отыскивал предлог, чтобы ничего не предпринимать.

Предлог сыскался такой: Апнор предстанет перед судом (последним и окончательным) через пять лет, когда наступит Второе Пришествие. Что толку требовать светского суда сейчас? Будь Англия по-прежнему Божьей страной, как в недавнем прошлом, власть могла бы покарать Луи Англси, графа Апнорского, к вящему торжеству справедливости. Однако король вернулся, Англия — Вавилон, Даниель Уотерхауз и убитый ночью безвинный пуританин — чужаки в чужой стране, как первые христиане в языческом Риме, — к чему марать руки судебной тяжбой? Лучше встать над схваткой и уповать на год тысяча шестьсот шестьдесят шестой.

Посему он вернулся в коллегию Святой и Нераздельной Троицы, так и не сказав ни слова мировому судье. Пошёл дождь. К тому времени, как Даниель добрался до колледжа, кровь с травы уже смыло.

Тело нашли через два дня среди камышей в полумиле по течению реки Кем. Убитый был преподавателем Кембриджа, гебраистом и дальним знакомцем Дрейка. Друзья покойного пытались что-нибудь узнать, но никто ничего не видел.

Шумная поминальная служба прошла в церкви, переделанной из амбара, в пяти милях от

Кембриджа. *Точно* в пяти милях. Акт о Единообразии, помимо прочего, запретил индепендентам устраивать молельные дома ближе чем в пяти милях от государственных (то есть англиканских) приходских церквей, поэтому пуритане взяли в руки карты и компасы, и многие участки бросовой земли внезапно поменяли владельцев. Пришел Дрейк и привёл с собой двух единокровных братьев Даниеля — Релея и Стерлинга. Пели псалмы, говорили проповеди, уверяя, что убиенный пуританин теперь в Царствии Божием. Даниель громко молился об избавлении из этого гнезда аспидов и ехидн — Тринити-колледжа.

В итоге ему, разумеется, пришлось выслушать несколько внушений. Сперва Дрейк отвёл его в сторонку.

Дрейк давно сжился с утратой носа и ушей, но ему довольно было повернуться к Даниелю лицом, чтобы тот вспомнил: есть мучения похуже учёбы в Тринити. Поэтому Даниель почти ничего не запомнил из отцовских слов. По большей части они сводились к тому, что каждый вечер обнаруживать у себя в постели новую, заранее оплаченную девку — суровый искус для юноши, и Дрейк всецело его одобряет: пусть указанный юноша ощутит на себе жар адского пламени и

проявит свои достоинства.

Подтекст был такой, что Даниель выстоит. Он не решился сказать отцу, что уже не выдержал испытания.

Потом Релей и Стерлинг по пути домой завели Даниеля в сельский трактир и объяснили, что он недоумок (притом неблагодарный), коли не сознаёт своего счастья. Дрейк и его первый выводок сыновей сколотили очень приличный капиталец, несмотря на религиозные преследования (а если хорошенько подумать, то и благодаря им). У братьев выходило, что главная цель учёбы в университете — свести знакомство со знатными и могущественными. Семья отправила Даниеля в колледж ценою больших расходов (о чем не уставали напоминать братья); если иногда, проснувшись, он обнаруживает на себе мертвецки пьяного герцога Монмутского, не дошедшего до собственной кровати, значит, все их мечты исполнились.

Подтекст был такой, что Релей и Стерлинг не верят в конец света, назначенный на 1666 год. Коли так, молчанию Даниеля в истории с Апнором нет ни малейшего оправдания.

Историю эту все в Тринити скоро позабыли, за исключением Уотерхауза и Джеффриса. Джефф-

рис по большей части не замечал Уотерхауза, но время от времени, например, садился напротив и в продолжение всего обеда не спускал с него глаз, а затем догонял Даниеля на лугу и говорил:

— Вы меня завораживаете, мистер Уотерхауз, как живое и ходячее воплощение малодушия. На ваших глазах убили человека, а вы ничего по этому поводу не предприняли. Ваше лицо горит, как раскалённое тавро. Я хочу впечатать его в память, чтобы на склоне лет вспоминать как платоновский идеал трусости.

Я собираюсь посвятить себя юриспруденции. Вы знаете, что эмблема правосудия — весы? С коромысла свешиваются две чаши. На одной — виновная сторона. На другой — гирька, полированный золотой цилиндр с пробирным клеймом. Вы, мистер Уотерхауз, будете эталоном, которым я стану взвешивать трусов.

Какую пуританскую софистику вы сочинили, мистер Уотерхауз, чтобы оправдать своё бездействие? Другие, подобные вам, всходили на корабли и отплывали в Массачусетс, дабы вести чистую жизнь подальше от нас, грешников. Думаю, вы разделяете их воззрения, мистер Уотерхауз, однако плавание через Северную Атлантику не для трусов, поэтому вы здесь. По-

лагаю, вы удалились в своего рода мысленный Массачусетс. Ваше тело в Тринити, но ваш дух унёсся к некой умозрительной Плимутской скале. Деля с нами трапезу, вы воображаете, будто сидите в вигваме, гложете индюшачью ножку с маисовыми лепёшками и строите глазки краснокожей индейской чаровнице.

* * *

В силу названных причин Даниель пристрастился к долгим прогулкам по садам и лугам Кембриджа. Если хорошо выбрать дорогу, можно было за четверть часа ни разу не перешагнуть через мертвецки пьяного студиозуса или (в теплую погоду) не рассыпаться в извинениях, наступив на Монмута или кого-нибудь из его свиты, совокупляющегося с девкой под сенью струй. Не раз он примечал у реки другого юношу, склонного к одиноким прогулкам. Даниель ничего о нем не знал — юноша ничем не прославился среди своих собратьев. Однако, когда у Даниеля вошло в привычку отыскивать его взглядом, он стал снова и снова замечать незнакомца на периферии университетской жизни. Юноша был субсайзером — безродным провинциалом, для которого священный сан и какой-нибудь захудалый при-

ход были единственным шансом вырваться из своей среды. Вместе с другими субсайзерами (такими, как Роджер Комсток) он иногда появлялся в трапезной, чтобы подкрепиться объедками и убрать после того, как отобедают высшие — пансионеры (например, Даниель) и те, кто вносил особую плату за право столоваться с начальством (например, Монмут и Апнор).

Подобно тому, как две кометы в пустынном космосе влекутся друг к другу посредством неведомой, действующей на расстоянии силы, два юноши почувствовали взаимное притяжение средь рощ и лугов Кембриджа. Оба страдали робостью и поначалу просто следовали параллельными траекториями во время одиноких прогулок. И все же со временем их пути сошлись. Исаак был бледен, как лунный свет, и невероятно хилого сложения — не поймешь, в чем душа держится. В необычайно светлых волосах уже пробивалась седина, бледные глаза выпирали из орбит, нос заострился. Чувствовалось, что в голове его происходит много такого, чем он не намерен делиться. Впрочем, как и Даниель, он был пуританин, а следовательно, изгой, и втайне увлекался натурфилософией. Им естественно было сблизиться.

Они договорились поселиться вместе. Другой купеческий сынок охотно переехал на место Даниеля. В Тринити различия между категориями студентов соблюдались не так строго, как в других колледжах, и Даниелю с Исааком никто не препятствовал. Их каморка выходила окнами на город, Даниель радовался, что не будет больше смотреть во двор, полный кровавых воспоминаний. Во время Гражданской войны по окну стреляли, и на потолке сохранились следы от пуль. Даниель узнал, что Ньютон происходит из обеспеченной крестьянской семьи. Отец умер ещё до его рождения, оставив небольшое наследство, нажитое фермерским трудом. Мать вскоре вышла замуж за более или менее благополучного священника. По рассказам Исаака она отнюдь не представлялась любящей и заботливой. Сначала дражайшая матушка отправила его учиться в соседний городок Грантем. Далеко не бедная вдова (второй ее муж тоже скончался), она могла бы послать Исаака в Кембридж пансионером, однако по скаредности, душевной чёрствости или тайной неприязни к образованию определила субсайзером — чистить другому студенту сапоги и прислуживать за столом. Не способная унижать сына издалека, родительница позаботилась,

чтобы это исполнял за неё кто-то другой. Ньютон был очевидно способнее, и Даниель тяготился такими отношениями. Он предложил жить на равных, по-братски деля то, что у каждого есть.

К его удивлению, Исаак отказался и продолжал безропотно исполнять обязанности слуги. Жизнь его, вне всяких сомнений, стала гораздо лучше. Они с Даниелем порознь штудировали Аристотеля, изводя свечи фунтами и чернила квартами. То было житьё, к которому они оба стремились. Тем не менее Даниеля смущало, что Исаак каждое утро помогает ему одеваться и тратит не меньше четверти часа на расчесывание волос. Полстолетия спустя Даниель без тщеславия вспоминал, что был довольно привлекательным юношей и мог похвалиться густыми длинными волосами; Исаак обнаружил, что, если их определённым образом расчесать, они ложатся на лоб красивой природной волной, и не успокаивался, не достигнув этого результата. Даниелю всякий раз было не по себе, однако он угадывал в Исааке мстительную ранимость и боялся обидеть того отказом.

Так продолжалось до Троицына дня, когда Даниель, проснувшись, не увидел в комнате Исаака. Даниель лёг сильно за полночь, Исаак, по обыкновению, засиделся ещё дольше. Все свечи

прогорели до основания. Даниель решил, что Исаак пошёл вынести ночную посуду, но тот не возвращался. Даниель шагнул к их крошечному письменному столу и увидел листок бумаги, на котором Исаак запечатлел спящее юное существо ангельской красоты. Даниель даже не понял сперва, юноша это или девушка. Однако, поднеся рисунок к окну, он заметил на лбу спящего волнистую прядь. Она стала криптографическим ключом к зашифрованному посланию. Даниель внезапно узнал себя. Не реального, но очищенного и облагороженного словно бы неким алхимическим превращением — шлак и окалина ушли, освобождённый дух воссиял, будто философская ртуть. Таким был бы Даниель Уотерхауз, если бы пошёл к мировому судье, обличил Апнора и, пострадав за правое дело, принял достойную христианина смерть.

Даниель спустился и нашёл Исаака в церкви, где тот в муках коленопреклоненно молился о спасении своей бессмертной души. Даниель невольно почувствовал сострадание, хотя слишком мало знал о грехе и слишком мало об Исааке, чтобы понять, в чём кается его друг. Даниель встал рядом и тоже немного помолился. Со временем боль и страх вроде бы немного отпустили.

Церковь наполнилась народом. Началась служба. Оба взяли по «Книге общих молитв» и открыли их на странице Троицына дня. Священник вопросил: «Что требуется от приступающих к Вечере Господней?» Оба ответили: «Испытать себя, раскаиваются ли они в прежних грехах и вознамерились ли со всею твердостию вести новую жизнь». Даниель смотрел на Исаака, когда тот произносил строки из катехизиса, и видел внутренний пыл. Такой же пламень озарял изувеченное лицо Дрейка, когда старик принимал какое-то бесповоротное решение. Оба причастились. *Се Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира.*

Даниель видел, как Исаак из страдальца, буквально бьющегося в духовных корчах, преобразился в непорочного святого. Раскаявшись в прежних грехах и со всею твердостию вознамерившись вести новую жизнь, они возвратились в свою келейку. Исаак бросил рисунок в огонь, раскрыл тетрадь и принялся писать. В начале чистого листа он написал: «Грехи, совершённые до Троицына дня 1662 года» и начал перечислять все свои дурные поступки, какие сумел вспомнить, с самого детства: желал отчиму смерти, побил однокашника и тому подобное. Он писал

весь день и часть ночи, а исчерпавшись, начал новую страницу подзаголовком «После Троицына дня 1662 года», которую оставил покамест незаполненной.

Даниель тем временем вернулся к Евклиду. Джеффрис постоянно напоминал, что он показал себя недостойным священного сана. Джеффрис делал это из желания помучить Даниеля-пуританина. На самом же деле Даниель если и собирался сделаться проповедником, то лишь в угоду отцу. С того самого дня, как Дрейк привёл его к Уилкинсу, ему хотелось одного — заниматься натурфилософией. Не выдержав испытания на моральную прочность, он обрёл свободу, пусть даже горькой ценой презрения к себе. Коль скоро натурфилософия приведёт его к вечному проклятию, изменить что-то не в его власти, как первым подтвердил бы верящий в предопределение Дрейк. Впрочем, могут пройти годы и даже десятилетия до того, как Даниель попадёт в ад. Он решил, что стоит по крайней мере заполнить это время чем-нибудь для себя интересным.

Через месяц, когда Исаака не было в комнате, Даниель открыл его тетрадь на странице, озаглавленной «С Троицына дня 1662 года». Она по-прежнему была пуста.

Через два месяца Даниель проверил снова. Новых записей не появилось.

Тогда он решил, что Исаак просто забыл про тетрадь. Или, может быть, перестал грешить! Много лет спустя Даниель понял, что ошибся в обеих своих догадках. Исаак Ньютон просто не считал себя больше способным на грех.

Суровый вердикт, ведь сказано: «Не судите, да не судимы будете». На это можно возразить, что, имея дело с Исааком Ньютоном, самым поспешным и безжалостным из судей, приходилось быть скорым и точным в собственных суждениях.

Бостон, Колония Массачусетского залива
12 октября 1713 г.

Другие, в стороне,
Облюбовали для беседы холм
(Умам — витийство, музыка — сердцам Отрадны), там раздумьям предались,
Высоким помыслам: о Провиденье,
Провиденье, о воле и судьбе —
Судьбе предустановленной и воле
Свободной…

Мильтон, «Потерянный рай» [6]

Как добрый картезианец, который измеряет всё по отношению к неподвижной точке, Даниель Уотерхауз думает, плыть ему или не плыть в Англию, одновременно глядя в приоткрытую дверь на сына, Годфри Вильяма, неподвижный

---

[6] Примечания: 6
Перевод Арк. Штейнберга.

колышек, который он вогнал в землю после многолетних скитаний — произвольную точку на плоской равнине, возразили бы некоторые, но ныне начало всей его координатной системы. По сэру Исааку, всё сущее есть некое непрекращающееся чудо; планеты удерживаются на орбитах и атомы на своих местах имманентной волею Божьей. Глядя на сына, Даниель вряд ли мог бы думать иначе. Мальчик — свернутая пружина; возможно, в нем заключены целые поколения американских Уотерхаузов, хотя с тем же успехом он может подцепить лихорадку и умереть завтра.

В большинстве бостонских домов за мальчиком, пока родители принимают гостей, присматривала бы рабыня. У Даниеля Уотерхауза рабов нет по разным причинам, в том числе даже по соображениям человеколюбия. Поэтому маленький Годфри сидит на коленях не у негритянки, а у соседки, слегка тронутой миссис Гуси, которую мальчик ещё в детстве окрестил «миссис Гусыня». Она иногда заходит к Уотерхаузам, чтобы делать то единственное, на что, по всей видимости, способна: развлекать детей нелепыми побасенками и дурными стишками, которые запомнила или сочинила сама. Енох ушел договаривать-

ся с ван Крюйком, капитаном «Минервы»; тем временем Даниель, Благодать и преподобный Терпи-Смиренно[7] Уотерхауз обсуждают, как быть с неожиданным приглашением принцессы Каролины Ансбахской. Много слов произнесено, однако они действуют на Уотерхауза не больше, чем бессвязные бормотания миссис Гуси о столовых приборах, скачущих через небесные тела, или старушках, живущих в дырявой обуви.

Терпи-Смиренно Уотерхауз говорит что-то в таком роде:

— Верно, вам шестьдесят семь, но вы в отменном здравии — многие прожили гораздо дольше.

— Если будешь избегать многолюдных сборищ, высыпаться и есть вовремя… — говорит Благодать.

— Что, если рухнет Лондонский мост, Лондонский мост, Лондонский мост… — поёт матушка Гусыня.

— Никогда я до такой степени не осознавал, что мой мозг — собрание кривошипов и шестерён, — говорит Даниель. — Моё решение принято некоторое время назад.

— Люди нередко меняют свои решения, — гово-

[7] Примечания: 7

Сын Восславь-Господа Уотерхауза, сына Релея У., сына Дрейка — и, таким образом, внучатый племянник Даниеля. (Прим. автора.)

рит преподобный.

— Можно ли заключить из ваших последних слов, что вы верите в свободную волю? — вопрошает Даниель. — Вот уж не ожидал услышать такое от Уотерхауза! Чему только учат нынче в Гарварде? Вы забыли, что основатели нашей колонии бежали как раз от тех, кто исповедовал свободную волю?

— Не думаю, что основание нашей колонии неразрывно связано с упомянутым спором. В куда большей степени это был мятеж против самой концепции государственной церкви, будь то католическая или англиканская. Да, многие из тогдашних индепендентов, в том числе наш предок Джон Уотерхауз, переняли свои взгляды у женевских кальвинистов и презирали столь любимый англиканами и папистами принцип свободной воли. Однако далеко не это одно отправило их в изгнание.

— Я почерпнул свои взгляды не у Кальвина, а из натурфилософии, — говорит Даниель. — Разум — механизм, логическая машина. Вот во что я верю.

— Как та, что вы строите у реки?

— Только, по счастью, куда более отлаженная.

— Вы думаете, если улучшить вашу машину,

она станет такой же, как человеческий разум? Обретёт душу?

— Когда вы говорите о душе, вы воображаете нечто выше и больше кривошипов и шестерён, мёртвого вещества, из которого состоит механизм — будь то логическая машина или мозг. В такое я не верю.

— Почему?

На это, как на многие простые вопросы, ответить непросто.

— Почему? Наверное, потому, что это напоминает мне алхимию. Душа, то есть нечто, добавляемое к мозгу, — та же квинтэссенция алхимиков: неуловимая субстанция, якобы пронизывающая весь мир. Сэр Исаак посвятил её поискам всю жизнь, но так ничего и не нашёл.

— Коли такие взгляды вам не по вкусу, не стану вас переубеждать, по крайней мере в том, что касается свободной воли либо предопределения, — говорит Терпи-Смиренно. — Однако я знаю, что в детстве вы имели честь сидеть у ног таких мужей, как Джон Уилкинс, Грегори Болструд, Дрейк Уотерхауз и других убеждённых индепендентов, — людей, которые проповедовали свободу совести. Которые ратовали за церковь-общину в противоположность церкви установленной,

государственной. За процветание маленьких конгрегации. За отмену центральной догмы.

Даниель, всё ещё не вполне веря своим ушам:

— Да…

Терпи-Смиренно, бодрым голосом:

— Так что мешает мне проповедовать свободную волю *моей* пастве?

Даниель смеётся.

— А поскольку вы речисты, молоды и хороши собой, то и обращать в свою веру многих, включая, насколько я понял, мою жену?

Благодать заливается краской, встаёт и отворачивается, чтобы скрыть румянец. Отблески свеч вспыхивают на серебре в её волосах — это шпилька в форме кадуцея. Благодать выходит якобы взглянуть на маленького Годфри, хотя им прекрасно занимается миссис Гуси.

В таком крохотном городке, как Бостон, казалось бы, ничто не скроется от посторонних ушей. Всё устроено словно нарочно для любопытных. Почту доставляют не домой, а в ближайшую таверну; если не забрать ее через день-другой, трактирщик вскроет ваши письма и прочтет вслух всем желающим. Даниель не сомневается, что миссис Гуси подслушивает, хотя она полностью погружена в своё занятие, как будто

болтовня с ребёнком важнее, чем великое решение, которое Даниель пытается принять в конце долгой жизни.

— Не волнуйся, дорогая, — обращается он к жениной спине. — Меня воспитал отец, верящий в предопределение, так что пусть уж лучше моего сына воспитает мать, верящая в свободную волю.

Однако Благодать уже вышла из комнаты, Терпи-Смиренно спрашивает:

— Так вы верите, что Господь предопределил вам сегодня отплыть в Англию?

— Нет, я не кальвинист. Теперь вы озадачены, преподобный. Это оттого, что вы провели слишком много времени в Гарварде, читая о таких, как Кальвин или архиепископ Лод, и по-прежнему увлечены спором арминиан с кальвинистами.

— А что я должен был читать, доктор? — спрашивает Терпи-Смиренно, несколько преувеличенно изображая восприимчивость к чужому мнению.

— Галилея, Декарта, Гюйгенса, Ньютона, Лейбница.

— Программу вашего Института технологических искусств?

— Да.

— Не знал, что вы затрагиваете теологические вопросы.

— Это укол? Нет, нет, я отнюдь не в претензии! Напротив, меня радует такое проявление характера, поскольку я вижу, что вам в конечном счёте предстоит воспитывать моего сына.

Даниель произнёс это без всякого намёка — он полагал, что Терпи-Смиренно будет помогать мальчику из родственных чувств, но по заалевшим щекам молодого проповедника видит, что роль отчима куда вероятнее.

В таком случае лучше свести разговор к чему-нибудь более абстрактному.

— Всё идет от первопринципа. Каждую вещь можно измерить. Каждая вещь, в том числе наш мозг, подчиняется физическим законам. Мой мозг, принимающий решение, движется по заданному пути, как катящийся по жёлобу шар.

— Дядя! Вы же не отрицаете существование душ — Высшего Духа!

Даниель молчит.

— Ни Ньютон, ни Лейбниц с вами не согласятся, — продолжает Терпи-Смиренно.

— Они боятся это сделать, потому что оба — люди заметные, и за такое высказывание их сотрут в порошок. Однако никто не станет стирать в

порошок меня.

— Нельзя ли воздействовать на твой умственный механизм доводами? — спрашивает Благодать. Она вернулась и стоит в дверях.

Даниелю хочется ответить, что Терпи-Смиренно может с тем же успехом повлиять на него доводами, как соплёй сбить с курса мчащийся на всех парусах линейный корабль. Хотя язвить незачем: вся цель разговора — оставить по себе в Новом Свете добрую память. Теория в данном случае такова: поскольку солнце встаёт на восточном краю Америки, маленькие предметы отбрасывают на запад длинные тени.

— Будущее столь же неизменно, сколь и прошлое, — говорит он, — и будущее состоит в том, что через час я взойду на борт «Минервы». Можете возразить, что мне следует остаться в Бостоне и воспитывать сына. Разумеется, ничего другого я бы не желал. Я бы, с Божьей помощью, до конца отпущенных мне дней радовался, глядя, как возрастает Годфри. У него был бы отец из плоти и крови, со множеством явных слабостей и недостатков. До поры до времени он бы почитал меня, как все мальчики почитают отцов, потом бы это прошло. Но если я отплыву на «Минерве», вместо отца из плоти и крови — заданной постоянной

величины — у него будет воображаемый, исключительно податливый его мысли. Я уеду и буду мысленно представлять поколения ещё не рождённых Уотерхаузов, а Годфри сможет рисовать себе героического отца, каким я никогда не был.

Терпи-Смиренно Уотерхауз, человек умный и достойный, видит столько изъянов в этих рассуждениях, что парализован выбором. Благодать, лучшая родительница, чем супруга, которой с сыном повезло больше, чем с мужем, коротким кивком охватывает целый спектр компромиссов. Даниель берёт сына с колен миссис Гуси — подкатил Енох в наёмном экипаже, — и все отправляются на пристань.

И вот вижу я, как человек опрометью пустился бежать в указанном направлении. Бежать ему надо было мимо своего дома. Жена и дети, увидев его убегающим, подняли громкий вопль, умоляя вернуться. Но он заткнул уши пальцами и побежал ещё скорей, восклицая: «Жизнь, жизнь, вечная жизнь!» Пересекая поле, он даже не обернулся, чтобы взглянуть на них.

Джон Беньян, «Путешествие пилигри-

ма»[8]

«Минерва» уже подняла якорь, пользуясь приливом, чтобы увеличить расстояние от киля до подводных скал на выходе из гавани. Даниелю предстоит добираться до неё на лоцманском боте. Годфри, с трудом разлепив глаза, целует отца и провожает его взглядом, словно во сне. Это хорошо: он сможет потом подгонять свои воспоминания под меняющиеся нужды, как мать каждые полгода надставляет ему одежду по росту. Терпи-Смиренно стоит рядом с Благодатью, и Даниель поневоле думает, какая они красивая пара. Разлучник Енох виновато жмётся в сторонке, его седина пылает в лунном свете белым огнём.

Рабы со всей силы налегают на вёсла. Даниель вынужден сесть, не то бот вырвется из-под ног, оставив его бултыхаться в заливе. Строго говоря, он не столько садится, сколько плюхается назад и удачно попадает на банку. С берега, вероятно, это выглядит довольно комично, но Даниель знает, что нелепый эпизод будет вымаран из Истории, которой предстоит жить в памяти американских Уотерхаузов. История в хороших руках. Миссис Гуси пришла на пристань, чтобы смотреть и за-

---

[8] Примечания: 8
Перевод издательства «Свет с востока».

поминать, а у неё к этому дар. Енох тоже остаётся: приглядеть за сухим остатком Института технологических искусств Колонии Массачусетского залива и отчасти тоже позаботиться об Истории, проследить, чтобы она приобрела лестную для Даниеля форму.

Даниель плачет.

Его всхлипы заглушают почти всё вокруг, но он различает какую-то странную мелодию. Невольники затянули песню. В такт гребле? Нет, тогда грянуло бы эдакое бодрое «йо-хо-хо», а они поют что-то более сложное, со смещением сильных долей. Должно быть, это некий африканский лад, гексатоника, непривычная для европейского уха. И всё же в пении слышится что-то определённо ирландское. Удивляться нечему: в Вест-Индии, перевалочном пункте всей торговли живым товаром, ирландцев-рабов хоть отбавляй. Песня (музыковедческие рассуждения в сторону) исключительно грустная, и Даниель знает почему: сев в лодку и разрыдавшись, он напомнил неграм, как их пригнали на гвинейский берег и в цепях погрузили на корабль.

Через несколько минут бостонские пристани исчезают из вида, но вокруг по-прежнему суша: множество островков, скал и костных щупальцев

Бостонского залива. За ботом наблюдают с виселиц мертвецы. Пиратов казнят за нарушение адмиралтейского законодательства, юрисдикция которого распространяется лишь до верхней приливной отметки. Неумолимая логика закона требует, чтобы виселицы для пиратов воздвигали в отливной зоне и чтобы мёртвых пиратов трижды накрыло приливом, прежде чем их снимут. Разумеется, смерть — недостаточное наказание для морских разбойников, и обычно приговор требует вешать их в запертых клетках, чтобы тела нельзя было снять и по-христиански предать земле.

В Новой Англии, судя по всему, пиратов не меньше, чем честных моряков. Здесь, как и во многих других вопросах, Провидение благоволит к Массачусетсу: бостонская гавань усеяна заливаемыми в прилив островками, так что земли, пригодной под вешанье пиратов, вокруг вдоволь. Почти вся она пущена в дело. Днём виселиц не видно за стаями голодных птиц. Однако сейчас ночь, птицы в Бостоне и Чарльстоне дремлют в гнёздах, свитых из пиратских волос. Идёт прилив, верхушки рифов скрыты водой, виселицы торчат прямо из волн. В последний (как предполагает Даниель) путь его, как почётный караул, прово-

жают десятки иссохших, обклёванных пиратов, парящих над залитым луной морем.

Почти час уходит на то, чтобы нагнать «Минерву». Её корпус нависает над ботом. Спускают лоцманский трап. Подъём тяжел. Мешает не только всемирное тяготение: волны, проникшие из Северной Атлантики, раскачивают корабль. Как назло, подъём заставляет Даниеля вспомнить пуританские догматы, которые он изо всех сил старался забыть. Трап становится лестницей Иакова, лодка с чёрными потными рабами — Землёй, корабль — Небом, матросы на посеребренных луной вантах — ангелами, а капитан — самим Дрейком, понуждающим Даниеля взбираться быстрее.

Даниель покидает Америку, становясь частицей ее запаса воспоминаний — перепревшего навоза, из которого она выпустит свежие зелёные ростки. Старый Свет тянется к нему: два ласкара, насквозь пропахшие шафраном, асафетидой и кардамоном, хватают его холодные бледные руки в свои чёрные и горячие. Они втаскивают Даниеля на палубу, как рыбину. В тот же самый миг под кораблём прокатывается волна, и все трое падают на палубу, словно тройка обнявшихся пьянчуг. Ласкары тут же вскакивают и принимаются уби-

рать трап. Бот был наполнен скрипом, плеском вёсел и пением рабов; «Минерва» движется с бесшумностью хорошо удифферентованного корабля, что (надеется Даниель) означает её гармонию с силами природы. Атлантические валы вздымают и опускают палубу под Даниелем, без усилия перемещая его тело; это как лежать у матери на груди, когда она дышит. Поэтому Даниель некоторое время лежит, раскинув руки, и глядит на звезды: белые геометрические точки на грифельной доске, расчерченной тенями такелажа — вспомогательной сеткой цепных линий и евклидовых сечений, как на каком-нибудь геометрическом доказательстве в «Математических началах» Ньютона.

Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж 1663 г.

Дурачка можно научить обычаю читать и писать, однако никого нельзя научить гениальности.

«Мемуары Достонегоднейшего Джона Холла», 1708 г.

Однажды вечером Даниель ненадолго вышел, встретился с Роджером Комстоком в таверне и свидетельствовал перед ним и пытался обратить его ко Христу — впрочем, безуспешно. Даниель вернулся к себе и обнаружил на столе кота мордой в Исааковой миске. Сам Исаак сидел в нескольких дюймах от кота. Он на несколько дюймов вогнал штопальную иглу себе в глаз.

Даниель истошно завопил. Кот, непомерно разжиревший на Исааковых харчах (которые каждый день съедал практически единолично), четвероногим студнем шмякнулся со стола и затрусил прочь. Исаак не сморгнул, что, вероятно, было и к лучшему. В остальном вопль Даниеля ничуть не нарушил обыденную жизнь Тринити-

колледжа: те, кто ещё мог что-нибудь слышать, решили, что какая-то шлюшка разыгрывает недотрогу.

— Препарируя глаза животных в Грантеме, я часто дивился их идеальной сферичности, которая в теле, составленном на остальную часть из неправильной формы костей, сосудов, мышц и кишок, словно бы выделяет их из ряда всех прочих органов. Как будто Творец создал глаза по образу и подобию небесных сфер, дабы одни получали свет от других, — проговорил Исаак. — Естественно, меня заинтересовало, будет ли несферический глаз работать так же хорошо. Для сферичности глаза существует, помимо теологического, и практический резон — чтобы яблоко могло поворачиваться в глазнице. — Исаак говорил с натугой — видимо, боль была нестерпимой. Слезы капали на стол словно из водяных часов — Даниель первый и последний раз видел, как Исаак плачет. — Другой практический резон состоит в том, что глазное яблоко наполнено под давлением водянистым соком.

— Господи! Только не говори, что ты выдавливаешь из глаза жидкость!

— Смотри внимательнее, — рявкнул Исаак. — Наблюдай — не домысливай.

— Я не выдержу.

— Игла ничего не *пронзает* — глазное яблоко абсолютно цело. Подойди и глянь!

Даниель подошел, одной рукой зажимая себе рот, словно похититель и похищенный в одном лице, — он боялся, что его стошнит в раскрытую тетрадь, где Исаак свободной рукой делал какие-то пометки. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что Исаак вогнал иглу не в сам глаз, но между яблоком и глазницей. Вероятно, он просто оттянул нижнее веко и нащупал, куда можно её вставить.

— Игла тупая — глазу ничто не угрожает, — проворчал Исаак. — Не согласишься ли ты мне помочь?

Считалось, что Даниель — студент, ходит на лекции, штудирует Евклида и Аристотеля. Однако последний год он действовал в ином качестве: лишь его стараниями да милостью Божьей Исаак Ньютон ещё не отправился на тот свет. Даниель давно перестал задавать ему нудные бестактные вопросы вроде: «Ты хоть помнишь, когда последний раз ел?» или «Не думаешь ли ты, что сон, по часу-другому каждую ночь, был бы тебе на пользу?» Помогало одно: дождаться, когда Исаак рухнет лицом на стол, и тогда уж волочь

его в постель, после чего садиться рядышком за собственные занятия и, как только Исаак очнётся, но ещё не будет знать, какое сегодня число, и не успеет задуматься, заталкивать в него хлеб и молоко, чтобы не умер от истощения. Даниель делал это добровольно — жертвуя собственной учёбой и пуская псу под хвост деньги, которые платил за него Дрейк, — поскольку считал спасение Исаака своим христианским долгом. Исаак, в теории по-прежнему субсайзер, стал господином, Даниель — чутким слугой. Разумеется, Исаак не замечал его стараний, что делало их ещё более ярким образчиком христианской самоотверженности. Даниель уподобился тем фанатичным католикам, которые скрывают власяницу под шёлковыми одеждами.

— Вот диаграмма, она поможет тебе лучше понять замысел сегодняшнего опыта, — сказал Исаак, показывая поперечный разрез глаза, иглы и руки в тетради. Это — единственное художество, которое он изобразил на бумаге с памятного Троицына дня; после тех странных событий его перо выводило лишь уравнения.

— Можно спросить, зачем ты это делаешь?

— Теория цветов входит в программу, — сказал Исаак.

Даниель знал, что речь идет о списке философских вопросов, которые Исаак записал в тетради и которые пытался самостоятельно разрешить. За последний год Исаак с его программой и Даниель со своей богоданной обязанностью поддерживать в товарище жизнь не виделись ни с кем из преподавателей и не посетили ни одной лекции.

— Я читал последнее творение Бойля, «Опыты и рассуждения касательно цветов», и мне пришло в голову вот что: он делает свои наблюдения посредством глаз, следовательно, глаза — его инструмент, как телескоп, — но понимает ли он, как работает этот инструмент? Жалок был бы астроном, не разумеющий своих линз!

Даниель мог бы много чего на это ответить, однако сказал только: «Чем я могу быть тебе полезен?», и не просто из желания поддакнуть. Поначалу его возмутила самая мысль, что обычный студент, двадцати одного года от роду, без степени, ставит под сомнение способность великого Бойля делать наблюдения. Однако через мгновение ему впервые подумалось: что, если Ньютон прав, а все остальные заблуждаются? Поверить было трудно. С другой стороны, верить хотелось — ведь коли это и впрямь так, значит, пропуская лекции, он ровным счётом ничего не

теряет, а прислуживая Ньютону, получает лучшее натурфилософское образование на свете.

— Я попрошу тебя нарисовать на бумаге сетку и держать её на разных отмеренных расстояниях от моей роговицы, а я буду двигать иглу вверх-вниз, увеличивая и уменьшая искривление глазного яблока, — то есть одной рукой буду делать это, а другой — записывать.

Так прошла ночь. К рассвету Исаак Ньютон знал про человеческий глаз больше, чем кто-либо из смертных, а Даниель — больше, чем кто-либо, кроме Ньютона. Опыт мог поставить любой, но только один человек до него додумался. Ньютон вытащил иглу — его глаз давно налился кровью, заплыл и почти не открывался, — взял тетрадь и принялся сражаться с какой-то задачкой из аналитической геометрии Декарта, а Даниель, пошатываясь, спустился по лестнице и пошел в церковь. Солнце обратило её витражи в матрицу пылающих самоцветов.

Даниель понял то, чего не понимал прежде: его мозг, подобно гомункулу, съёжился в черепе и смотрит на мир через хорошие, но несовершенные телескопы, слушает через слуховые рожки, собирает наблюдения, искажённые по дороге. Так линза вносит хроматические абер-

рации в проходящий через неё свет; человек, смотрящий на мир в телескоп, считал бы, что аберрации реальны, что звёзды действительно такие. Сколько же ещё ложных допущений сделали до нынешней ночи натурфилософы, опираясь на свидетельства собственных чувств? Сидя в разноцветных отблесках витража, слушая хор и орган, Даниель, чуть пьяный от усталости после бессонной ночи, ощутил слабый отзвук того, что постоянно чувствовал Исаак Ньютон, — перманентное прозрение, море пламенеющего света, звон космической гармонии в ушах.

На «Минерве», Массачусетский залив
Октябрь, 1713 г.

Даниель, лёжа на палубе, замечает, что кто-то на него смотрит: приземистый рыжеволосый рыжебородый крепыш в круглых очёчках и с зажжённой сигарой во рту. Это ван Крюйк, капитан «Минервы», подошёл проверить, не придётся ли завтра хоронить пассажира в море. Даниель наконец садится и представляется. Ван Крюйк отвечает односложно — вероятно, делает вид, будто знает английский хуже, чем на самом деле, чтобы пассажиру не вздумалось одолевать его долгими разговорами. Он ведёт Даниеля по главной палубе «Минервы» (она зовётся верхней, хотя на носу и на корме есть другие палубы, выше), по трапу на шканцы и в отведённую ему каюту. Даже ван Крюйк, которого со спины легко принять за плотного десятилетнего мальчишку, вынужден пригнуться, чтобы не удариться головой о слегка изогнутые балки, поддерживающие палубу юта наверху. Он поднимает руку и цепляется за балку, но не пальцами, а медным крюком.

В каюте, хоть и крохотной, есть всё, что полагается: сундучок, фонарь и койка — деревянный ящик с соломенным тюфяком. Солома свежая, и её аромат до самой Англии напоминает Даниелю о зелёных лугах Массачусетса.

Даниель снимает верхнее платье, сворачивается клубочком и засыпает.

Когда он просыпается, солнце бьёт ему прямо в глаза. У каюты есть маленькое окошко в носовой переборке (поскольку оно надёжно закрыто нависающей палубой полуюта, его застеклили). Они плывут на восток, и встающее солнце сияет прямо в окошко, пробиваясь по пути через огромный штурвал. Он расположен всё под той же нависающей палубой юта, чтобы рулевой мог спрятаться от непогоды, но при этом видел почти всю «Минерву». Сейчас штурвал закреплен тросами, пропущенными сквозь рукояти, чтобы руль оставался в одном положении. У штурвала никого нет, и он делит красный диск встающего солнца на ровные сектора.

Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж 1664 г.

В большом дворе Тринити-колледжа стояли солнечные часы, которые Исаак Ньютон не любил: плоский диск, разделённый подписанными радиальными линиями, с наклонным гномоном посередине. Наивно скопированные с римских образов, они обладали некоторым классическим изяществом и безбожно врали. Ньютон начал делать на южной стене собственные часы, используя в качестве гномона стержень с шариком на конце. В солнечную погоду тень шарика описывала на стене кривую, смещавшуюся день от дня по мере того, как наклон земной оси изменялся в течение года. Пучок кривых представлял значительный интерес с астрономической точки зрения, но времени не показывал. Чтобы определить время, Исаак (или его верный помощник Даниель Уотерхауз) должен был отмечать, куда падает тень гномона, когда колокол Тринити (всякий раз не согласуясь со звонницей Королевского колледжа) отбивает часы. В теории,

если повторять всё это в продолжение трёхсот шестидесяти пяти дней, на каждой кривой должны были появиться отметки, соответствующие 8:00, 9:00 и так далее. Соединив их — проведя кривые через все восьмичасовые метки, через все девятичасовые и так далее, — Исаак получил бы второе семейство кривых, приблизительно параллельных одна другой и грубо перпендикулярных кривым дня.

Однажды — когда примерно двести дней уже миновало и более тысячи меток было нанесено — Даниель спросил Исаака, чем ему так любы солнечные часы. Исаак вскочил, выбежал из комнаты и устремился к реке. Даниель выждал часа два и отправился его искать. В два часа ночи Исаак сыскался на Иисусовом лугу, где созерцал собственную лунную тень.

— Я задал вопрос без всякой задней мысли; мне искренне хотелось понять, что такое в солнечных часах я по своему тупоумию не разглядел.

Исаак вроде успокоился, но не стал просить прощения за то, что дурно подумал о Даниеле. Он ответил примерно так:

— Небесное сияние наполняет эфир, его лучи прямы, параллельны и незримы, пока что-нибудь не встанет на их пути. Все тайны Божьего

мироздания записаны в этих лучах, но на языке, которого мы не понимаем и даже не слышим. Их направление, спектр цветов, заключённых в цвете, — всё это значки криптограммы. Гномон… Погляди на наши тени! Мы — гномоны. Мы преграждаем свету путь, он нас освещает и согревает. Закрывая свет, мы разрушаем часть послания, так его и не поняв. *Мы* отбрасываем тень, дыру в свете, луч тьмы, повторяющий наши очертания. Иные скажут, что тень говорит лишь о форме нашего тела, и ошибутся. Отмечая, как укорачиваются и удлиняются наши тени, мы можем разгадать часть знания, скрытого в криптограмме. Надо лишь делать необходимые измерения на фиксированной поверхности — плоскости, — на которую ложится тень. Декарт дал нам эту плоскость.

И дальше Даниель понял, что цель изнурительного проставления меток — не просто нарисовать кривые, но понять, *почему* каждая из них именно такова. Другими словами, Исаак хотел, чтобы можно было подойти к чистой стене в пасмурный день, вбить в неё гномон и нарисовать все кривые, просто зная, где *должна* пройти тень. Это то же, что знать, где будет Солнце или, другими словами, в какой точке орбиты и в какой фазе

суточного вращения будет находиться Земля.

В следующие месяцы Даниель понял, что цель Исаака шире: он хочет проделывать то же самое с одинаковой лёгкостью, даже если чистая стена расположена, скажем, на луне, которую Христиан Гюйгенс недавно обнаружил у Сатурна.

Вопрос, достижима ли цель, и если да, то как, влёк за собой множество других из следующих областей: вышвырнут ли Исаака (и Даниеля, кстати) из коллегии Святой Троицы? Движется ли Земля и все созданное человеком к финалу неумолимого разрушительного процесса, который начался изгнанием из Рая и вскоре завершится концом света? Или, может быть, всё меняется к лучшему? Есть ли у человека душа? Обладает ли он свободной волей?

Ни «Минерве», Массачусетский залив
Октябрь, 1713 г.

Отсюда видно, что, пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех. Ибо война есть не только сражение или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения.

***Гоббс, «Левиафан»*[9]**

Выйдя на верхнюю палубу и убедившись, что «Минерва» движется строго на восток по спокойному морю, Даниель к своему ужасу узнаёт, что все остальные в этом сомневаются. Горизонт — идеальная линия, солнце — красный круг, описывающий в небе правильную траекторию и претерпевающий положенную смену цветов — красный-жёлтый-белый. Это Природа.

---

[9] Примечания: 9
Перевод А. Гутермана.

«Минерва» — мир человеческий — собрание кривых. Здесь нет прямых линий. Палубы слегка выгнуты — для прочности и для стока воды, мачты гнутся под напором ветра, раздувающего паруса, но их держит стоячий такелаж — сетка кривых, как на солнечном циферблате Ньютона, разумеется, ветер в парусах и вода за бортом подчиняются законам, которые Бернулли установил при помощи дифференциального исчисления (в версии Лейбница). «Минерва» — собрание лейбницевых кривых, движущееся в соответствии с законами Бернулли по сфере, чьи размеры, форма, небесная траектория и судьба определены Исааком Ньютоном.

Невозможно плыть на корабле и не думать о кораблекрушении. Даниелю оно представляется в виде оперы, длящейся несколько часов и состоящей из последовательности действий.

Действие I: Герой просыпается на корабле, скользящем под ясным небом. Солнце движется по плавной и хорошо понятной небесной кривой, море — плоскость, матросы бренчат на гитарах, вырезывают безделушки из моржовых клыков и тому подобное, в то время как учёные пассажиры гуляют по палубе и размышляют о высоких философских материях.

Действие II: Барометр в капитанской каюте предсказывает смену погоды. Через час на горизонте замечают скопление облаков, изучают его и оценивают. Матросы бодро готовятся к буре.

Действие III: Налетает шторм. Изменения отмечаются по барометру, термометру, клинометру, компасу и другим инструментам; небесных тел, впрочем, уже не видно. Небо — бурлящий хаос, в котором беспорядочно вспыхивают молнии, море бушует, корабль кренится, груз надежно закреплен в трюме, но пассажиров так укачало, что они не могут ни о чём думать. Матросы трудятся без остановки — некоторые из них приносят в жертву кур, надеясь умилостивить своих богов. На мачтах горят огни святого Эльма, что приписывается сверхъестественным причинам.

Действие IV: Мачты сломаны, руль оторвало. На корабле паника. Есть погибшие, но неизвестно сколько. Пушки и бочки катаются по палубе непредсказуемым образом, поэтому нельзя угадать, кто останется жив, а кто нет. Компас, барометр и проч. разбиты, записи их показаний смыло за борт, карты размокли, моряки беспомощны… те, кто ещё сохранил рассудок, могут только молиться.

Действие V: Корабля нет. Уцелевшие цепля-

ются за бочки и доски, сбрасывая с них менее удачливых товарищей и безучастно наблюдая, как те тонут. Все в животном ужасе. Огромные валы бросают людей без всякой системы, плотоядные рыбы насыщаются человеческой плотью. Надежды нет — даже умозрительной.

Возможно ещё действие VI, в котором все утонули, но на оперной сцене оно бы смотрелось плохо, и Даниель его опускает.

Люди их поколения родились в пятом действии[10], выросли в четвёртом. Студентами они оказались в маленьком хрупком пузыре третьего действия. Вообще же человечество на протяжении почти всей своей истории пребывало в действии V и недавно совершило несказанный подвиг: собрало разбросанные по морю доски в корабль, взобралось на него, создало инструменты, чтобы измерять мир, и затем отыскало некую закономерность в полученных результатах. В Кембридже Исаак Ньютон был окружён личным нимбом второго действия и продвигался к первому.

Однако люди то ли смотрели в подзорную трубу с другого конца, то ли ещё что — во всяком случае,

---

[10] Примечания: 10

Для Англии это была Гражданская война, приведшая к власти Кромвеля, для Континента — Тридцатилетняя война. (Прим. автора.)

убедили себя, будто все наоборот; мир некогда был прекрасным и соразмерным, человечество более или менее плавно перешло из Эдема в Афины Платона и Аристотеля, помедлив в Святой Земле, чтобы зашифровать тайны мироздания в Библии, а с тех пор медленно и неуклонно катится в тартарары. В Кембридже заправляли чудаки, дряхлые и потому вроде бы безвредные, и пуритане, которых напихал туда Кромвель взамен тех, кого *счёл* вредными. За исключением единичных личностей, таких, как Исаак Барроу, никто из преподавателей не заинтересовался бы ньютоновыми солнечными часами, поскольку они *не походили* на старые образцы; эти люди считали, что лучше неправильно определять время классическим способом, чем правильно — новомодным. Кривые, прочерченные Ньютоном на стене, обличали старое мышление. То был манифест, подобный тезисам, которые Лютер прибил к церковной двери.

Объясняя форму этих кривых, кембриджские профессора интуитивно воспользовались бы евклидовой геометрией. Земля — сфера. Её орбита — эллипс. Эллипс можно получить, если построить огромный воображаемый конус и рассечь его воображаемой плоскостью; пересечение

конуса и плоскости даёт эллипс. Начав с простейшего (крохотной сферы, вращающейся там, где исполинский конус рассечён исполинской плоскостью), геометры добавляли бы всё новые сферы, конусы, плоскости, прямые и проч. — столько, что, если бы их можно было увидеть, возведя очи горе, небо казалось бы чёрным — пока не объяснили бы кривые, нарисованные Ньютоном на стене. При этом каждый шаг следовало бы поверять правилами, которые Евклид доказал две тысячи лет назад в Александрии, где всякий был гением.

Исаак недолго изучал Евклида и мало в него вникал. Когда он хотел изучить кривую, то мысленно записывал её не как пересечение конусов и плоскостей, а как последовательность чисел и букв: алгебраическое выражение. Это работает, только если есть язык или по крайней мере алфавит, способный *выразит*ь форму, не описывая её. Задачу сию мсье Декарт недавно разрешил, придумав (для начала) рассмотреть кривые как собрание отдельных точек, а затем изобретя способ выразить точку через её координаты — два числа или две буквы, подставленные вместо чисел, либо (ещё лучше) алгебраические выражения, по которым числа в принципе можно рассчитать.

Иными словами, он перевёл всю геометрию на новый язык с новым набором правил: алгебру. Составлять уравнения значит упражняться в переводе. Следуя правилам, можно получать новые истинные высказывания, не заботясь о том, чему соответствуют символы в физической вселенной. Эта-то по внешности оккультная власть и напугала в своё время некоторых пуритан; её до определенной степени страшился сам Ньютон.

К 1664 году, то есть к тому времени, когда Исаак и Даниель должны были получить степень либо покинуть Кембридж, Исаак, взяв всё самое новое из заграничной аналитической геометрии Декарта и раздвинув её до невероятных пределов, достиг (неведомо ни для кого, кроме Даниеля) на ниве натурфилософии высот, которых его кембриджские учителя не могли бы не то что достичь — даже *понять*. Они же тем временем готовились подвергнуть Исаака и Даниеля древнему испытанию — экзамену с целью выяснить, насколько хорошо те усвоили Евклида. Если бы молодые люди провалили экзамен, то отправились бы по домам с позорным клеймом неудачников и тупиц.

Чем ближе подходил день экзамена, тем чаще Даниель напоминал о нём товарищу. Наконец

они отправились к Исааку Барроу, первому лукасовскому профессору математики, поскольку тот считался умнее остальных. Ещё потому, что недавно Барроу пересекал Средиземное море на корабле и, когда на них напали пираты, с саблей в руках помог отбить нападение. Вряд ли такого человека должно было сильно волновать, в каком порядке студенты усваивают материал. И впрямь, когда Ньютон заявился-таки к своему тёзке с несколькими шиллингами, чтобы приобрести его латинский перевод Евклида, Барроу не стал говорить, что это надо было сделать по крайней мере на год раньше. Книжица была тоненькая, с крохотными полями, но Исаак всё равно на них писал, почти микроскопическим почерком. Как Барроу перевёл греческий язык Евклида на универсальную латынь, так Исаак перевёл идеи Евклида (выраженные в кривых и поверхностях) на язык алгебры.

Полстолетия спустя на палубе «Минервы» Даниель мало что может вспомнить про их классическое образование. Они посредственно сдали экзамен (Даниель лучше, чем Исаак) и получили степень. Это значило, что теперь они бакалавры, следовательно, Ньютону не придётся возвращаться в Вулсторп и возделывать землю. Они

могли дальше жить в своей комнатенке, и Даниель мог по-прежнему узнавать из случайных реплик товарища больше, чем дал бы ему весь университетский механизм.

Обустроившись на «Минерве», Даниель осознаёт печальную вещь: в Лондоне, куда он, Бог даст, доберётся, от него потребуют письменно удостоверить все, что он знает об изобретении анализа бесконечно малых. Когда корабль качает не слишком сильно, он сидит за обеденным столом в кают-компании, на палубу ниже своей каюты, и пытается упорядочить мысли.

> Через несколько недель после того, как нас произвели в бакалавры, вероятно, весной 1665 года, мы с Исааком Ньютоном решили посетить Стаурбриджскую ярмарку.

Перечитав абзац про себя, он вычеркивает «вероятно, весной» и вписывает «определённо не позже весны».

Здесь Даниель многое опускает. Это Исаак объявил, что пойдёт на ярмарку. Даниель решил на всякий случай составить ему компанию. Исаак вырос в крохотном городке, в Лондоне никогда

не бывал. Ему даже Кембридж казался большим городом — куда такому соваться на Стаурбриджскую ярмарку, одну из самых крупных в Европе. Даниель не раз бывал там с Дрейком или с единокровным братом Релеем; он по крайней мере знал, чего там делать нельзя.

> Мы двинулись вниз по течению реки Кем и, миновав мост, от которого университет и город получили своё название, оказались на северном краю Иисусова луга, где Кем описывает изящную кривую в форме вытянутой буквы S.

Даниель едва не написал «в форме интеграла», но вовремя одёргивает себя. Знак интеграла (как, впрочем, и самые слова «интегральное и дифференциальное исчисление») придуман Лейбницем.

> Я отпустил какую-то студенческую шуточку по поводу формы этой кривой, поскольку в прошедший год кривые много занимали наш ум, и Ньютон заговорил уверенно и с жаром. Идеи, им высказанные, были явно не мимолётным раздумьем, но разработанной теорией,

которую он выстраивал уже некоторое время.

«Да, предположим, мы были бы на одной из этих лодок, — сказал Ньютон, указывая на узкие плоскодонки, в которых праздные студенты катались по реке Кем. — И предположим, что мост — начало системы декартовых координат, покрывающей Иисусов луг и другие земли по берегам реки».

Нет, нет, нет. Даниель окунает перо в чернила и вымарывает абзац. Это анахронизм. Хуже, это лейбницизм. Натурфилософы могут говорить так в 1713 году, но пятьдесят лет назад они выражались иначе. Надо перевести мысль на тот язык, которым изъяснялся Декарт.

«И предположим, — продолжал Ньютон, — что у нас есть верёвка с узлами, завязанными через равные промежутки, как на морском лаге, и мы бросили якорь возле моста, ибо мост — неподвижная точка в абсолютном пространстве. Если туго натянуть верёвку, она уподобится числовым осям, которые мсье Декарт использует в своей геометрии. Протягивая

её от моста до лодки, мы могли бы определить, насколько лодка сместилась по течению и в каком направлении».

Разумеется, Исаак просто не мог бы произнести всех этих слов. Однако Даниель пишет для правителей и парламентариев, не для натурфилософов, поэтому вынужден вкладывать в уста Исаака пространные объяснения.

«И предположим наконец, что Кем течет всегда с постоянной скоростью, и с той же скоростью движется наша лодка. Это то, что я зову флюксией — плавное движение вдоль кривой на протяжении времени. Думаю, ты видишь; если бы мы огибали первую излучину перед Иисусовым колледжем, где река отклоняется к югу, наша флюксия в направлении север-юг медленно изменялась бы. Когда мы проплывали бы под мостом, нос лодки указывал бы на северо-восток, так что мы имели бы большую флюксию в северном направлении. Через минуту мы бы начали двигаться на восток, и наша флюксия в направлении север-юг стала бы равной нулю. Ещё через минуту нас повлекло бы

к юго-востоку, так что мы приобрели бы значительную южную флюксию — но и она бы начала стремиться к нулю там, где течение поворачивает на север к Стаурбриджской ярмарке».

Здесь можно остановиться. Для тех, кто умеет читать между строк, это убедительно доказывает, что Ньютон разработал дифференциальное исчисление — или по его терминологии, метод флюксий, в 1665 году, скорее даже в 1664-м. Незачем бить их по голове лишними доказательствами.

Да, всё это нужно для того, чтобы кое-кого ударить по голове.

Берег реки Кем
1665 г.

Около пяти тысяч лет тому назад шли в Небесный Град пилигримы, люди почтенные, всех возрастов и сословий. Когда-то шли этим путём и Вельзевул, Аполлион и Легион со своими товарищами. Когда они поняли, что дорога, ведущая в Небесный Град, проходит через город Суету, они сговорились устроить там ярмарку, где бы круглый год шла торговля всевозможными предметами суеты. Купить там можно все: дома, имения, фермы, ремесла, должности, почести, титулы, чины, звания, страны, царства, страсти, удовольствия и всякого рода плотские наслаждения. Не брезгуют и живым товаром: проститутки, развратные мужчины, богатые жены и мужья, дети, слуги обоего пола, жизнь, кровь, тела, души. Выбор серебра, золота, жемчуга, дорогих каменьев огромен! На этой ярмарке толпами бродят во всякое время фигляры, шулеры, картежники и бродячие артисты, безумцы, плуты и мошенники всякого рода.

Джон Беньян, «Путешествие пилигри-

ма»[11]

До ярмарки было меньше часа ходьбы по пологим зеленым берегам, заросшим плакучими ивами, под сенью которых без сил распростёрлись студиозусы. Коровы местами объели траву и оставили за собой коровьи лепёшки. Поначалу река была мелкая, от силы по колено; водоросли, устилающие её дно, плавно изгибались, следуя ленивому току струй.

— Вот кривая, чья флюксия в направлении течения равна нулю у корня — там, где она вертикально торчит из ила, — но увеличивается с подъёмом.

Тут Даниель немного растерялся.

— Флюксия у тебя вроде бы означает течение во времени. Вполне понятно, когда ты относишь это слово к положению лодки на реке, которая как-никак струится во времени. Но разве можно применить её к форме водоросли, которая никуда не течёт, а просто изогнулась на своём месте?

— Даниель, прелесть этого подхода состоит в том, что, невзирая на конкретную физическую ситуацию, кривая всегда кривая, и то, что применимо к изгибу реки, можно применить и к изгибу

---

[11] Примечания: 11
Перевод издательства «Свет с востока».

водоросли. Теперь можно забыть старую чушь. — Исаак имел в виду аристотелевский подход, запрещающий смешивать вещи очевидно разной природы. Отныне, надо полагать, важна лишь форма, которую предстоит анализировать. — Перевод на язык математического анализа сродни тому, что делает алхимик, извлекая из сырой руды дух или пневму. Внешние громоздкие формы вещей, которые лишь отвлекают нас и вводят в заблуждение, отбрасываются, и очам предстаёт душа. А совершив это, мы, возможно, узнаем, что некоторые вещи, внешне различные, одинаковы по своей природе.

Скоро колледж остался позади. Кем становился шире и глубже, на нём стали попадаться грузовые суденышки. Все они были длинные, узкие, плоскодонные, предназначенные для реки каналов, однако водоизмещением куда больше прогулочных лодок. Ярмарку уже можно было различить на слух: гул тысяч спорящих покупателей и продавцов, лай собак, звуки гобоев и волынок реяли над головой, словно бьющие на ветру разноцветные ленты. На суденышках торговцы-индепенденты в чёрных шляпах и белых шейных платках, речные цыгане, краснолицые ирландцы и шотландцы, а также простые ан-

гличане со сложной личной судьбой заключали какие-то сделки, выплескивали за борт вёдра неведомой жидкости, переругивались с невидимыми женщинами в холщовых или дощатых укрытиях на палубе.

Приятели обогнули излучину, и перед ними открылась ярмарка — крупнее Кембриджа, куда более шумная и людная. В основном она состояла из палаток и палаточников — людей явно не их круга. На глазах у Даниеля Исаак вырос дюйма на два, вспомнив, что пуританин должен подавать пример в том числе и своей осанкой. Даниель знал, что в каких-то дальних закутках ярмарки серьёзные негоцианты торгуют скотом, лесом, железом, устрицами в бочках — всем тем, что можно доставить судами по реке или фургонами по суше. Оптовая коммерция *хотела* оставаться незримой и добивалась своего. То, что Исаак видел, было розничным рынком, огромным и крикливым не по значимости, во всяком случае, если под значимостью понимать количество денег, переходящих из рук в руки. Главные аллеи (то есть полоски грязи, на которые уложили доски и брёвна для прохода) были уставлены палатками, в которых разместились канатоходцы, жонглеры, бродячие артисты, кукольники,

борцы, танцовщицы и, разумеется, отборные шлюхи, которые делали ярмарку столь привлекательной для студентов. Впрочем, в боковых проулках можно было отыскать прилавки, столы и фургоны с откидными бортами; здесь торговцы разложили товары со всей Европы, привезённые по Узу и Кему.

Исаак и Даниель бродили больше часа, не обращая внимания на зазывные крики торговцев, пока Исаак вдруг не шагнул к складному столику, за которым расположился высокий худощавый еврей в чёрном камзоле. Даниель смотрел на сына Моисеева с интересом: лишь десятилетие назад Кромвель разрешил этим людям вернуться в Англию после многовекового изгнания, и они по-прежнему были в диковинку — как жирафы. Однако Исаак видел лишь созвездие искрящихся камешков на квадрате чёрного бархата. Ветхозаконник, приметив его интерес, отогнул ткань и показал остальной товар: выпуклые и вогнутые линзы, плоские диски хорошего стекла для самостоятельной шлифовки, призмы и склянки шлифовальных порошков различной зернистости.

Исаак дал понять, что хотел бы приобрести две призмы. Шлифовальщик вздохнул, выпрямился

и заморгал. Даниель занял позу телохранителя — сзади и чуть сбоку от Исаака.

— У вас есть пиастры, — сказал коген с интонацией, средней между вопросом и утверждением.

— Знаю, ваш народ некогда обитал в стране, где это государственная монета, сударь, — начал Ньютон, — но…

— Ничего вы не знаете. Мои предки не из Испании — они из Польши. У вас есть французские золотые — луидоры?

— Луидор — прекрасная монета, достойная славы Короля-Солнца — вставил Даниель, — и, вероятно, имеет широкое хождение там, откуда вы прибыли. Вы ведь, полагаю, из Амстердама?

— Из Лондона. Так чем вы хотите расплатиться со мной? Иоахимсталерами?

— Раз вы, сударь, как и мы, англичанин, давайте воспользуемся английскими средствами.

— Вы хотите предложить мне сыр? Олово? Сукно?

— Сколько *шиллингов* стоят эти две призмы?

Обрезанец принял страдальческое выражение и устремил взгляд куда-то поверх их голов.

— Дайте взглянуть, какого цвета у вас деньги, — произнёс он тоном мягкого сожаления, как будто Исаак *мог* сегодня купить призмы, но в итоге

выслушает лишь нудную лекцию о никчёмности английских денег.

Исаак сунул руку в карман и пошевелил пальцами, чтобы по звону стало ясно: денег там много. Потом вытащил пригоршню и помахал ею перед шлифовальщиком. Даниель поневоле восхитился. Впрочем, Исаак получал неплохой доход, ссужая однокашников под проценты — может быть, у него дар.

— Вы, вероятно, ошиблись, — сказал иудей. — Что извинительно — все мы ошибаемся. Вы залезли не в тот карман и вытащили чёрные деньги[12], которые бросаете нищим.

— Хм, и впрямь, — ответил Исаак. — Виноват. Где деньги, чтобы расплачиваться с торговцами? — Он похлопал по нескольким карманам. — Кстати, если я не буду предлагать вам чёрные деньги — сколько шиллингов?

— Под словом «шиллинг» вы, я полагаю, разумеете новые?

— Якова I?

— Нет-нет, Яков умер полстолетия назад, так что прилагательное «новый» едва ли применимо к фунтам, отчеканенным в его царствование.

---

[12] Примечания: 12

То есть фальшивые, изготовленные из неблагородных металлов, таких, как медь и свинец. (Прим. автора.)

— Вы сказали «фунты»? — переспросил Даниель. — Фунт — довольно крупная сумма; не понимаю, при чём они сейчас, когда речь может идти *самое большее* о шиллингах.

— Давайте употреблять слово «монеты», пока я не пойму, говорите вы о новых или о старых.

— «Новые» означает монеты, отчеканенные, скажем, при нашей жизни?

— Я имею в виду деньги Реставрации, — ответил израелит. — Или, может быть, преподаватели забыли вас уведомить, что Кромвель умер, а монеты Междуцарствия уже три года как изъяты из обращения?

— Кажется, я слышал, что король начал чеканить новые монеты, — промолвил Исаак, оборачиваясь к Даниелю за подтверждением.

— Мой единокровный брат в Лондоне знает человека, который один раз *видел* золотую монету с надписью «CAROLUS II DEI GRATIA» на бархатной подушечке под стеклом, — сообщил Даниель. — Их прозвали «гинеями», поскольку они чеканятся из золота, которое компания герцога Йоркского добывает в Африке.

— А правда ли, Даниель, что эти монеты абсолютно круглые?

— Да, Исаак. Не то что добрые старые монеты

ручной чеканки, которых у нас столько в кошельках и карманах.

— Более того, — произнёс ашкенази, — король привёз с собой французского учёного, мсье Блондо, которого Людовик XIV ненадолго отпустил в Англию. Мсье Блондо построил станок, который наносит на ребро монеты изящные надписи и насечки.

— Типично французское излишество, — заметил Исаак.

— И впрямь пребывание в Париже не пошло королю на пользу, — добавил Даниель.

— Напротив, — возразил потомок Авраама. — Если кто-нибудь спилит или обрежет немного металла от края круглой монеты с узором на ребре, это тут же станет заметно.

— Вот почему все переплавляют новые монеты, как только они выходят из-под пресса, и отправляют металл на Восток?.. — начал Даниель.

— Лишая таких, как я и мой друг, возможности их приобрести, — завершил Исаак.

— Хорошая мысль! Если вы покажете мне монеты ярко-серебристого цвета — не те чёрные, — я взвешу их и приму как металл.

— *Как металл!* Сударь!

— Да.

— Я слышал, что таков обычай в Китае, — важно проговорил Исаак. — Однако здесь, в Англии, шиллинг всегда шиллинг.

— *Вне зависимости от того, сколько он весит?*

— Да. В принципе да.

— Значит, когда шиллинг отчеканят на Монетном дворе, он обретает магические свойства шиллинга, и даже подпиленный, обрезанный и стёртый до полной утраты формы остается полноценным шиллингом?

— Вы преувеличиваете, — сказал Даниель. — Вот, например, у меня есть прекрасный шиллинг королевы Елизаветы, который я ношу, учтите, исключительно как память о правлении Глорианы, поскольку он слишком хорош, чтобы его тратить. Видите, он сверкает, как в тот день, когда вышел с Монетного двора.

— Особенно по краям, где его недавно обрезали.

— Естественная, приятная неровность ручной чеканки, ничего более.

Исаак сказал:

— Шиллинг моего друга, хотя, безусловно, великолепен и стоит на рынке двух-трех, не исключение. Вот шиллинг Эдуарда VI. Он попал ко мне следующим образом: герцогский сын, кото-

рый до того одолжил у меня шиллинг, будучи в сильном подпитии, упал и заснул на полу. Кошель, где он держал свои самые ценные монеты, раскрылся, и эта выкатилась к моим ногам, что я расценил как уплату долга. Обратите внимание на её исключительную сохранность.

— Как монета могла выкатиться, если она почти треугольная?

— Обман зрения.

— Беда с монетами Эдуарда VI в том, что они вполне могли быть отчеканены во время Великой Порчи, когда цены выросли вдвое, прежде чем сэр Томас Грешем сумел навести порядок.

— Инфляция была вызвана не порчей денег, как полагают некоторые, — возразил Даниель, — а тем, что страну наводнили богатства, изъятые из монастырей, и дешёвое серебро из копей Новой Испании.

— Если бы вы позволили мне приблизиться к этим монетам хотя бы на десять шагов, я бы лучше сумел оценить их нумизматическую ценность, — произнёс шлифовальщик. — Я мог бы даже воспользоваться одной из своих луп…

— Боюсь, это покажется мне обидным, — ответил Исаак.

— Вот монета, которую вы можете разгляды-

вать как угодно близко, — сказал Даниель, — и всё равно не найдёте следов преступной порчи. Мне дал её слепой трактирщик, страдающий обморожением пальцев, — он сам не понимал, с чем расстаётся.

— Не пришло ли ему в голову её надкусить? Вот так? — произнёс шлифовальщик, беря шиллинг и надкусывая его коренными зубами.

— Что вы таким образом узнаете, сударь?

— Что чеканивший это фальшивомонетчик использовал относительно хороший металл — не более пятидесяти процентов свинца.

— Мы расцениваем ваши слова как шутку, — сказал Даниель, — но вы не станете шутить по поводу *этого* шиллинга, который мой единокровный брат подобрал при Нейзби рядом с останками роялиста, разорванного на куски при взрыве пушки, — а упомянутый роялист в свое время возглавлял охрану лондонского Тауэра, где чеканят новые деньги.

Еврей повторил ритуал надкусывания, потом царапнул монету — не посеребрённая ли это медяшка.

— Ничего не стоит. Однако я должен шиллинг одному жидоненавистнику в Лондоне и получу на шиллинг удовольствия, всучив ему вашу

фальшивку.

— Хорошо, тогда… — Исаак потянулся к призмам.

— У таких увлечённых нумизматов наверняка водятся пенсы?

— Мой отец раздаёт новенькие пенни в качестве подарков на Рождество, — начал Даниель. — Три года назад… — Он не дорассказал историю, заметив, что шлифовальщик смотрит не на них, а на какое-то движение дальше в толпе.

Даниель обернулся и увидел, что вполне прилично одетого джентльмена шатает из стороны в сторону, хотя слуга и друг поддерживают его под руки. Джентльмен проявлял желание улечься в самом неподходящем месте, а именно — стоя по щиколотку в грязи. Слуга подхватил его под мышки, поднял и попытался нести, но господин взвизгнул, как кошка, попавшая под колесо, забился в судорогах и рухнул навзничь, расплескав грязь на несколько ярдов вокруг.

— Забирайте призмы, — сказал торговец, практически запихивая их Исааку в карман, и принялся складывать столик. Если он чувствовал то же, что Даниель, то в бегство его обратил не вид заболевшего и даже не его падение, а нечеловеческий вопль.

Исаак шёл к больному осторожной, но твердой походной канатоходца.

— Может быть, вернёмся в Кембридж? — предложил Даниель.

— Я немного знаком с аптекарским искусством, — ответил Исаак. — Надеюсь, мне удастся ему помочь.

Вокруг болящего собралась толпа, однако круг был очень широк — внутри него находились только Исаак и Даниель. Несчастный, судя по всему, пытался сбросить штаны, но руки у него не работали, и он извивался, силясь выползти из одежды. Друг и слуга тщетно тянули за манжеты, панталоны словно приросли к телу. Наконец друг вытащил кинжал, рассёк сперва манжеты, а затем и самые штанины сверху донизу — а может, они лопнули под внутренним напором. Так или иначе, штаны свалились. Друг и слуга попятились. Теперь Исаак и Даниель могли бы увидеть срамные части, если бы их не заслоняли чёрные шары тугой плоти, рассыпанные, как пушечные ядра, по внутренней стороне бедра.

Человек уже не бился и не кричал, потому что умер. Даниель взял Исаака за руку и настойчиво потянул назад, но Исаак упрямо приближался к объекту. Даниель оглянулся и увидел, что во-

круг на выстрел никого нет — лошади и палатки оставлены, товары разбросаны по земле, грузчики, освободившись от ноши, уже пробежали полдороги до Или.

— Я *вижу*, как бубоны распространяются, хотя тело уже умерло, — проговорил Исаак. — Порождающий дух живёт — превращая мёртвую плоть в нечто иное, как личинки мух зарождаются в мясе и серебро образуется в недрах гор. Почему порой он приносит жизнь, а порой — смерть?

То, что они остались живы, означает, что Даниелю всё же удалось оттащить друга подальше и развернуть к Кембриджу. Однако мысли Исаака по-прежнему были заняты сатанинскими чудесами, творящимися в паху мертвеца.

— Я восхищаюсь анализом мсье Декарта, но чего-то недостаёт в его допущении, будто мир — частицы вещества, сталкивающиеся подобно монетам в мешке. Как объяснить этим способность материи организовываться в глаза, листья и саламандр? Не может быть, чтобы она лишь собиралась удачным образом в каком-то непрерывном чудесном Созидании. Ведь тот же процесс, которым наше тело превращает пищу и питьё в плоть и кровь, может за несколько часов превратить тело в скопление бубонов. Я убеждён:

процесс этот лишь *кажется* бессмысленным. То, что один заболевает и умирает, а другой живёт и здравствует, суть знаки в шифрованном послании, которое философы силятся разгадать.

— Если только послание не изложено давным-давно в Библии, где каждый может его прочесть, — сказал Даниель.

Пятьдесят лет спустя он ругательски ругает себя за эти слова, но тогда они сами сорвались с языка.

— О чём ты?

— 1665 год наполовину прошёл — ты знаешь, какой будет следующий. Я должен вернуться в Лондон, Исаак. В Англии чума. То, что мы видели сегодня, — предвестие конца света.

На «Минерве» у побережья Новой Англии
Ноябрь, 1713 г.

Даниеля будит петух на баке, уверившийся наконец, что свет на восточном краю окоема не просто ему померещился. Увы, восточный край окоёма сейчас по левому борту. Вчера был по правому. Последние две недели «Минерва» лавировала у побережья Новой Англии, пытаясь поймать ветер, который позволит выйти на «матёрую воду», как говорят моряки. Сейчас они, вероятно, не более чем в пятидесяти милях от Бостона.

Даниель спускается на батарейную палубу, в тонкий пласт едко пахнущего воздуха. Когда глаза привыкают к полумраку, он различает пушки, развернутые на низких станках параллельно корпусу, жерлами вперёд, и принайтовленные. Орудийные порты заперты. Теперь, когда горизонта не видно, ему приходится воспринимать бортовую и килевую качку подошвами ног — если ждать, пока чувство равновесия подскажет, что он падает, будет поздно. Даниель ступает ко-

роткими, просчитанными шагами, ведя рукой по потолку и задевая укреплённые там орудийные принадлежности — длинные банники и прибойники. Так он оказывается перед дверью и затем в кормовой каюте, занимающей всю ширину корабля и снабжённой панорамными окнами, в которые сейчас сочится слабый свет западного неба и заходящей луны.

Шесть человек работают и разговаривают. Все они старше и опытнее обычных матросов. Здесь хранятся ящики с хорошими инструментами и важные чертежи. Румпель размером с боевой таран проходит через всю каюту и служит для перекладки руля; он поворачивается с помощью тросов, протянутых к штурвалу через отверстия в переборке. Пахнет кофе, стружками и трубочным табаком. Обитатели каюты хмыкают, приветствуя Даниеля. Он подходит к окну и садится. Окно выдается назад, так что можно смотреть прямо вниз, туда, где из пенного бурления вдоль руля рождается кильватерная струя. Даниель открывает лючок под окном и спускает на бечевке Фаренгейтов термометр. Это новейшая европейская технология измерения температуры, прощальный подарок Еноха. Даниель дает термометру поболтаться в воде несколько минут,

затем вытаскивает его и снимает показания.

Он старается проделывать этот ритуал каждые четыре часа. Цель — проверить, правда ли в Северной Атлантике полно теплых течений. Данные можно будет представить Королевскому обществу в Лондоне, если Даниель, Бог даст, туда доберётся. Сперва он делал замеры с верхней палубы, однако тогда инструмент бился о корпус, к тому же Даниель устал ловить на себе недоуменные взгляды матросов. Старички в каюте, вероятно, тоже считают его чокнутым, но их это не смущает.

Как путник, отыскавший в чужом городе уютную кофейню, Даниель обосновался в кормовой каюте, и его здесь приняли. Завсегдатаи — люди преимущественно на четвертом или на пятом десятке: филиппинец, ласкар, метис из португальского города Гоа, гугенот, корнуэлец, на удивление плохо владеющий английским, ирландец. Все они чувствуют себя как дома, словно «Минерве» тысяча лет и предки их искони на ней жили. Если она когда-нибудь утонет (подозревает Даниель), они за неимением другого пристанища охотно пойдут с нею ко дну. Друг с другом и с «Минервой» они могут перемещаться в любую точку мира, отбиваться от пиратов, буде возникнет та-

кая надобность, сытно есть и спать в собственной койке. Если же «Минерва» погибнет, им будет примерно все равно, где остаться — посреди бушующей Атлантики или в каком-нибудь портовом городке; так и так их дальнейшая жизнь будет коротка и печальна. Даниелю хотелось бы провести утешительную аналогию с Лондонским королевским обществом, но, поскольку сейчас оно пытается выбросить за борт одного из своих членов[13], сравнение получается не слишком удачным.

Между верхней палубой и палубой бака втиснута обложенная кирпичом каюта, постоянно наполненная дымом, поскольку здесь разводят огонь — из нее время от времени выносят еду. Даниелю раз в день подают полный обед, который он съедает в кают-компании — чаще в одиночестве, реже в обществе капитана ван Крюйка. Он — единственный пассажир. За столом видно, что «Минерва» — старый корабль; посуда и столовые приборы — разномастные, выщербленные, истёртые. Все *важные* части корабля чинятся или заменяются в рамках незаметной, но фанатичной программы, которую провозгласил

---

[13] Примечания: 13
Барона Готфрида Вильгельма фон Лейбница. (Прим. автора.)

капитан Крюйк и приводит в исполнение один из его помощников. Фаянс и другие приметы подсказывают, что кораблю лет тридцать, однако, не спустившись в трюм и не осмотрев киль и шпангоуты, не увидишь ничего старше пяти.

Тарелки все разные, и для Даниеля всякий раз маленькая игра — доесть кушанье (обычно похлёбку с дорогими приправами) и увидеть узор на дне. Довольно глупая забава для члена Королевского общества, но Даниель не вдумывается в неё до одного случая. В тот вечер он смотрит, как плещется в тарелке похлёбка (микрокосм Атлантики?), и внезапно переносится в…

Чумной год
Лето, 1665 г.

Яйцо Земли — Твой стол, и он накрыт
Для пира; Смерть за трапезой сидит.
Сады, стада, народы, все пожрет
Чумной, кровавый, вечно алчный рот.

Джон Донн, «Элегия магистру Булстреду»

Даниель ел картошку с селёдкой тридцать пятый день кряду. Поскольку дело происходило в отцовском доме, он обязан был до и после еды вслух благодарить Бога. День ото дня молитвы становились всё менее искренними.

С одной стороны дома мычал в вечном недоумении скот, с другой — брели по улице люди, звеня в колокольчики (для имеющих уши) и неся длинные красные палки (для зрячих). Они заглядывали в двери и во дворы, совали нос за садовые

ограды, ища трупы умерших от чумы. Все, у кого были деньги на переезд, сбежали из Лондона, в том числе старшие братья Даниеля Релей и Стерлинг с семьями, а также его единокровная сестра Мейфлауэр, вместе с детьми окопавшаяся в Бакингемшире. Только муж Мейфлауэр Томас Хам и Дрейк Уотерхауз, патриарх, отказались покинуть Лондон. Хам охотно бы уехал, но не мог бросить свой подвал в Сити.

Дрейку и в голову не пришла мысль спасаться от чумы. Обе его жены давно умерли, старшие дети сбежали, и некому было урезонить старика, за исключением разве что Даниеля. Кембридж на время чумы закрыли. Даниель заглянул в Лондон, предполагая совершить короткий отчаянный набег на пустой дом, и застал отца за верджинелом: тот играл гимны времён Гражданской войны. Все хорошие монеты Даниель потратил — сперва на покупку призм для Исаака, потом на извозчика, не желавшего поначалу и на выстрел приближаться к чумному городу. Чтобы выбраться из Лондона, надо было просить деньги у отца, а Даниель боялся даже заикнуться на эту тему. Всё предопределено: коли им написано на роду умереть от чумы, они умрут, сколько ни бегай; коли нет, вполне можно оставаться на окраине города

и подавать пример убегающему, вымирающему населению.

Из-за манипуляций, произведённых с его головой по приказу архиепископа Лода, Дрейк, жуя картошку с селёдкой, издавал необычные сипение и присвист.

В 1629-м Дрейка и нескольких его друзей схватили за раздачу свежеотпечатанных памфлетов на улицах Лондона. Конкретный пасквиль был направлен против «Корабельной подати» — нового налога, введённого Карлом I. Тема, впрочем, не имела значения; в 1628 году памфлет был бы о чём-нибудь другом, не менее оскорбительном для короля и архиепископа.

Неосторожное замечание, оброненное одним из товарищей Дрейка, когда тому под ногти вогняли горящие щепки, позволило властям отыскать печатный станок, который Дрейк прятал в фургоне под грудой сена. Определив, таким образом, зачинщика, Лод повелел, чтобы его, а также нескольких других особо докучливых кальвинистов поставили к позорному столбу, заклеймили и подвергли урезанию носа и ушей. То было не столько наказанием, сколько практической мерой. Цель исправить преступников — явно неисправимых — не ставилась. Позорный столб

должен был зафиксировать их в одном положении, дабы весь Лондон пришёл, разглядел этих людей и запомнил на будущее. Клеймение, а также лишение носа и ушей необратимо меняло их облик к сведению всего остального мира.

Все это случилось за годы до рождения Даниеля и нимало его не смущало — просто отец всегда так выглядел — и уж тем более не смущало самого Дрейка. Через несколько недель он снова был на большой дороге: скупал сукно для контрабандной доставки в Нидерланды. В сельской корчме по пути в Сент-Айвс Дрейк встретил угрюмого сквайра по имени Оливер Кромвель, который в то время переживал тяжелейший религиозный кризис и крушение всех личных надежд — по крайней мере так он думал, пока не взглянул на Дрейка и не обрёл веру. С того дня он почувствовал себя ратником Божьим, но это совсем другая история.

В ту пору владельцы домов старались иметь минимум мебели, зато как можно более тяжёлой и тёмной. Соответственно стол, за которым обедали Дрейк и Даниель, размерами и весом напоминал средневековый подъёмный мост. Другой обстановки в комнате не было, хотя присутствие восьмифутовых напольных часов в соседнем помещении ощущалось по всему дому. При каждом

махе тяжеленного, с пушечное ядро, маятника здание вело, как пьяного при ходьбе; зубчатые колеса скрежетали, а от боя, раздававшегося через подозрительно неравные промежутки времени, стаи перелётных гусей в тысяче футов над головой сталкивались и меняли курс. Меховая оторочка пыли на готических зубцах, мышиный помёт в механизме, римские цифры, вырезанные на задней стенке изготовителем, и полная неспособность показывать время выдавали в часах творение догюйгенсовской эпохи. Громоподобный бой выводил бы Даниеля из себя, даже если бы точно отмечал положенные часы, половины, четверти и проч., поскольку всякий раз заставлял его подпрыгивать от испуга. То, что бой не несёт абсолютно никакой информации о времени, приводило Даниеля в исступление; ему хотелось встать на пересечении коридоров и, сколько раз Дрейк будет проходить мимо, столько раз совать ему в руку памфлет против старинных часов с требованием остановить заблудший маятник и заменить его новым гюйгенсовским. Однако Дрейк уже велел ему молчать про часы, так что ничего было не изменить.

Даниель по нескольку суток не слышал никаких звуков, кроме перечисленных выше. Все

возможные темы для разговоров делились на две категории: (1) те, что спровоцируют Дрейка на тираду, которую Даниель и без того уже мог бы повторить наизусть, и (2) могущие и впрямь послужить началом беседы. Категорию (1) Даниель старательно обходил. Категория (2) была давно исчерпана. Например, Даниель не мог спросить: «Как поживает Восславь-Господа[14] в Бостоне?», поскольку задал этот вопрос в первый же день и получил ответ, а с тех пор письма почти не приходили, так как письмоносцы либо умерли, либо дали стрекача из Лондона. Иногда нарочные доставляли письма — чаще Дрейку, по делам, реже Даниелю. Разговора о них хватало на полчаса (не считая тирад). По большей части Даниель слушал дни напролёт скрип чумных телег и звон колокольчиков; бой ненавистных часов; коровье мычание; голос Дрейка, читающего вслух пророка Даниила; верджинел и скрипение собственного пера по бумаге. Он прорабатывал Евклида, Коперника, Галилея, Декарта, Гюйгенса

---

[14] Примечания: 14

Восславь-Господа Уотерхауз, старший сын Релея и, таким образом, первый внук Дрейка, незадолго до описанных событий, на семнадцатом году жизни, отплыл в Бостон, чтобы поступить в Гарвард, стать частью Америки и, по возможности, когда-нибудь со славой возвратиться в Англию, истребить семя архиепископа Лода и реформировать англиканскую церковь раз и навсегда. (Прим. автора.)

и сам дивился тому, сколько всего постиг. Он почти не сомневался, что знает столько же, сколько знал Исаак месяцы назад; однако Исаак был у себя в Вулсторпе, за сотни миль отсюда, и наверняка обогнал его на несколько лет.

Даниель ел картошку и селёдку с упорством заключённого, проскребающего дырку в стене. Семейный фаянс Уотерхаузов был изготовлен в Голландии людьми искренними, но неумелыми. После того, как Яков I запретил вывозить в Нидерланды английские ткани, Дрейк начал доставлять их туда контрабандой, что было несложно, поскольку Лейден кишел его единоверцами-англичанами. Так Дрейк нажил своё первое состояние, причём самым богоугодным способом — смело презирая попытки короля помешать коммерции. Более того, в 1617 году он женился в Лейдене на молоденькой пуританке и сделал крупное пожертвование тамошним верующим, которые собирались приобрести корабль. Благодарные пилигримы, прежде чем взойти на «Мейфлауэр» и отплыть в солнечную Виргинию, презентовали Дрейку и его молодой супруге Гортенс сервиз дельфтского фаянса. Очевидно, посуду они изготовили сами в убеждении, что умение делать что-либо из глины будет в Амери-

ке нелишним. То были тяжёлые грубые тарелки, покрытые белой глазурью и украшенные синей корявой надписью, гласящей: «МЫ ОБА ПРАХ».

Созерцая эти слова сквозь вонючие селёдочные миазмы тридцать пятый день кряду, Даниель внезапно объявил:

— Думаю, я мог бы, с Божьей помощью, навестить преподобного Уилкинса.

Уилкинс и Даниель обменивались письмами с той горестной поры, когда пять лет назад Даниель прибыл в Тринити-колледж и узнал, что Уилкинса только что вышибли оттуда навсегда.

Фамилия «Уилкинс» не спровоцировала тираду, и Даниель понял, что успешное начало положено. Впрочем, оставались некоторые формальности.

— Зачем? — спросил Дрейк. Голос у него был будто у засорившегося органа, слова выходили частью через рот, частью через нос. Вопросы он произносил словно готовые утверждения; «зачем» звучало так же, как «МЫ ОБА ПРАХ».

— Моя цель — учиться, а из книг, которые у меня здесь есть, я, кажется, всё, что можно, уже узнал.

— Как насчёт Библии. — Мастерский выпад со стороны Дрейка.

— Библии, слава Богу, есть везде, а преподоб-

ный Уилкинс всего один.

— Он проповедует в государственной церкви, разве нет.

— Да. В церкви Святого Лаврентия Еврейского.

— Тогда тебе нет нужды ехать.

(Подразумевая, что туда четверть часа ходьбы.)

— Чума, отец. Сомневаюсь, что за последние месяцы он хоть раз побывал в городе.

— А как же его паства.

Даниель едва не выпалил: «Ты про Королевское общество?», что в другом месте (только не здесь) расценили бы как остроту.

— Все разбежались, отец, те, что не умерли.

— Высокоцерковники, — пояснил для себя Дрейк. — Где сейчас Уилкинс.

— В Эпсоме.

— С Комстоком. О чём он только думает.

— Не секрет, что вы с Уилкинсом оказались по разные стороны ограды.

— Золотой ограды, которой Лод окружил престол Божий! Да.

— Уилкинс не меньше тебя ратует за веротерпимость Он надеется реформировать церковь изнутри.

— Да, и уж кто *внутри*, так это Джон Комсток, граф Эпсомский. Зачем тебе встревать в эти дела.

— Уилкинс в Эпсоме не дискутирует о религии. Он занимается натурфилософией.

— Странное же место он выбрал.

— Сын графа, Чарльз, из-за чумы не может учиться в Кембридже. Уилкинс и несколько других членов Королевского общества приглашены к нему в качестве наставников.

— А! Ясно! Это место, где ему предоставили стол и кров.

— Да.

— Что ты надеешься узнать от преподобного Уилкинса.

— Всё, чему он захочет меня научить. Через Королевское общество Уилкинс связан со всеми видными натурфилософами Британских островов и со многими на Континенте.

Дрейк задумался.

— Ты просишь у меня финансовой помощи, дабы ознакомиться с *гипотетическим* познанием, которое, *по твоему мнению*, возникло *из ничего* в самое последнее время.

— Да, отец.

— Смелое допущение.

— Не настолько, как ты думаешь. Мой друг Исаак — я о нём рассказывал — говорил о порождающем духе, который пронизывает всё.

Благодаря этому духу из старого рождается новое. Коль не веришь мне, спроси себя: как цветы растут из навоза? Почему в мясе образуются личинки мух, в корабельной обшивке — черви? Почему отпечатки раковин появляются на камнях вдалеке от моря, и новые камни вырастают на пашне после того, как собран урожай? Тут явно действует какой-то организующий принцип, незримо наполняющий бытие. Чрез него мир может обновляться, а не только гнить.

— И всё же он гниёт. Выгляни в окно! Прислушайся к колокольчикам! Десять лет назад Кромвель переплавил сокровища короны и дал людям свободу вероисповедания. Сегодня тайный папист[15] и холуй Антихриста[16] правят Англией; из английского золота льют чаши для королевских оргий, а мы, истинно верующие, должны отправлять богослужения тайно, как первые христиане в языческом Риме.

— Порождающий дух требует пристального изучения отчасти и потому, что может вызвать в том числе дурные последствия. В каком-то

---

[15] Примечания: 15

Король Карл I. (Прим. автора.)

[16] Примечания: 16

Обычно это слово обозначает Римского Папу, но в данном случае речь о французском короле Людовике XIV. (Прим. автора.)

смысле пневма, заставляющая бубоны расти из живого тела, может быть сродни той живой силе, которая заставляет грибы появляться из земли после дождя, но одни проявления мы находим пагубными, другие — благими.

— Ты думаешь, Уилкинс знает об этом больше.

— Я пытаюсь объяснить само существование таких, как Уилкинс, и его клуба, который теперь зовётся Королевским обществом, а также других объединений, например, академии господина де Монмора в Париже…

— Понимаю. Ты считаешь, что тот же дух действует в *умах*.

— Да, отец, и в самой почве страны, породившей так много натурфилософов за столь короткое время, к большой досаде папистов. — Выпад в сторону папистов делу не повредит. — И как крестьянин, глядя на всходы, уверен в будущем урожае, так и я не сомневаюсь, что за последние месяцы эти люди достигли многого.

— Но зачем это надо перед самым светопреставлением.

— Всего несколько месяцев назад, на последнем собрании Королевского общества, мистер Даниель Кокс сообщил, что в лайнских меловых карьерах живое серебро струится по дну выра-

боток словно вода. И лорд Берстон сказал, что ртуть обнаружили также в Сент-Олбанс, в яме пильного станка.

— По-твоему, значит.

— Может быть, все эти непомерные разрастания — натурфилософия, чума, власть короля Людовика, оргии в Уайт-холле, меркурий, бьющий ключом из земных недр, — необходимые приготовления к концу света. Порождающий дух прибывает, как вода в прилив.

— Это всё очевидно, Даниель. Я просто сомневаюсь, что следует продолжать твои штудии, когда последние дни уже наступили.

— Одобришь ли ты крестьянина, который даст своему полю зарасти сорняками, потому что близится конец света?

— Разумеется, нет. В твоих словах есть резон.

— Коли мы обязаны наблюдать все знаки грядущего светопреставления, то отпусти меня, отец. Ибо если эти знаки — кометы, то первыми о них узнают астрономы. Если чума, то…

— …врачи. Да, я понял. Ты хочешь сказать, будто люди, изучающие натурфилософию, способны получить некое особое знание — проникнуть в тайны Божьего мира, которые обычный человек не может вычитать из Библии?

— Э… мне кажется, это именно то, что я пытаюсь сказать.

Дрейк кивнул.

— Так я и думал. Что ж, Господь дал нам мозги ради какой-то цели, и грех ими не пользоваться. — Он встал, отнёс тарелку на кухню, потом подошёл к конторке в передней и достал причиндалы, необходимые, чтобы писать пером на бумаге.

— Монет у меня сейчас маловато, — проговорил он, чередуя яростную скоропись с длинными цветистыми росчерками, словно бретёр, выписывающий шпагой хитрые вензеля.

> Мистер Хам, прошу выдать подателю сего один фунт (£1) из моих средств, вверенных вашему попечению.
>
> ***Дрейк Уотерхауз, Лондон***

— Что это, отец?

— Обязательство золотых дел мастера. Ими стали пользоваться примерно о ту пору, когда ты отправился и Кембридж.

— Почему «подателю сего»? Почему не «Даниелю Уотерхаузу»?

— В этом-то вся и прелесть! Ты мог бы, при же-

лании, оплатить данной распиской долг в один фунт — просто вручил бы её кредитору, а тот пошёл бы к Хаму и получил фунт звонкой монетой. Или оплатил бы ею *свои* долги.

— Ясно. В таком случае эта бумага означает просто, что я могу прийти в Сити и предъявить её дяде Томасу или любому другому Хаму…

— И они сделают, что ею предписано.

Это был вполне заурядный пример врожденного Дрейкова жестокосердия. Даниель мог отправляться в Эпсом — логово архиангликанина — и постигать натурфилософию буквально до конца света. Однако, чтобы раздобыть средства на поездку, он должен был доказать свою веру, пройдя через чумной Лондон. Испытание судом Божьим.

На следующее утро: плащ и стоптанные сапоги (хотя лето стояло жаркое); платок, чтобы через него дышать[17]; минимальный запас исподнего и чистых рубах (за остальным Даниель собирался послать из Эпсома, буде доберется туда здоровым);

---

[17] Примечания: 17

Лучшие врачи Королевского общества пришли к единогласному мнению, что чуму вызывает не дурной воздух, а скученность большого количества людей, особенно иностранцев (первой жертвой лондонской чумы стал француз, который сошел с корабля и умер на постоялом дворе примерно в пятистах ярдах от дома Дрейка), впрочем, все все равно дышали через платок. (Прим. автора.)

несколько книг (тоненькие студенческие томики в одну восьмую листа, творения континентальных учёных, исписанные на полях и между строк его почерком); письмо от Уилкинса (с вложением от Роберта Гука), пришедшее на прошлой неделе. Всё это в мешок, мешок — на палку, палку — на плечо. Вид получился как у бродяги, но в городе многие промышляли грабежом за неимением других заработков, так что разумно было иметь крепкую палку и выглядеть победнее.

Дрейк, на прощание:

— Скажи старине Уилкинсу, что я не осуждаю его за переход в англиканство, ибо верю, что он сделал это ради реформирования церкви, к которому всегда стремились те из нас, кого уничижительно зовут пуританами.

Потом, Даниелю:

— Остерегайся заразиться чумой — я не о бубонной чуме, а о чуме скептицизма, столь модной в кругу Уилкинса. Менее опасно для твоей души было бы оказаться в борделе, нежели среди некоторых членов Королевского общества.

— Это не скептицизм ради скептицизма, отец. Просто понимание, что нам свойственно заблуждаться и трудно смотреть на что-либо непредвзято.

— Таков подход хорош, когда дело касается комет.

— Тогда я не буду говорить о религии. До свидания, отец.

— Господь да хранит тебя, Даниель.

* * *

Он открыл дверь, стараясь не морщиться от уличного воздуха, ударившего в лицо, и спустился по ступеням на дорогу, называемую Холборн — реку утоптанной пыли (дождей не было уже довольно давно). Дом Дрейка, новый (послекромвелевский), фахверковый, стоял в одном ряду с деревянными. Вместе они образовывали как бы ограду, которая отделяла Холборн от открытых полей, простиравшихся до самой Шотландии. Дома на другой, южной, стороне Холборна такие же, но выстроены двумя десятилетиями раньше (то есть до Гражданской войны). Местность была ровная, за исключением некоего подобия стоячей волны, которая вилась через поля и пересекала Холборн чуть дальше вправо — как если бы на Лондонский мост упала комета, и рябь, пробежав по земле, остановилась у дома Дрейка. То были остатки одного из земляных валов, возведённых лондонцами (до Кромвеля) в начале Гражданской

войны для защиты от королевских войск. В ту пору существовали и ворота на Холборне, и звездообразный земляной форт по соседству… ворота давно сломали, а форт осыпался и зарос травой; теперь на нем несли караул самые молодые и предприимчивые бычки.

Даниель повернулся налево, к Лондону — чистое безумие, — однако Уилкинс в письме и Гук (протеже Уилкинса по оксфордским дням, а ныне куратор экспериментов Королевского общества) в записке кое о чём просили. Просьбы были сформулированы самым вежливым образом. Ну, пожалуй, в случае Гука, не самым вежливым. Оба ученых были бы чрезвычайно признательны, если бы Даниель забрал некие предметы из неких домов в Лондоне.

Даниель мог бы сжечь письмо и объявить, что не получал его. Он мог бы отправиться в Эпсом без названных предметов, сославшись в оправдание на чуму. Правда, Уилкинс с Гуком, подобно Дрейку, не признавали оправданий.

Сегодня ему предстояло в качестве членского взноса пойти в Лондон. Что ж, на службе натурфилософии совершались подвиги и поопаснее.

Даниель сделал шаг и обнаружил, что ещё не умер. Сделал второй, третий. Некоторое вре-

мя город казался до жути обыденным, если не слушать похоронный звон из сотни разных приходских церквей. При ближайшем рассмотрении стало видно, что многие украсили стены своих домов истеричными призывами к Божьему милосердию, надеясь, что надписи эти, как кровь агнцев на перекладинах и косяках еврейских домов, остановят ангела смерти. Лишь изредка по Холборну проезжали телеги. Пустые двигались в город, распространяя омерзительное зловоние, окружённые тучами мух, которые, в свою очередь, привлекали целые стаи птиц, — они возвращались с похорон. Телеги с людьми ехали из города. Их сопровождали те же сторожа с колокольчиками и красными палками. Неподалеку от земляного вала, там, где Холборн утыкался в Оксфордскую дорогу, устроили чумной барак, а когда он наполнился мертвецами, то и другой, дальше, к северу от Тайбернских виселиц, в Мерилебоне. Кто-то на телегах выглядел совсем здоровым, другие достигли той стадии болезни, при которой малейшее движение причиняет адскую боль, так что и без колокольчиков телеги можно было бы услышать по взрывам стонов и молитв на каждом дорожном ухабе. Даниель и другие редкие пешеходы, пропуская телеги, пря-

тались в подворотни и дышали сквозь платки.

Через Ньюгейт и развалины римской стены, мимо тюрьмы, притихшей, но не пустой. К четырехугольной звоннице Святого Павла, где усталые звонари раскачивали огромный колокол, отсчитывая прожитые покойником годы. Старая башня покосилась так давно, что лондонцы перестали это замечать. Впрочем, ныне чудилось, будто она накренилась еще сильнее, и Даниель внезапно испугался, что башня рухнет прямо на него. Всего несколько недель назад Роберт Гук и сэр Роберт Мори поднимались на колокольню для опытов с двухсотфутовым маятником. Сейчас церковь окружали бастионы свежевскопанного грунта — могилы поднимались над землёй почти на целый ярд.

К старому, изъеденному угольным дымом фасаду несколько десятилетий назад прилепили классический портик. Однако новая колоннада тоже уже рушилась; её сильно попортили во времена Кромвеля, когда между колоннами понастроили мелочных лавок. В те годы кавалеристы круглоголовых порубили мебель из западной половины церкви на дрова и разместили там конюшню на тысячу лошадей, а навоз продавали замерзающим лондонцам по четыре пенса за

бушель. Тем временем в восточной половине Дрейк, Болструд и другие произносили трёх-четырёхчасовые проповеди при всё уменьшающемся стечении народа. Считалось, что король Карл приступил к восстановлению собора, но Даниель не видел ни малейших тому свидетельств.

Он обошёл церковь с южной стороны — хотел взглянуть на южный трансепт, рухнувший несколько лет назад. Поговаривали, будто камни побольше и получше пошли на флигель, который Джон Комсток пристроил к своему дому на Пиккадилли. И впрямь, части камней явно недоставало, но сейчас, разумеется, здесь никто не работал, кроме могильщиков.

В Чипсайде несколько человек, взобравшись по приставным лестницам, вынимали из верхних окон заколоченного дома обессиленных, измождённых детей, которые каким-то чудом пережили своих родителей. Ближе к реке Даниель первый и последний раз увидел скопление людей: очередь перед домом Натаниеля Ходжеса, единственного из врачей, которому хватило мужества остаться в городе. Отсюда до дома Уилкинса было рукой подать. Уилкинс прислал Даниелю ключ, который не понадобился, поскольку дверь уже взломали грабители. Они выворотили половицы

и вспороли матрасы — дом, усыпанный соломой и досками, напоминал амбар. Книги сбросили с полок, проверяя, не спрятано ли что-нибудь за ними. Даниель составил их на место, а две или три новые, которые Уилкинс просил забрать, прихватил с собой.

Затем — в церковь Святого Лаврентия Еврейского[18]. «Иди вдоль водосточной трубы, найдешь земноводных», — написал Уилкинс. Даниель обошёл кладбище, покрытое свежими могилами, которые, впрочем, ещё не начали насыпать одну поверх другой: прихожане Уилкинса, по большей части зажиточные торговцы, сбежали в загородные дома. С одного края крыши спускалась водосточная труба и ныряла в окно. Даниель вошёл в церковь и, следуя за трубой, очутился в подвале, где различные богослужебные при-

[18] Примечания: 18

Которая не имела никакого отношения к евреям. Название произошло от слободы, в которой евреи жили, пока в 1290 году Эдуард I не выставил их из Англии. В католической или англиканской стране евреи не могли обитать в принципе, поскольку вся она делилась на приходы, и всякий, живущий в приходе, по определению был прихожанином местной церкви, которая собирала десятину, делала записи о рождении или смерти, а также следила, чтобы все регулярно ходили к обедне. Такая система звалась *установленной* или *государственной церковью* и не оставляла диссидентам вроде Дрейка иного выхода, кроме как бороться за *церковь-общину*, которая объединяла бы единомышленников вне зависимости оттого, где они проживают. Разрешив церковь-общину, Кромвель вернул евреев в Англию. (Прим. автора.)

надлежности дожидались медленной смены литургического календаря (пасхальное, рождественское и прочее убранство) либо внезапной перемены в господствующей теологии. (Высокоцерковники вроде покойного архиепископа Лода хотели окружить престол оградой, дабы приходские собаки не задирали на него лапы; поборники простоты вроде Дрейка — нет; преподобный Уилкинс, склонявшийся на сторону Дрейка, спрятал ограду в подвал.) Помещение гудело, почти дрожало, как если бы спрятанные по углам монахи распевали молитвословия, но на самом деле это жужжала целая цивилизация мух — столь огромных, что некоторые звучали почти на басах. Они расплодились на дохлых крысах, осенней листвой устилавших пол. Пахло соответственно.

Водосточная труба входила в подвал через отверстие в потолке и заканчивалась над огромной каменной купелью для крещения младенцев — вероятно, её задвинули в угол о ту пору, когда король Генрих VIII запретил в Англии католичество. Даниель предположил это по каменной резьбе, которая была так насыщена папистскими символами, что не удалось бы сбить их все, не уничтожив саму купель. Когда она наполнялась

дождевой водой, излишки выплескивались на пол, стекали к стене и просачивались в землю — вероятно, больных крыс пригнала сюда жажда.

Купель была прикрыта решёткой, придавленной двумя кирпичами. Из-под решётки раздавалось довольное кваканье. Что-то розовое взметнулось между прутьями, схватило муху, замерло на мгновение и тут же втянулось обратно. Даниель снял кирпичи, приподнял решётку и заглянул внутрь. На него смотрели — а он смотрел на — полдюжины самых здоровых лягушек, каких ему только случалось видеть, лягушек размером с терьеров, лягушек, способных языками ловить на лету воробьев. Стоя посреди града Погибели, Даниель расхохотался. Порождающий дух неистовствовал в дохлых крысах, обращая их в мух, из которых черпали жизненную силу счастливые лупоглазые лягвы.

Тысячи слабеньких щелчков сливались в стук, словно град колотит по стеклу. Даниель поглядел вниз и увидел, что это всего лишь орды блох. Покинув дохлых крыс, они устремились к нему со всех сторон и сейчас рикошетом отлетали от кожаных сапог. Он обошел подвал, отыскал корзину для хлеба, пересадил в нее лягух, неплотно накрыл их тканью и вышел на улицу.

Реки он отсюда не видел, но мог догадаться, что прилив кончается, потому что вода в канаве посреди Полтри-лейн начала неуверенно пробираться вниз с Леденхолл. В обычные дни она несла бы обрывки бумаг с Биржи, однако сейчас на поверхности плыли только дохлые кошки и крысы.

Стараясь держаться подальше от канавы, Даниель тем не менее двинулся против ее течения к району, в котором жили золотых дел мастера и откуда в разные стороны расходились Треднидл, Полтри, Ломбард и Корнхилл. Он вышел в самую высокую точку Сити, где Корнхилл встречался с улицей Леденхолл (которая продолжалась на восток, но уже вниз), Рыбной улицей (прямо вниз, к Лондонскому мосту) и Бишопсгейт (вниз к городской стене, Бедламу и вырытой рядом общей могиле для умерших от чумы). На пересечении их торчала колонка, из нее речная вода лилась по патрубкам в канавы на каждой из этих улиц. Колонка соединялась с трубой, идущей под Рыбной улицей к северному окончанию Лондонского моста. В елизаветинские времена какой-то сметливый голландец построил там водяные колеса. Хотя люди, призванные за ними следить, умерли или разбежались, колеса принимались

вращаться всякий раз, как после прилива вода скапливалась за мостом. Колеса приводили в действие помпы, которые качали воду по трубе под Рыбной улицей. Таким образом, если вы жили в этой части города, течение смывало ваши отбросы, а если в другой — два раза в день несло мимо вас поток мусора, дохлятины и дерьма.

Даниель двинулся вдоль вышеназванного потока по Бишопсгейт, но дошел только до стены, окружающей дом, вернее, целый комплекс строений, которые сэр Томас Грешем, автор знаменитых слов «Дурная монета вытесняет полновесную», воздвиг сто лет назад на средства, полученные от ссуд правительству и реформирования денежной системы. Как все фахверковые дома, они изрядно покосились, но Даниель любил это место, поскольку здесь обосновалось Королевское общество.

И Роберт Гук, куратор экспериментов Королевского общества, переехавший сюда девять месяцев назад, чтобы полностью посвятить себя опытам. Гук прислал Даниелю список всякого хлама, нужного ему для работы. Даниель оставил корзину с лягушками и прочее добро в зале, где собиралось Королевское общество, и совершил несколько вылазок в комнаты Гука, а также в

различные помещения, на чердаки и в подвалы.

Даниелю предстали: груда древесных спилов, которые кто-то собрал в доказательство, что утоньшение годичных колец указывает истинный север. Бразильская рыба-компас, которую Бойль подвесил на нитку, проверяя легенду, согласно которой она обладает таким же свойством (когда Даниель вошёл, рыба указывала на юго-юго-восток). В склянках: порошок гадючьих лёгких и печени (кто-то надеялся получить из него маленьких гадюк), иногда называемый также симпатическим порошком и применяемый в знахарстве для лечения ран. Образчики загадочной красной жидкости из Кровавого пруда в Ньюингтоне. Орехи бетеля, камфорное дерево, рвотный орех, называемый также чилибуха, носорожий рог. Волосяной ком, который сэр Уильям Кертис извлёк из коровьего желудка. Опыт: несколько галек в сосуде с водой — настолько узкогорлом, что они еле-еле туда прошли; если потом их не удастся вынуть, это докажет, что камни в воде растут. Очень много всевозможной поломанной древесины, местной и привозной — остатки бесконечных экспериментов по определению прочности балок. Сердце графа Балкарреса, которое тот передал для научного

изучения, правда, лишь после своей кончины. Коробочка с камнями, которые разные люди отхаркнули из лёгких (Королевское общество собиралось подарить их королю). Сотни осиных и птичьих гнёзд с именами жертвователей. Детские позвонки, извлечённые из гнойника в боку женщины, у которой за двенадцать лет до того случился выкидыш. Заспиртованные: различные человеческие зародыши, голова жеребёнка с двойным глазом посреди лба, японский угорь. На стене: шкура ягнёнка с семью ногами, двумя туловищами и одной головой. За стеклом: полуразложившиеся ядовитые змеи; все они передохли с голоду, причём некоторые пытались проглотить свой хвост, словно подражая алхимическому Уроборосу. Ещё волосяные комки. Сердца казнённых, с виду неотличимые от графского. Флакончик с семенами, якобы обнаруженными в моче одной голландской девицы. Пузырёк синего красителя, полученного из дубильных орешков, зелёного — из железного купороса. Карандашный портрет одного из карликов, якобы населяющих Канарские острова. Сотни конкреций магнитного железняка самых разных форм и размера. Модель исполинского арбалета, из которого Гук собирался гарпунить китов. U-образная трубка,

которую Бойль наполнил ртутью, доказывая, что её колебания сродни колебаниям маятника.

Гук просил Даниеля забрать различные детали, инструменты и материалы, потребные для изготовления часов и других тонких механизмов; камни, которые он обнаружил в графском сердце, гигроскоп из ости овсюга, зажигательное стекло в деревянной раме, выпуклые очки, чтобы смотреть под водой, рососборник[19], а также избранные мочевые пузыри из его обширной коллекции: свиной, коровий и так далее. Ещё Гуку требовались (в ни с чем несообразном количестве) шары различного размера из всевозможных материалов: свинца, янтаря, дерева, серебра и проч. для бросания и катания. Кроме того, различные части воздухосжимательной машины. Искусственный глаз. Наконец, Гук просил прихватить «любых щенков, котят, цыплят, мышей и проч., какие только попадутся, ибо количество их в ближайших окрестностях заметно уменьшилось».

Несмотря на трудности с доставкой, здесь ско-

---

[19] Примечания: 19

Стеклянный сосуд в форме перевернутого конуса, который наполняли водой или (предпочтительнее) снегом и с вечера выставляли на улицу; за ночь роса конденсировалась на поверхности конуса и стекала в поддон. (Прим. автора.)

пилось немало почты. Значительная часть писем была адресована просто «ГРУБЕНДОЛЮ, Лондон». По наставлению Уилкинса, Даниель собрал письма в общую груду, а те, что предназначались ГРУБЕНДОЛЮ, перевязал бечёвкой и положил отдельно.

Теперь он готов был покинуть Лондон; недоставало лишь денег да чего-нибудь, на чём увезти это добро. Оставив в доме всё (за исключением лягушек, которых не стоило бросать без присмотра), Даниель снова прошёл по Бишопсгейт и свернул на Треднидл. На её пересечении с Корнхилл стояли дома, выходящие на обе улицы. На крышах курили трубки вооружённые мушкетами сторожа; даже неграмотный, взглянув на них, сообразил бы, что здесь обитают золотых дел мастера. Даниель подошел к дому под вывеской «Братья Хамы». В окошке рядом с дверью были выставлены несколько украшений и парочка золотых блюд: свидетельство тому, что Хамы по-прежнему заняты златокузнечным делом.

Лицо за решёткой. «Даниель!» Решётка заскрежетала, дверь застонала и залязгала, словно внутри сдвигаются тяжёлые чугунные брусья. Наконец она отворилась.

— Рад тебя видеть.

— Здравствуйте, дядя Томас.

— Вообще-то сводный шурин. — Томас Хам упорно наделся, что педантизм и повторение каким-то алхимическим образом переплавятся в остроумие. Педантизм, потому что он и впрямь был женат на единокровной сестре Даниеля, повторение, потому что Даниель слышал эту шутку сколько себя помнил. Хаму шёл седьмой десяток, он был одновременно грузен и худосочен. С костлявой арматуры свисало непомерное брюхо, орлиное лицо обрамляли дряблые складки. Ему повезло жениться на красавице Мейфлауэр Уотерхауз, во всяком случае, так его уверяли.

— Я испугался, когда подошёл. Думал, вы кого-то хороните. — Даниель указал на кучи свежей земли рядом с домом.

Хам внимательно оглядел улицу — как будто то, что он делал, можно было скрыть от посторонних глаз и ушей.

— Мы роем крипту иного рода, — сказал он. — Давай заходи. Почему твоя корзина квакает?

— Я подался в грузчики, — отвечал Даниель. — У вас нет тачки или тележки, которую я мог бы одолжить на несколько дней?

— Есть, очень прочная и тяжёлая — мы возили денежные сундуки на Монетный двор и обрат-

но. С начала чумы она стоит без дела. Бери на здоровье!

В комнате за дверью тоже виднелись жалкие следы розничной ювелирной торговли — конторка и несколько амбарных книг. Лестница вела в жилые помещения на втором этаже — тёмные и притихшие.

— Мейфлауэр и дети здоровы?

— Да, благодарение Богу, — её последнее письмо из Бакингемшира чуть меня не усыпило. Идём вниз! — Дядя Томас провёл его ещё через одну крепостную дверь, подпертую поленом, чтобы не закрывалась, и по узкой лестнице вглубь. Впервые с сегодняшнего утра Даниель не ощущал вони, только мирный запах растревоженной земли.

Даниель никогда не бывал в этом подвале, но знал про него всегда. Из фигур речи, вернее, из фигур умолчания можно было заключить, что там либо водятся привидения, либо хранится золото. Подвал оказался вовсе не величаво-пугающим, а очень по-английски маленьким и уютным, однако он впрямь был наполнен золотом и в эту самую минуту расширялся. У лестницы, прямо на земляном полу, лежали золотые блюда, чаши, кувшины, кубки, ложки, вилки, ножи, под-

свечники, черпаки и супницы, а также мешки с монетами, коробочки с медальонами, отлитыми в память тех или иных сражений, золотые бруски и неправильной формы слитки, называемые чушками. На каждом предмете имелась аккуратная бирка: «367-11/32 трой. унц., помещ. лордом Рочестером 29 сентября 1662 года» и так далее. Всё было сложено как булыжная кладка без раствора, то есть максимально плотно, чтобы груда не рассыпалась. Сверху её изрядно припорошило землёй, кирпичной крошкой и раствором от работ, которые велись в дальнем конце погреба: землекоп орудовал киркой и лопатой, его товарищ выносил землю в корзине, плотник сколачивал деревянные крепи, чтобы дом Хама не обрушился в пустоту, каменщик вместе с подручным клали фундамент и стены. Теперь это был чистый подвал: никаких крыс.

— Боюсь, подсвечники твоей покойной матушки сейчас увидеть нельзя — они довольно глубоко в… э… укладке, — сказал Томас Хам.

— Я здесь не для того, чтобы тревожить укладку, — отвечал Даниель, вынимая отцовскую расписку.

— О! Легко исполнимо! Легко и с большой охотой! — объявил мистер Хам, надевая очки и

тряся брылами над распиской — гончая, берущая след. — Карманные деньги для юного учёного… юного богослова, не так ли?

— Говорят, Кембридж откроется не скоро — надо податься куда-нибудь еще, — ответил Даниель, просто чтобы поддержать разговор. Его заинтересовала небольшая груда чего-то грязного, но не золота. — Что это?

— Остатки римского дома, который здесь когда-то стоял, — ответил мистер Хам. — Те, кто в таких вещах разбирается — чего я, увы, не могу сказать о себе, — уверяют, что на этом самом месте протекала река Уолбрук. Она впадала в Темзу перед дворцом наместника, примерно в двенадцати сотнях ярдов отсюда. Римские купцы возводили дома на берегу, чтобы доставлять товары по реке.

Даниель носком сапога сковырнул землю с твердой поверхности, которую нащупал внизу. Показались крохотные многоугольнички: терракотовые, синие, бежевые, желтовато-белые. Перед ним был кусочек мозаичного пола. Даниель сгрёб ещё немного земли и увидел изображение ноги, согнутой в колене, с носком оттянутым, как при беге. Щиколотку украшали два крылышка.

— Да, римский пол мы сохраним, — сказал

мистер Хам, — в качестве преграды от умельцев с лопатами. Джонас, где у нас всякие мелочи?

Землекоп ногой толкнул к ним ящик, полный грязного хлама. Здесь были два костяных гребня, глиняный светильник, металлическая пряжка, из которой давно вывалились драгоценные камни, обливные черепки, а также что-то длинное и тонкое — шпилька для волос, заключил Даниель, счистив с неё грязь. Металл почернел, но это было серебро.

— Забирай, — сказал Хам, имея в виду не только шпильку, но и вполне приличную серебряную монету в один фунт, которую только что выудил из кармана. — Может, будущей миссис Уотерхауз приятно будет закалывать волосы вещицей, которой украшала причёску жена римского купца.

— Нам в Тринити-колледже не разрешено жениться, — напомнил Даниель, — однако ваш подарок я всё-таки приму. Вдруг у меня будет пышноволосая племянница, которую не испугает чуточка язычества.

Ибо он уже успел заметить, что шпилька имеет форму кадуцея.

— Язычества? Коли так, все мы язычники. Это символ Меркурия — покровителя торговли, которому уже тысячу лет поклоняются в этом подвале

и в этом городе не только дельцы, но и епископы. Культ его приноравливается к любой религии с той же лёгкостью, с какой ртуть принимает форму любого сосуда. Когда-нибудь, Даниель, ты встретишь молодую особу, которая будет столь же податлива и уживчива. Бери. — Он вложил монету в ладонь Даниеля рядом с кадуцеем и сжал ему пальцы. Чувствуя холодок металла в кулаке и тепло родственных рук снаружи, Даниель выслушал прощальные напутствия дяди.

Даниель, толкая тачку, двинулся по Чипсайду на запад. Он задержал дыхание, проходя мимо смрадных могильных холмов у церкви Святого Павла, и вздохнул свободно, только миновав Лудгейт. Идти над Флитской канавкой было ещё хуже; всюду валялись дохлые крысы, собаки, кошки; нередко попадались и человеческие трупы, которые выронили с телег и не удосужились даже присыпать землёй. Он не отнимал платок от лица, пока не прошёл Темпл-бар и сторожку на середине Стренда, у Сомерсет-хауса. Здесь уже между домами проглядывали поля; после городской вони запах навоза радовал ноздри.

Даниель боялся, что тачка увязнет в грязи на Чаринг-Кросс, но дождей давно не было, кареты почти не ездили, и обычное месиво высохло. Пять

бродячих псов смотрели, как он пробирается с тачкой по колдобинам. Даниель поглядывал с опаской, ожидая нападения, пока не заметил, что для бездомных псов они чересчур упитанны.

Ольденбург жил в особняке на Пэлл-Мэлл. Из всех членов Королевского общества только он да еще один-два самоотверженных врача не покинули чумной Лондон. Даниель вытащил письма, адресованные ГРУБЕНДОЛЮ, и оставил их на пороге — послания из Вены, Флоренции, Парижа, Амстердама, Берлина, Москвы.

Он трижды постучал в дверь и отступил назад. За зелеными стеклышками окна, как за пеленой слёз, показалось круглое лицо. У Ольденбурга недавно умерла жена (не от чумы); поговаривали, будто он остался в Лондоне в надежде, что Черная смерть воссоединит его с умершей супругой.

Путь до Эпсома предстоял неблизкий, и у Даниеля было вдоволь времени сообразить, что ГРУБЕНДОЛЬ — анаграмма фамилии «Ольденбург».

Эпсом
1665-1666 г.

Отсюда видно, насколько необходимо каждому человеку, стремящемуся к истинному познанию, проверять определения прежних авторов и либо исправлять их, если они небрежно сформулированы, либо формулировать их заново. Ибо ошибки, сделанные в определениях, увеличиваются сами собой по мере изучения и доводят людей до нелепостей, которые в конце концов они замечают, но не могут избежать без возвращения к исходному пункту, где лежит источник их ошибок.

***Гоббс, «Левиафан»*[20]**

Поместье Комстока располагалось в Эпсоме, неподалеку от Лондона, и поражало своей обширностью, которая во время чумы пришлась как нельзя кстати. Его милость смог разместить у себя несколько членов Королевского общества (чем ещё увеличил свой и без того немалый престиж),

---

[20] Примечания: 20
Перевод А. Гутермана.

не приближая их чрезмерно к собственной особе (что причиняло бы неудобства домашним и подвергало риску животных). Всё это Даниель понял, как только слуга Комстока встретил его у ворот и направил в сторону от усадьбы, через буферную зону садов и пастбищ, к уединенному коттеджу, который выглядел одновременно запущенным и перенаселённым.

По одну сторону простирался огромный скотомогильник, белевший костями собак, кошек, свиней, лошадей и крыс. По другую — пруд, усеянный сломанными моделями кораблей с необычайной оснасткой. Над колодцем висела сложная система блоков; верёвка тянулась от неё через луг к недостроенной повозке. На крыше расположились ветряные мельницы самых невероятных конструкций; одна помещалась над трубой и вращалась от дыма. С каждого сука в окрестности свешивались маятники; верёвки запутались на ветру, образовав рваную философскую паутину. На траве перед домом валялись всевозможные шестерни и колёса, недоделанные или сломанные. Имелось и огромное колесо, в котором человек мог катиться, переступая ногами.

Ко всем стенам и мало-мальски толстым деревьям были приставлены лестницы. На одной из

них стоял грузный светловолосый господин, явно на склоне лет и явно не торопящийся угасать. Господин карабкался по лестнице, держась за неё одной рукой, в скользких кожаных башмаках, для таких занятий отнюдь не приспособленных; всякий раз, когда он ставил ногу на следующую перекладину, лестница отъезжала назад. Даниель кинулся вперёд, схватил лестницу и с опаскою поднял взгляд на колышущиеся телеса преподобного Уилкинса. В свободной руке преподобный держал некий крылатый предмет.

Кстати о крылатых предметах и существах. Даниель почувствовал, что руки ему что-то щекочет, и, опустив глаза, увидел на каждой по пятку пчёл. В эмпирическом ужасе он наблюдал, как одна из них вонзила жало в кожу между большим и указательным пальцами. Даниель закусил губу и посмотрел вверх, пытаясь определить, причинит ли Уилкинсу немедленную смерть, если отпустит лестницу. Ответ был: да. Пчелы уже вились роем, тыкались Даниелю в волосы, проносились между перекладинами лестницы, облаком гудели вокруг Уилкинса.

Достигнув наивысшей точки — и явно испытывая Божье милосердие, — тот выпустил из руки игрушку. Она защёлкала, зажужжала — видимо,

внутри раскручивалась часовая пружина, — и если не полетела, то, во всяком случае, и не упала сразу, а вступила в некое взаимодействие с воздухом. Впрочем, длилось это недолго — пару раз дёрнувшись, механическая птица пошла вниз, врезалась в стену дома и рассыпалась на составные части.

— До Луны на такой не долетишь, — посетовал Уилкинс.

— Мне казалось, на Луну вы собирались лететь из пушки.

Уилкинс похлопал себя по брюху.

— Как видите, во мне слишком много инерции, чтобы мной можно было *куда-либо* из *чего-либо* дострелить. Покуда я не спустился… как вы себя чувствуете, юноша? В жар-холод не бросает? Нигде не вспухло?

— Предвосхищая ваш интерес, доктор Уилкинс, мы с лягушками две ночи провели в эпсомской гостинице. Я чувствую себя как нельзя лучше.

— Превосходно! Мистер Гук истребил всю живность в округе — если бы вы не принесли лягушек, то сами бы стали жертвой вивисекции. — Уилкинс принялся спускаться с лестницы, то и дело промахиваясь ногой мимо перекладин; тучный зад угрожающе навис над Даниелем. Достигнув

наконец твердой земли, доктор бестрепетной рукой отмахнулся от пчёл. Стряхнув несколько летуний с ладоней, натурфилософы обменялись долгим и тёплым рукопожатием. Пчёлы, утратив к ним интерес, унеслись в сторону стеклянного домика.

— Это сделал Рен, идёмте покажу! — воскликнул Уилкинс, вперевалку направляясь за пчёлами.

Стеклянная конструкция представляла собой модель дома с выдутым куполом и хрустальными колоннами. Готическая по архитектуре, она походила на какое-нибудь правительственное здание в Лондоне или на университетский колледж. Двери и окна служили летками. Внутри пчёлы соорудили улей — целый собор сотов.

— При всем уважении к мистеру Рену, я вижу тут смешение архитектурных стилей…

— Что? Где? — вскричал Уилкинс, выискивая в очертаниях свода следы эклектики. — Я его выпорю!

— Виновен не зодчий, а квартиранты. Разве эти крохотные восковые шестиугольники сообразны замыслу архитектора?

— А вам какой из стилей более по душе? — осведомился Уилкинс.

— Э… — протянул Даниель, чувствуя подвох.

— Прежде, нежели вы ответите, позвольте предупредить, что к нам приближается мистер Гук, — шепнул преподобный, кося глазом в сторону.

Даниель обернулся и увидел, как со стороны дома к ним идёт Гук, скрюченный, седой и прозрачный, как загадочные химеры, что иногда мелькают на краю зрения.

— Ему плохо? — спросил Даниель.

— Обычный приступ меланхолии. Некоторая сварливость, вызванная нехваткой доступных представительниц прекрасного пола.

— Вообще-то я хотел спросить, здоров ли он.

Гук, привлечённый кваканьем, метнулся вперёд, схватил корзину и был таков.

— О, Гук вечно выглядит так, будто он последние несколько часов умирал от потери крови, — сказал Уилкинс.

У преподобного был такой понимающий, чуть насмешливый вид, за который ему сходило с рук почти любое высказывание. Вкупе с гениальными тактическими ходами (такими, как женитьба на сестре Кромвеля во времена Междуцарствия) это позволяло ему играючи преодолевать житейские бури гражданских войн и революции. Он

согнулся перед стеклянным пчельником, преувеличенно кривясь от радикулита, и вытащил склянку, в которой набралось почти на два пальца мутновато-бурого меда.

— Как видите, мистер Рен предусмотрел канализацию, — объявил преподобный, вручая теплую склянку Даниелю, после чего направился к дому, Даниель — за ним. — Вы сказали, что два дня провели в добровольном карантине, — значит вы платили за гостиницу, и, следовательно, у вас есть карманные деньги, то есть Дрейк вам их дал. Что вы сообщили ему о цели своего путешествия? Мне надо знать, — извиняющимся тоном добавил Уилкинс, — дабы при случае отписать ему в письме, что вы этим самым тут и занимаетесь.

— Я должен быть в курсе всего самого нового, с Континента или еще откуда, дабы своевременно извещать его обо всех событиях, имеющих отношение к концу света.

Уилкинс погладил невидимую бороду и важно кивнул, потом отступил в сторонку, чтобы Даниель распахнул перед ним дверь. Они оказались в гостиной, где догорал огромный камин. Двумятремя комнатами дальше Гук распинал лягушку на дощечке и время от времени чертыхался, за-

ехав себе по пальцам молотком.

— Может быть, вы сумеете помочь мне с моей книгой.

— Новым изданием «Криптономикона»?

— Типун вам на язык! Я давно забыл это старьё! Написал его четверть века назад. Вспомните, что было за время!.. Король сбрендил, собственные стражники запирали от него арсенал, в парламенте чинили расправу над министрами. Враги короля перехватывали письма, которые его жена-папистка писала за границу, призывая иноземные державы вторгнуться в наши пределы. Хью Питерс вернулся из Салема распалять пуритан, что было несложно, поскольку король, исчерпав казну, захватил всё купеческое золото в Тауэре. Шотландские ковенантеры в Ньюкасле, католический мятеж в Ольстере, внезапные стычки на улицах Лондона — джентльмены хватались за шпаги по поводу и без повода. В Европе не лучше — шёл двадцать пятый год Тридцатилетней войны, волки пожирали детей — только подумать! — на Безансонской дороге, Испания и Португалия раскололись на два королевства, голландцы под шумок прибрали к рукам Малакку… Разумеется, я написал «Криптономикон!». И разумеется, люди его покупали! Но если то была

омега — способ сокрыть знание, обратить свет во тьму, то всеобщий алфавит — альфа. Начало. Рассвет. Свеча во тьме. Я вас заболтал?

— Это что-то похожее на замысел Коменского?

Уилкинс подался вперёд, словно хотел отхлестать Даниеля по щекам.

— Это и есть замысел Коменского! То, что мы с ним и немцами — Хартлибом, Гаком, Киннером, Ольденбургом — хотели сделать, когда создавали Невидимую коллегию[21], давно, в доисторические времена. Однако труды Коменского, как вы знаете, сгорели при пожаре в Моравии.

— Случайно или…

— Отличный вопрос, юноша, — когда речь о Моравии, ничего нельзя знать наверняка. Если бы в сорок первом Коменский послушал меня и согласился возглавить Гарвард…

— Колонисты опередили бы нас на двадцать пять лет!

— Совершенно справедливо. Вместо этого натурфилософия процветает в Оксфорде, отчасти в Кембридже, а Гарвард — убогая дыра.

— А почему он не послушал вашего совета?

— Трагедия центральноевропейских учёных в

---

[21] Примечания: 21
Предшественница Королевского общества. (Прим. автора.)

том, что они вечно пытаются применить философскую хватку к политике.

— В то время как Королевское общество?..

— Строго аполитично. — Уилкинс театрально подмигнул. — Если будем держаться подальше от политики, то уже через несколько поколений сможем запускать крылатые колесницы на Луну. Надо устранить лишь некоторые преграды на пути прогресса.

— Какие же именно?

— Латынь.

— Латынь?! Но она…

— Да, она универсальный язык учёных, богословов и прочих. А как звучна! Скажешь на ней любую галиматью, и ваш брат университетский выученик придёт в восторг или по крайней мере сконфузится. Вот так Папам и удавалось столько веков впаривать людям дурную религию — они просто говорили на латыни. Зато если перевести их замысловатые фразы на философский язык, сразу проявятся противоречия и размытость.

— М-м-м… я бы сказал даже, что на правильном философском языке, когда бы такой существовал, нельзя было бы, не преступая законов грамматики, выразить ложное утверждение.

— Вы только что сформулировали самое крат-

кое из его определений, — весело произнёс Уилкинс. — Уж не вздумалось ли вам со мною соперничать?

— Нет, — торопливо отвечал Даниель, со страху не различивший юмора. — Я лишь рассуждал по аналогии с декартовым анализом, в котором, при чёткой терминологии, любое ложное высказывание будет неправомерным.

— При чёткой терминологии! Вот она, загвоздка! — сказал Уилкинс. — Чтобы записать термины, я сочиняю философский язык и всеобщий алфавит — на котором образованные люди всех рас и народов будут выражать свои мысли.

— Я к вашим услугам, сэр, — промолвил Даниель. — Когда можно приступать?

— Прямо сейчас! Пока Гук не покончил с лягушками — если он придёт и застанет вас без дела, то *закабалит*, как чёрного невольника. Будете разгребать требуху или, что хуже, проверять его часы, стоя перед маятником и считая… колебания… с утра… до самого… вечера.

Подошёл Гук, не только горбатый, но и кособокий, длинные каштановые волосы висели нечёсаными прядями. Он немного выпрямился и задрал голову, так что волосы разошлись, словно занавес, явив бледный лик. Щетина подчерки-

вала худобу запавших щёк, отчего серые глаза казались ещё больше.

Гук сказал:

— Лягушки тоже.

— Меня уже *ничто* не удивляет, мистер Гук.

— Я заключаю, что из них состоят все живые существа.

— А вас не посещает мысль что-нибудь из этого записать? Мистер Гук? Мистер Гук?

Однако Гук уже ушёл на конюшню, ставить какой-то новый эксперимент.

— Из чего состоят??? — спросил Даниель.

— В последнее время, всякий раз, глядя на что-либо через свой микроскоп, мистер Гук обнаруживает, что оно сложено из крохотных ячеек, как стена — из кирпичей, — сообщил Уилкинс.

— И на что же походят эти кирпичи?

— Он не зовет их кирпичами. Не забывайте, они полые. Он решил назвать их клетками… Впрочем, в эту чепуху вам встревать незачем. Идёмте со мной, любезный Даниель. Выбросьте клетки из головы. Чтобы постичь философский язык, вы должны усвоить, что всё на Земле и на Небе можно разделить на сорок различных родов… в каждом из которых, разумеется, есть свои более мелкие категории.

Уилкинс провел его в помещение для слуг, где стояла конторка, а книги и бумаги громоздились бессистемно, словно пчелиные соты. Уилкинс двигался так стремительно, что от поднятого им ветра по комнате запорхали листки. Даниель поймал один и прочёл:

— «Петушье просо, листовник сколопендровый, кандык, гроздовик, взморник, кукушкины слёзы, заразиха, петров крест, ложечница лекарственная, цикламен, камнеломка, заячья капуста, подмаренник, плаун вонючий, цикорий, осот, одуванчик, пастушья сумка, икотник, вербейник, вика».

Уилкинс нетерпеливо кивал.

— Коробочкообразующие травы, не колокольчатые, и ягодоносные вечнозелёные кустарники. Каким-то образом они затесались среди желудеоносных и орехоносных деревьев.

— Так философский язык — своего рода ботанический…

— Гляньте на меня — я содрогаюсь! Содрогаюсь от одной мысли. Даниель, умоляю вас, сосредоточьтесь и вникните. В этом списке у нас все животные от глиста до тигра. Здесь — классификация хворей: от гнойников, чирьев, нарывов, жировиков и коросты до ипохондрической болез-

ни, заворота кишок и удушья.

— Удушье — хворь?

— Превосходный вопрос. За дело — и разрешите его! — прогремел Уилкинс.

Даниель тем временем поднял с пола ещё листок.

— «Палка, женило, ствол…»

— Синонимы слов «срамной уд», — нетерпеливо произнёс Уилкинс.

— «Побирушка, голоштанник, христарадник…»

— Синонимы к слову «нищий». В философском языке будет лишь одно слово для срамных удов, одно слово для нищих. Быстро: Даниель, есть ли разница между тем, чтобы стонать и сетовать?

— Я бы сказал, да, но…

— С другой стороны, можно ли объединить под общим названием коленопреклонение и реверанс?

— Я… я не знаю, доктор!

— Тогда, как я говорю, за работу! Сам же я сейчас увяз в бесконечном отступлении по поводу ковчега.

— Который Завета? Или…

— Другой.

— А он здесь при чём?

— Очевидно, в философском языке должно быть

по одному и только одному слову для каждого типа животных. Каждое обязано отражать классификацию; как названия жерди и бруса должны быть заметно схожи, так и наименования малиновки и дрозда. При этом птичьи термины не должны походить на рыбьи.

— Замысел представляется мне… э… дерзким.

— Пол-Оксфорда шлёт мне нудные перечни. Мое — *наше* — дело их упорядочить, составить таблицу всех птиц и зверей в мире. В таблицу уже занесены животные, которые досаждают другим животным: блоха, вошь. Предназначенные к дальнейшим метаморфозам: гусеница, личинка. Однорогие панцирные крылатые насекомые. Скорлупчатые конусообразные бескровные твари, и (предвосхищая ваш вопрос) я разделил их на спиральнозавитых и всех прочих. Чешуйчатые речные рыбы, травоядные длиннокрылые птицы, плотоядные котообразные звери — так или иначе, когда я составил все перечни и таблицы, мне стало ясно (возвращаясь к «Книге Бытия», глава шестая, стихи пятнадцатый — двадцать второй), что Ной каким-то образом затолкал этих тварей в посудину из дерева гофер длиной триста локтей! Я испугался, что некоторые *континентальные* учёные, склонные к *афеизму*, способны

злоупотребить моими словами и обратить их в доказательство того, что события, описанные в Книге Бытия, якобы не могли произойти.

— Рискну даже предположить, что некие иезуиты направят их против вас — как свидетельство ваших будто бы афеистических воззрений, доктор Уилкинс.

— Истинная правда, Даниель! Посему совершенно необходимо приложить, отдельной главою, полный план Ноева Ковчега и показать не только, где размещалось каждое животное, но и где хранился фураж для травоядных, где стоял скот для хищников и где хранился фураж, которым кормили жвачных, пока их не съедят хищники.

— Еще нужна была пресная вода, — задумчиво произнёс Даниель.

Уилкинс, который имел обыкновение, говоря, наступать на собеседника, покуда тот не начинал пятиться, схватил кипу бумаг и огрел Даниеля по голове.

— Читайте Библию, неуч! Дождь шёл без остановки!

— Конечно, конечно, они могли пить дождевую воду, — проговорил совершенно раздавленный Даниель.

— Мне пришлось несколько вольно обойтись с мерой «локоть», — заговорщицки поведал Уилкинс, — но я думаю, Ною должно было хватить восьмисот двадцати пяти овец. Я имею в виду, чтобы кормить хищников.

— Овцы занимали целую палубу?!

— Дело не в пространстве, которое они занимали, а в навозе, который надо было выгребать за борт — представьте, какая это работа!.. Так или иначе, вы понимаете, что история с Ковчегом надолго застопорила создание философского языка. А вас я попрошу перейти к оскорбительным выражениям.

— Сэр!

— Не задевает ли вас, Даниель, когда ваш брат-лондонец бросается такими словами, как «гнусный подлец», «жалкое ничтожество», «хитрый пройдоха», «праздный бездельник» или «льстивый угодник»?

— Смотря кто кого так обозвал…

— Попробую проще: «развратная шлюха».

— Это тавтология и потому оскорбляет просвещённый слух.

— «Безмозглый фат».

— Тоже тавтология, как «льстивый угодник» и всё прочее.

— Итак, очевидно, что в философском языке не потребуются отдельные имена прилагательные и существительные для подобных понятий.

— Как вам «грязный неряха»?

— Превосходно! Запишите это, Даниель!

— «Беспутный повеса», «язвительный зубоскал», «вероломный предатель»... — Покуда Даниель продолжал в том же духе, Уилкинс подскочил к конторке, вынул из чернильницы перо, стряхнул избыток чернил и, вложив перо в руку Даниеля, подвёл того к чистому листу.

Итак, за работу. В несколько коротких часов Даниель исчерпал оскорбительные выражения и перешёл к добродетелям (умственным, естественным и христианским), цветам, звукам, вкусам и запахам, занятиям (например, плотничеству, шитью, алхимии) и так далее. Дни проходили за днями. Уилкинсу надоедало, когда Даниель (или кто-то ещё) слишком много работает, поэтому они часто устраивали «семинары» и «симпозиумы» на кухне — варили флип из мёда, которым учёных исправно снабжал готический апиарий Рена. Чарльз Комсток, пятнадцатилетний сын их высокородного хозяина, заходил послушать Уилкинса и Гука. Как правило, он приносил с собой письма Королевскому обществу от Гюйгенса,

Левенгука, Сваммердама, Спинозы. Нередко в письмах содержались новые понятия, и Даниелю приходилось втискивать их в таблицы философского языка.

Даниель прилежно составлял перечень предметов, которыми человек может владеть (акведуки, дворцы, тележные оси, дверные петли и так далее), когда Уилкинс срочно позвал его вниз. Юноша спустился на первый этаж и увидел, что преподобный держит в руках внушительного вида письмо, а Чарльз Комсток расчищает стол: скатывает в рулоны чертежи Ковчега и расписания кормлений для восьмисот двадцати пяти овец, освобождая место для более важных занятий. Карл II, милостью Божьей король Англии, прислал им письмо. Его величество заметил, что муравьиные яйца больше самих муравьев, и любопытствовал, как такое возможно.

Даниель сбегал и разорил муравейник. Он вернулся, победно неся на лопате сердцевину муравьиной кучи. В гостиной Уилкинс диктовал, а Чарльз Комсток записывал письмо королю — не содержательную часть (ответа они пока не знали), а долгие вступительные абзацы обильной лести. «Сияние Вашего ума озаряет чертоги, дотоле… э… прозябавшие в… э…»

— Звучит скорее как намек на Короля-Солнце, — предупредил Чарльз.

— Так вымарывай! Умён, хвалю. Теперь читай ещё раз, что получилось.

Даниель замер перед лабораторией Гука, собираясь с духом, чтобы постучать. Однако Гук уже услышал шаги и сам распахнул дверь. Он поманил Даниеля внутрь и указал на заляпанный стол, расчищенный для работы. Юноша вошёл, сгрузил муравьиную кучу, поставил лопату и лишь затем отважился вдохнуть. В лаборатории пахло совсем не так дурно, как он опасался.

Гук двумя руками убрал волосы с лица и стянул на затылке бечёвкой. Даниель не переставал удивляться, что тот лишь на десять лет его старше. Гуку стукнуло тридцать несколько недель назад, в июне, примерно тогда же, когда Исаак с Даниелем сбежали из чумного Кембриджа и разъехались по домам.

Сейчас Гук смотрел на кучу грязи. Взгляд его всегда был устремлён в одну точку, словно он смотрит на мир через тростинку. На улице или даже в гостиной это казалось странным, но обретало смысл, когда Гук, как сейчас, созерцал крохотный мир на столе. Муравьи бегали туда-сюда, выносили яйца из разрушенного жилища,

устанавливали оборонительный периметр. Даниель стоял напротив и смотрел туда же, куда и Гук, однако явно видел не то же самое.

Через две минуты Даниель разглядел всё, что мог, через пять ему стало скучно, через десять он бросил притворяться, будто изучает муравьев, и принялся расхаживать по лаборатории, глазея на останки всего, что когда-либо побывало под микроскопом: осколки пористого камня, клочки плесневелой сапожной кожи, склянку с этикеткой «моча Уилкинса», кусочки окаменелого дерева, бесчисленные пакетики с семенами, насекомых в банках, клочки всевозможных тканей, крохотные горшочки, подписанные «зубы улитки» или «гадючье жало». В углу валялись ржавые ножи, бритвы, иголки. Повод для злой остроты: если дать Гуку бритву, он скорее положит её под микроскоп, чем побреется.

Ожидание затягивалось, и Даниель решил, что может с тем же успехом пополнить своё образование. Он осторожно потянулся к груде колющих и режущих инструментов, вытащил иголку и пошёл к столу, на который падал яркий свет из окна (Гук захватил все южные комнаты, поскольку нуждался в хорошем освещении). Здесь, на подставке, размещалась трубка размером со

свёрнутый лист писчей бумаги, с линзой наверху, чтобы смотреть, и другой, совсем маленькой, не больше куриного глаза, внизу, над ярко освещенным предметным столиком. Даниель положил на него иглу и заглянул в окуляр.

Он ожидал увидеть блестящий зеркальный стержень, но увидел изъеденную дубинку. Острие походило на кучу шлака.

— Мистер Уотерхауз, — сказал Гук, — когда вы закончите, чем там занимаетесь, я хотел бы справиться с моим верным Меркурием.

Даниель обернулся. В первый миг он подумал, что Гук просит принести ртуть (которую время от времени пил как средство от мигрени, головокружений и прочих недомоганий). Однако огромные глаза Гука были устремлены на микроскоп.

— Разумеется! — воскликнул Даниель. Меркурий, вестник богов, податель знания.

— И что вы теперь думаете об иголках? — спросил Гук.

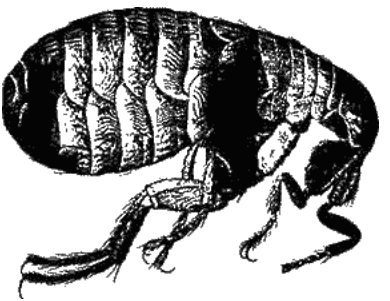
Даниель взял иглу и подошёл к окну, глядя на неё в совершенно новом свете.

— Она выглядит почти отталкивающей, — ответил он.

— Бритва еще хуже. Формы любые, кроме желаемой, — сказал Гук. — Вот почему я больше не

смотрю в микроскоп на изделия человеческих рук — грубость и неумелость искусства терзает взор. То же, что должно, казалось бы, отвращать, при увеличении оказывается прекрасным. Можете взглянуть на мои рисунки, пока я буду удовлетворять любознательность короля. — Гук указал на кипу бумаг, а сам понес муравьиное яйцо под микроскоп.

Даниель принялся перебирать рисунки.



— Сэр, я и не знал, что вы — художник, — сказал он.

— Когда умер мой отец, меня отдали в ученье к живописцу.

— Ваш наставник хорошо вас научил.

— Этот осёл не научил меня *ничему*. Всякий, если он не полный болван, может научиться ри-

совать, просто глядя на картины. Так зачем идти в подмастерья?

— Ваша блоха — великолепнейшее творение…

— Это не искусство, а лишь более высокая форма пачкотни, — возразил Гук. — Когда я смотрел на блоху под микроскопом, я видел в её глазу полное и совершенное отражение садов и усадьбы — розы на кустах, колыхание занавесей на окнах.

— По мне, рисунок прекрасен, — произнес Даниель. Он говорил от души, не пытаясь быть льстивым угодником или хитрым пройдохой.

Однако Гук только рассердился.

— Скажу вам еще раз: истинную красоту нужно искать в природе! Чем сильнее мы увеличиваем, чем пристальнее вглядываемся в творения искусства, тем грубее и глупее они кажутся. Когда же мы увеличиваем естественный мир, он становится лишь сложнее и превосходнее.

Уилкинс спрашивал Даниеля, что тот предпочитает: стеклянный улей Рена или пчелиные соты внутри. Потом предупредил, что подходит Гук. Теперь Даниель понял почему: для Гука существовал только один ответ.

— Склоняюсь перед вашим мнением, сэр.

— Спасибо, сэр.

— Не желая показаться каверзным иезуитом, всё же спрошу: моча Уилкинса — творение Природы или искусства?

— Вы видели склянку.

— Да.

— Если взять мочу преподобного, слить жидкость и посмотреть осадок под микроскопом, вам предстанет груда самоцветов, от которых лишился бы чувств Великий Могол. При малом увеличении она кажется кучкой щебня, но если взять линзы помощнее и получше осветить, вы узрите гору кристаллов — пластинок, ромбоидов, прямоугольников, квадратов, — белых, жёлтых и красных, сверкающих, подобно алмазам на перстне царедворца.

— И такова же моча всех остальных людей?

— Его — в большей мере, чем у большинства, — сказал Гук. — У доктора камень.

— О Господи!

— Пока всё не так плохо, но камень увеличивается и через несколько лет сведёт его в могилу, — сказал Гук.

— И камень в мочевом пузыре состоит из тех же кристаллов, что вы видели в моче?

— Полагаю, да.

— Есть ли способ…

— Растворить их? Купоросное масло[22] растворяет — но не думаю, что преподобный согласится влить его в свой мочевой пузырь. Никто не препятствует вам провести собственные изыскания. Всё *очевидное* я уже перепробовал.

Пришла весть, что умер Ферма, оставив после себя недоказанную теорему-другую. Король испанский Филипп тоже умер, и на трон вступил его сын; однако молодой Карл II был таким болезненным, что ему давали срок от силы до конца года. Португалия обрела независимость. В Польше некий князь Любомирский поднял мятеж.

Джон Уилкинс пытался улучшить конные экипажи; чтобы их испытать, он подвешивал над колодцем груз, который, опускаясь вниз, тянул за собой повозку. Скорость измеряли при помощи туковых часов. Обязанность эта лежала на Чарльзе Комстоке; он проводил на лугу целые дни, засекая время или чиня сломанные колёса. Слугам его отца надо было набирать воду, поэтому Чарльза частенько просили убрать помехи от колодца. Даниель забавлялся этим зрелищем

[22] Примечания: 22

Концентрированная серная кислота. Название происходит от старого способа получения — прокаливанием железного купороса или так называемого купоросного камня, а также от консистенции, напоминающей растительное масло. (Прим. перев.)

через окно, составляя список казней.

КАЗНИ СМЕРТНЫЯ

СИРЕЧЬ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ЛИШЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЖИЗНИ ЗАКОННЫМ ПУТЁМ, КАКОВЫЕ У НЕКОТОРЫХ НАРОДОВ СУТЬ ИЛИ БЫЛИ ЛИБО ПРОСТЫМИ, ЧЕРЕЗ

Отделение членов, как то:
головы от тела: ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЕ, отсечение головы
членов от членов: ЧЕТВЕРТОВАНИЕ, разрубание на части

Нанесение ран
с расстояния, либо
рукой: ПОБИВАНИЕ КАМНЯМИ
посредством орудия, такого как ружьё, лук и проч.: РАССТРЕЛИВАНИЕ
с близи, посредством
веса, как то:
чего-либо другого: РАЗДАВЛИВАНИЕ
собственного:
СБРАСЫВАНИЕ С ВЫСОКОГО МЕСТА, ИЗ ОКНА
орудия, как то:
в любом направлении: ЗАКОЛАНИЕ

снизу вверх: НАСАЖИВАНИЕ НА КОЛ

оставлением без пищи либо даванием чего-либо вредного
УМАРИВАНИЕ ГОЛОДОМ
ОТРАВЛЕНИЕ, отрава, яд

Преграждением доступа воздуха
через рот
в воздухе: УДУШЕНИЕ
в земле: ПОГРЕБЕНИЕ ЗАЖИВО
в воде: УТОПЛЕНИЕ
в огне: СОЖЖЕНИЕ
через горло
весом собственного тела казнимого: ПОВЕШЕНИЕ
усилиями других: УДАВЛИВАНИЕ, удушение

СОВМЕСТНЫМ ПРИЧИНЕНИЕМ РАН И ЛИШЕНИЕМ ПИЩИ, ПРИ КОТОРОМ ТЕЛО
расположено вертикально: РАСПЯТИЕ
лежит на колесе: КОЛЕСОВАНИЕ

КАЗНИ (НАКАЗАНИЯ) НЕСМЕРТНЫЯ

РАЗЛИЧАЕМЫЕ ПО ТОМУ, ЧЕМУ В НИХ НАНОСИТСЯ УРОН, как то:

ТЕЛУ

по общему названию, означающему сильную боль: ИСТЯЗАНИЕ, мученье

по родам:

посредством ударов;

гибким орудием: ПОРКА, бичевание, стегание, хлестание, кнут, поза, плеть, прут, розга, хлыст

твёрдым орудием: БИТЬЁ ДУБИНОЙ, бастонадо, заушение, палка, трость

посредством сильного растяжения членов: ДЫБА

СВОБОДЕ, КОТОРОЙ НАКАЗУЕМЫЙ ЛИШАЕТСЯ ПУТЁМ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

внутри

места: ЗАТОЧЕНИЕ, заключение под стражу, застенок, каземат, острог, темница, тюрьма, узилище

орудий: УЗЫ, вервия, кандалы ножные и ручные, колодки, цепи, оковы, путы

из места либо страны, как то:

в любую другую: ИЗГНАНИЕ, высылка, остракизм

в определенное место: ССЫЛКА

РЕПУТАЦИИ, КАК ТО:

более мягко: УНИЖЕНИЕ, позорный столб

более сурово, путём прижигания калёным железом: КЛЕЙМЕНИЕ

СОСТОЯНИЮ, КАК ТО:

частично: ШТРАФ, взыскание, пеня

целиком: КОНФИСКАЦИЯ, изъятие

ДОСТОИНСТВУ И ВЛАСТИ

отрешением от должности или сана: РАЗЖАЛОВАНИЕ, отставка, увольнение, запрещение в служении, смещение, свержение, низложение

поражением в правах: ЛИШЕНИЕ ДЕЕ(ПРАВО)СПОСОБНОСТИ, гражданских прав и привилегии.

Покуда Даниель бичевал, истязал и вздёргивал на дыбу свой мозг, силясь придумать казнь, которую они с Уилкинсом ещё не вспомнили, он услышал, как Гук на первом этаже высекает огонь кремнём об огниво, и пошел узнать, что там происходит.

Гук высекал искры над листом бумаги.

— Отмечайте, куда они падают, — распорядился он.

Даниель взял перо, склонился над бумагой и принялся обводить те места, куда падали особен-

но большие искры. Потом они осмотрели бумагу под микроскопом и обнаружили в центре каждого кружка более или менее правильную сферу, по всей видимости, стальную.

— Вы видите, что алхимическая концепция жара нелепа, — сказал Гук. — Нет никакой стихии огня. Жар — всего лишь краткое возбуждение частиц тела. Ударьте камнем о сталь посильнее — отлетит кусочек стали…

— И будет искрой?

— Да.

— Но почему искра светится?

— Сила удара возбуждает её частицы столь сильно, что сталь плавится.

— Да, но коли ваша гипотеза верна — коли нет стихии огня, лишь движение частиц, — то почему раскалённая материя излучает свет?

— Думаю, что свет — это колебания. Если частицы движутся достаточно сильно, они испускают свет, как вибрирующий от удара колокол издаёт звук.

Даниель думал, что разговор окончен, пока однажды не пошел с Гуком к реке ловить водных насекомых. Они присели на корточки у того места, где ручей, переливаясь через камень, стекал в озерцо. Пузырьки воздуха, затянутые струями

под воду, всплывали на поверхность: мириады крошечных сфер. Гук заметил это, задумался и через несколько минут сказал:

— Планеты и звёзды сферичны потому же, почему искры и пузыри.

— Что?!

— Жидкое тело, окружённое другой жидкостью, принимает сферическую форму. Так, воздух, окружённый водой, принимает форму сферы, которую мы зовем пузырьком. Капелька расплавленной стали, окружённая воздухом, принимает форму сферы, которую мы зовём искрой. Земной расплав, окружённый небесным эфиром, принимает форму сферы, которую мы называем планетой.

По пути назад, когда они смотрели на ущербную луну, Гук сказал:

— Если бы мы получили искру или вспышку столь яркую, что она отразилась бы от затенённой стороны Луны, то измерили бы скорость света.

— Если делать это при помощи пороха, — задумчиво произнёс Даниель, — Джон Комсток охотно поддержит эксперимент.

Гук, обернувшись, несколько мгновений холодно созерцал его, словно пытаясь определить, состоит ли и Даниель из клеток, потом изрек:

— Вы говорите как придворный.

В этих словах не было ни досады, ни осуждения, только констатация факта.

Главным назначением вышепомянутого клуба было распространять новые причуды, способствовать механическим экзерсисам и проводить опыты как полезные, так и совершенно никчёмные. Дабы исполнить сие достойное начинание, всякого спятившего художника либо аптекаря, всякого сумасбродного прожектёра, которому пришла в голову какая-либо блажь или вздумалось, будто он совершил некое чудное открытие, встречали с распростёртыми объятиями и радостно принимали в общество, где члены почитались не за родовитость, а за проникновение в тайны природы либо за новшества, ими изобретённые, пусть даже самые распустячные. Итак, безумец, дни и ночи корпящий над горном в поисках философского камня, или полоумный врач, растративший отцовское наследство в тщетных попытках получить панацею, Sal Graminis[23] *из жжёной*

[23] Примечания: 23
Травяная соль (*лат.*).

соломы, были здесь в изрядной чести, как и те механикусы из числа знатных особ, что дни напролёт просиживают на чердаках, обтачивая слоновью кость, покуда их благоверные при помощи кузенов добывают мужьям рога.

Нед Уорд, «Клуб любознатца»

Листья желтели, в Лондоне чума свирепствовала пуще прежнего. В одну неделю умерло восемь тысяч человек. Неподалёку, в Эпсоме, Уилкинс покончил с Ковчегом и начал составлять для философского языка грамматику и систему письма. Даниель закончил кое-какую мелочевку, а именно — предметы, до морского дела относящиеся: ванты и выбленки, бейфуты и бык-гордени, кнехты и кабаляринги.

Снизу доносилось странное треньканье, словно кто-то бесконечно настраивает лютню. Даниель спустился и увидел, что Гук дергает струну, натянутую на деревянный ящик, а из уха у него торчит перо. Гуку случалось заниматься и более странными вещами, поэтому Даниель, ничуть не удивясь, вернулся к работе: поискам состава, который растворил бы мочевой гравий Уилкинса. Гук по-прежнему тренькал и гудел. Наконец Даниель не выдержал и пошёл выяснять, чем

тот занят.

На пере, торчащем из Гукова уха, сидел овод. Даниель попытался его согнать. Насекомое дёрнулось, но не взлетело. Всмотревшись, Даниель понял, что оно приклеено.

— Давайте ещё раз, это меняет тон, — потребовал Гук.

— Вы слышите трепетание крылышек?

— Оно звучит на одной определённой ноте. Если я настраиваю струну — *трень, трень* — на ту же ноту, то, значит, крылышки и струна колеблются с одной частотой. Мне известно, как определить частоту колебаний струны, следовательно, я знаю, сколько раз за секунду трепещут крылышки овода. Полезно для строительства летающей машины.

От осенних дождей поле развезло, и опыты с колясками пришлось оставить. Чарльзу Комстоку следовало искать другое занятие. Он недавно поступил в Кембридж, но университет закрылся на время чумы. Уилкинс должен был учить его натурфилософии за то, что живёт в Эпсоме, однако учеба состояла по большей части в чёрной работе, которая требовалась для различных опытов Уилкинса. Теперь, когда погода испортилась, опыты переместились в подвал коттеджа. Уил-

кинс посадил жабу в стеклянную банку и морил голодом, проверяя, выведутся ли из неё новые жабы. Ещё был карп, который жил без воды; его кормили размоченным хлебом, а Чарльз должен был несколько раз в день смачивать рыбине плавники. Королевский вопрос про муравьев сподвигнул Уилкинса на опыт, который тот давно собирался поставить; теперь в подвале между голодной жабой и карпом появилась личинка размером с человеческую ляжку; её надлежало кормить тухлым мясом и раз в день взвешивать. Личинка начала приванивать, и её переместили в сарай, где Уилкинс ставил опыты по зарождению мух, червей и проч. в испорченном мясе, сыре и других субстанциях. Все знали или думали, будто знают, что это происходит самопроизвольно. Гук, разглядывая под микроскопом нижнюю сторону некоторых листьев, обнаружил на них точечки, которые затем развились в насекомых, а в воде — крохотные комариные яйца. Это навело его на мысль, что в воздухе и в воде полно невидимых глазу зародышей и семян, которые начинают развиваться, попав на что-нибудь мягкое и гниющее.

Время от времени повозке или карете разрешали проехать в ворота и к господскому дому. С

одной стороны, приятно было сознавать, что в Англии остался кто-то живой, с другой стороны…

— Что за безумец разъезжает в разгар чумы, — спросил Даниель, — и зачем Джон Комсток пускает его в дом? Этот шаромыжник всех нас перезаразит.

— Джону Комстоку так же невозможно обойтись без встреч с этим человеком, как и воздержаться от воздуха, — отвечал Уилкинс, с безопасного расстояния наблюдая за каретой в подзорную трубу. — Это денежный поверенный.

Даниель никогда прежде не слышал такого слова.

— Я покамест не дошёл до того места таблиц, где определяется «денежный поверенный». Он делает то же, что златокузнец?

— Куёт золото? Нет.

— Разумеется, нет. Я о том, чем златокузнецы занялись в последнее время — оборотом бумаг, которые служат взамен денег.

— Такой человек, как граф Эпсомский, не подпустил бы златокузнеца и на милю к своему дому! — возмущенно проговорил Уилкинс. — Денежный поверенный — совершенно другое дело! Хоть и делает примерно то же самое.

— Не растолкуете ли попонятней? — спросил

Даниель, но тут Гук из другой комнаты крикнул:

— Даниель! Раздобудьте пушку!

В другом месте исполнить эту просьбу было бы весьма затруднительно. Однако они жили в поместье человека, который производил порох и снабжал короля Карла II значительной частью вооружений. Поэтому Даниель пошёл и завербовал его сына, юного Чарльза Комстока, а тот, в свою очередь, рекрутировал отряд слуг и несколько лошадей. Они вытащили полевое орудие из личного хозяйского арсенала на поле перед коттеджем. Тем временем Гук распорядился привести из города некоего слугу, глухого как пень, и велел ему стать в ярде от пушки (правда, сбоку!). Чарльз умело зарядил пушку лучшим отцовским порохом, вставил в запальное отверстие фитиль, поджёг его и отбежал. Результатом стало внезапное сильное сжатие воздуха, которое, по расчётам Гука, должно было проникнуть в череп слуги и выбить скрытую преграду, ставшую причиной глухоты. В усадьбе Джона Комстока вылетели несколько стёкол, что подтвердило правильность исходной посылки. Глухого, правда, исцелить не удалось.

— Как вам известно, сейчас в моем доме проживает немало людей из города, — сказал Джон

Комсток, граф Эпсомский и лорд-канцлер Англии.

Он вошёл внезапно и без предупреждения. Уилкинс и Гук наперебой пытались докричаться до глухого и понять, слышит ли тот хоть что-нибудь. Даниель первым заметил посетителя и присоединился к общему ору:

— Простите! Господа! ПРЕПОДОБНЫЙ УИЛКИНС!

После недолго замешательства, смущения и торопливых вежливых фраз Уилкинс и Комсток уселись за стол с бокалами кларета. Гук, Уотерхауз и глухой слуга тем временем подпирали спинами ближайшую стену.

Комстоку было под шестьдесят. У себя в усадьбе он обходился без париков и прочего придворного фатовства; его седые волосы были заплетены в косицу, а плечи облекал простой охотничий наряд.

— В год моего рождения основали Джемстаун, пилигримы бежали в Лейден, и началась работа над Библией короля Якова. Я пережил различные лондонские бунты и беспорядки, моровые поветрия и пороховые заговоры. Я спасался из горящих зданий. Был ранен при Ньюарке и с определёнными тяготами достиг Парижа. Я присутствовал при коронации его величества в Сконе, в изгнании,

и при его торжественном вступлении в Лондон. Я убивал людей. Всё это вам известно, доктор Уилкинс. Я говорю не из хвастовства, но чтобы подчеркнуть: *живи я уединённо* в большом доме, вы могли бы устраивать канонады и взрывы в любой час дня или ночи без предупреждения или сложить груду тухлого мяса в пять саженей высотой под окнами моей спальни — *нимало меня тем не обеспокоив*. Однако сейчас в моем доме проживает множество знатных персон. Часть из них — *королевской* крови. Многие принадлежат к слабому полу, а некоторые ещё и *малы летами*. Две из них — всё разом.

— Милорд! — вскричал Уилкинс. Даниель внимательно наблюдал за преподобным — да и кто бы не наблюдал на его месте? Когда такой человек, как Комсток, распекает такого человека, как Уилкинс, это почище медвежьей травли в Саутуорке. До сей минуты Уилкинс изображал стыд, причём очень правдоподобно. Сейчас он по-настоящему устыдился.

Две из них — всё разом. Что бы это могло означать? Кто разом королевского рода, принадлежит к слабому полу и мал летами? У Карла II дочерей нет, по крайней мере законных. Елизавета, Зимняя королева, наплодила великое множество

принцев и принцесс, но вряд ли бы кто-нибудь из них собрался в чумную Англию.

Комсток продолжал:

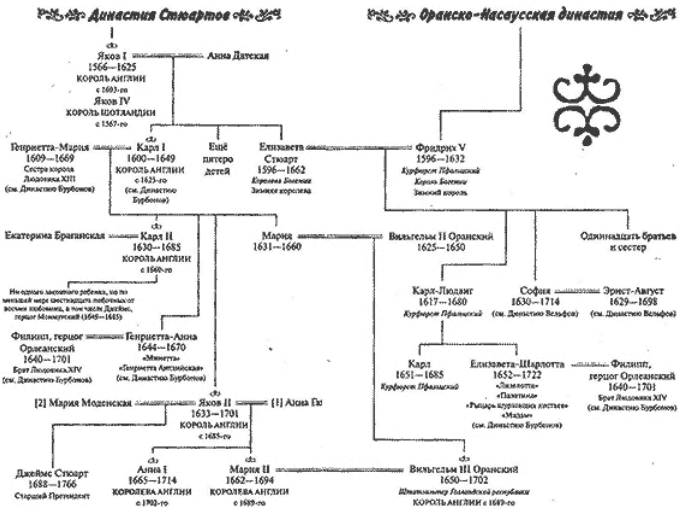
— Эти особы прибыли сюда в поисках убежища, они напуганы чумой и прочими ужасами, в том числе угрозой голландского вторжения. Сильное сжатие воздуха, которое мы с вами можем считать возможным средством от глухоты, воспринимается ими совершенно иначе.

Уилкинс ответил что-то страшно умное и уместное, а в последующие несколько дней усиленно извинялся и раболепствовал перед каждой благородной особой, чьи слух и обоняние оскорбили недавние опыты. Гуку он велел мастерить заводные игрушки для августейших девочек. Тем временем Даниель и Чарльз Комсток должны были свернуть все дурнопахнущие эксперименты, достойно похоронить останки и вообще навести вокруг чистоту.

Даниелю пришлось несколько дней смотреть из-за забора на щеголей и щеголих, разбирать гербы на каретах и копаться в генеалогиях различных семейств, чтобы дойти до того, что Уилкинс понял с полуслова и полудвижения брови их высокородного хозяина.

Рядом с домом Комстока был разбит регуляр-

ный сад, куда по понятным причинам натурфилософов не пускали. Там прогуливались особы, расфранчённые на французский лад. Само по себе это было не примечательно: для некоторых людей прохаживаться по саду — такая же каждодневная работа, как для конюхов — выгребать навоз. Издали они все были на одно лицо, по крайней мере для Даниеля. Уилкинс, более искушённый в придворной жизни, время от времени смотрел на них в подзорную трубу. Подобно тому, как мореходец, чтобы сориентироваться в ночи, первым делом отыскивает Большую Медведицу, самое большое и яркое из созвездий, так и доктор Уилкинс для начала направлял стекло на одну определённую даму, что было несложно, поскольку она в обхвате вдвое превосходила остальных. Много фарлонгов разноцветных тканей пошло на её юбки, заметные издали, как французский полковой штандарт. Время от времени из дома выходил светловолосый господин и прогуливался с нею, словно луна, сопутствующая планете на небесных путях. Издали он казался Даниелю похожим на Исаака.



Даниель не знал, кто это, и боялся спросить, стыдясь своего невежества. Но однажды из Лондона прибыли кареты, из которых вышли несколько господ в адмиральских шляпах. Все сразу подошли к тому самому человеку, хотя прежде сняли шляпы и склонились в низком поклоне.

— Этот светловолосый, что гуляет по саду под

руку с Большой Медведицей, уж не герцог ли Йоркский?

— Он самый, — отвечал Уилкинс. Доктор смотрел, затаив дыхание; на широко открытом глазу, устремленном в окуляр, лежали зеленоватые отсветы.

— И Верховный адмирал, — продолжал Даниель.

— У него много титулов, — ровным и спокойным тоном произнёс Уилкинс.

— Так эти в шляпах…

— Адмиралтейство, — коротко ответил Уилкинс, — или некая его часть. — Он отпрянул от трубы. Даниелю подумалось, что доктор приглашает его взглянуть, но нет: Уилкинс снял трубу с развилки дерева и сложил. Вероятно, Даниель увидел то, чего, по мнению Уилкинса, ему видеть не подобало.

Англия воевала с Голландией. Из-за чумы война поутихла, и Даниель начисто про неё забыл. Сейчас стояла зима. С наступлением холодов эпидемия пошла на убыль. Военные действия на море могли возобновиться не раньше весны, однако планировать кампанию следовало сейчас. Неудивительно, что Адмиралтейство прибыло на встречу с Верховным адмиралом, — удивитель-

нее ему было бы не прибыть. Изумляло другое — какая Уилкинсу печаль, если он, Даниель, что-то увидел. Реставрация и вавилонское пленение в Кембридже убедили его в полном собственном ничтожестве, за исключением разве что области натурфилософской; впрочем, с каждым днём становилось всё яснее, что и здесь он полнейший ноль в сравнении с Гуком и Реном. Велика ли важность, если Даниель приметил флотилию адмиралов и заключил, что у Джона Комстока нашёл приют Джеймс, герцог Йоркский, брат Карла II и ближайший наследник трона?

Должно быть (заключил Даниель, шагая по облетевшему саду рядом с хмурым Уилкинсом), дело в том, что он — сын Дрейка. И хотя Дрейк — бывший застрельщик разгромленной и униженной секты — безвылазно сидит у себя дома, *кто-то* по-прежнему его опасается.

А коли не самого Дрейка, то его секты.

Однако секта распалась на тысячи клик и группировок. Кромвель в могиле, Дрейк — стар, Грегори Болструд казнён, его сын Нотт бежал на чужбину…

Остается одно. Они страшатся Даниеля.

— Что вас так насмешило? — спросил Уилкинс.

— Люди, — отвечал Даниель, — и то, что порою

происходит у них в голове.

— Полагаю, вы это не обо *мне*?!

— Полноте, я не стал бы насмехаться над вышестоящими.

— И кто же, позвольте спросить, в этом поместье не выше вас?

Вопрос был трудный, и Даниель не ответил. Уилкинса его молчание, кажется, встревожило ещё больше.

— Я забыл, что вы — фанатик по рождению и воспитанию. — Что значило: «Вы не признаёте никого над собой, ведь так?»

— Напротив, я вижу, что вы никогда этого не забудете.

Однако мысли Уилкинса уже приняли новый оборот. Словно адмирал, лавирующий против ветра, он произвел некий ловкий манёвр и, после мгновенного замешательства, лёг на совершенно другой галс.

— Дама, которую вы видели, прежде звалась Анна Гайд. Она близкая родственница Комстока, то есть далёко не из простых. Однако недостаточно родовита для супруги герцога Йоркского. И всё же чересчур знатна, чтобы сбыть её с рук в какой-нибудь европейский монастырь, да и слишком тучна для столь дальнего путешествия.

Она родила ему двух дочерей: Марию, затем Анну. Герцог в конце концов с нею обвенчался, хоть и не без труда. Поскольку Мария или Анна могут со временем унаследовать трон, этот брак стал вопросом государственной важности. Многих придворных уговорами, деньгами или угрозами заставили поклясться на стопке Библий, что они имели Анну Гайд сверху и снизу, на Британских островах и во Франции, в Нидерландах и на Шотландских нагорьях, в городах и весях, на кораблях и во дворцах, в постелях и в подвесных койках, в кустах, на клумбах, в отхожих местах и на чердаках, имели её пьяной и трезвой, поодиночке или всем скопом, сзади, спереди и с обоих боков, днём, ночью, во все фазы Луны и под всеми знаками Зодиака, а кроме того, доподлинно знают, что всё остальное время несчётное количество кузнецов, бродяг, французских жиголо, иезуитов, комедиантов, цирюльников и шорников предавались с ней подобным утехам. Тем не менее герцог Йоркский взял её за себя и запер в Сент-Джеймском дворце, где она разжирела, как некое энтомологическое диво в нашем подвале.

Разумеется, Даниель слышал много подобного дома — от людей, ищущих милости у Дрейка, отчего возникло странное впечатление, будто

Уилкинс заискивает перед *ним*. Безусловно, совершенно ложное, поскольку Даниель не обладал ни властью, ни влиянием, ни перспективой когда-нибудь их заполучить.

Более правдоподобным представлялось другое объяснение: Уилкинс не боится Даниеля, а жалеет и пытается оградить от лишних опасностей, обучая, как жить в свете.

Если так, Даниелю следовало по меньшей мере усвоить урок, который Уилкинс пытался ему преподать. Принцессам, Марии и Анне, шёл соответственно четвёртый и второй год. Поскольку их мать — родственница Джона Комстока, им было естественно укрыться в его доме. Что объясняло слова графа: «Две из них — всё разом». Королевского рода, женского пола и малолетки.

Из-за тягостных ограничений, которые наложил на учёные изыскания хозяин поместья, пришлось провести длительный симпозиум на кухне. Уилкинс и Гук диктовали, а Даниель постепенно слабеющей рукой вел перечень опытов не шумных и не вонючих, но (с каждым часом) всё более причудливых. Гук поручил Даниелю чинить «сжимательную машину» — цилиндр с поршнем для сжатия и разрежения воздуха. Он считал, что воздух содержит некую субстанцию,

поддерживающую жизнь и огонь; когда субстанция исчерпывается, они угасают. По этому поводу провели целый ряд опытов. В закупоренную стеклянную банку поместили мышь и горящую свечу и стали смотреть, что будет (свеча прожила дольше). Потом взяли большой бычий пузырь и, поднося его ко рту, поочерёдно дышали одним и тем же воздухом. Гук при помощи своей машины откачал воздух из стеклянного сосуда и заставил маятник колебаться в вакууме, а Чарльза — считать колебания. В первую же ясную зимнюю ночь Гук вынес на улицу телескоп и стал наблюдать Марс; он обнаружил на поверхности планеты тёмные и светлые пятна и с тех пор принялся следить за их смещением, чтобы определить длину марсианских суток. Он засадил Даниеля и Чарльза за шлифовку более мощных линз, а заодно выписал новые у Спинозы из Амстердама; потом все по очереди высматривали всё более мелкие детали лунной поверхности. И снова Гук видел то, чего не видел Даниель.

— Луна, как и Земля, обладает притяжением, — сказал он.

— Почему вы так решили?

— Горы и долины имеют устоявшуюся форму — какими бы зубчатыми они ни были, на

всей планете нет ничего, что бы могло упасть под действием гравитации. Будь у меня линзы помощнее, я бы определил угол естественного откоса и рассчитал силу тяжести на Луне.

— Если Луна притягивает предметы, то должны притягивать и прочие небесные тела, — заметил Даниель[24].

Из Амстердама прибыл длинный свёрток. Даниель вскрыл его, ожидая увидеть очередную подзорную трубу, однако обнаружил тонкий прямой рог, покрытый спиральным рисунком.

— Что это? — спросил он Уилкинса.

Доктор оглядел предмет через очки и ответил с легкой досадой:

— Рог единорога.

— Но я думал, единорог — сказочное животное.

— Я ни одного не видел.

— Тогда откуда, как вы думаете, он взялся?

— Почём я знаю? — отвечал Уилкинс. — Мне известно лишь, что их можно приобрести в Амстердаме.

---

[24] Примечания: 24
Не он первый.

Монархи, хоть и сильны ратями, слабы доводами, ибо с колыбели приучены пользоваться своей волей, яко десницей, и разумом, яко шуйцей. Посему, вынужденные принять сражение подобного рода, они оказываются жалкими и ничтожными противниками.

Мильтон, предисловие к памфлету «Иконоборец»

Даниель привык видеть, как герцог Йоркский выезжает на охоту со своими вельможными друзьями, — насколько сын Дрейка мог привыкнуть к такому зрелищу. Раз охотники проехали на расстоянии пущенной стрелы, и он услышал, как герцог обращается к спутнику — *по-французски*. Даниелю захотелось броситься и убить этого француза во французском наряде, которого прочат в английские короли. Он подавил порыв, вспомнив, как голова герцогского отца скатилась с плахи перед Дворцом для приёмов, и подумал про себя: «Ну и чудная же семейка!»

Кроме того, он уже не мог воскресить в душе прежней ненависти. Дрейк учил сыновей ненавидеть аристократов, при любом случае указывая на их привилегии. Доводы эти действовали безотказно не только в доме Дрейка, но и в любом

другом, где собирались диссиденты, — отсюда Кромвель и всё последующее. Однако Кромвель сделал пуритан сильными, и сейчас Даниель чувствовал, как эта сила, словно самостоятельное живое существо, пытается перейти *к нему*, а следовательно, он тоже пользуется наследственными привилегиями.

Таблицы философского языка были закончены; по мирозданию прошлись частым бреднем, и теперь всё на небе и на земле оказалось в какой-нибудь из мириадов его ячей. Чтобы определить конкретную вещь, надо было лишь указать её положение в таблицах, выражаемое числами. Уилкинс придумал систему, по которой предметам давалось название, — разложив название на слоги, можно было найти ячейку в таблице и узнать, чему оно соответствует.

Уилкинс выпустил всю кровь из большого пса и влил в маленького. Через несколько минут песик уже бегал за палкой. Гук собрал часы новой конструкции. Некоторые мелкие детали он рассматривал под микроскопом и попутно обнаружил неведомые мельчайшие существа на тряпье, в которое эти детали были завёрнуты. Он зарисовал их, а потом три дня напролёт пытался подобрать средство против этих существ.

Действеннее всего оказался флорентийский яд, который он готовил из табачных листьев.

Приехал сэр Роберт Мори, растёр кусок единорожьего рога в порошок, насыпал его кольцом и посадил в середину паука. Однако паук постоянно убегал. Мори объявил, что рог поддельный.

Однажды Уилкинс разбудил Даниеля в самый неурочный час, и они вдвоём на возу с сеном отправились по ночной дороге в эпсомскую тюрьму.

— Судьба благоволит нашему начинанию, — сказал Уилкинс. — Человека, которого мы собрались вопрошать, приговорили к повешению. Однако петля сдавила бы те органы, которые нас интересуют, — некоторые деликатные части горла. На нашу удачу, накануне казни приговорённый умер от кровавого поноса.

— Это будет какое-то дополнение к таблицам? — устало спросил Даниель.

— Не глупите — устройство горла известно давным-давно. Покойник поможет нам с истинным алфавитом.

— На котором будет писаться философский язык?

— Вам отлично это известно. Проснитесь, Даниель!

— Я спросил лишь потому, что вы составили уже несколько истинных алфавитов.

— Более или менее произвольных. Натурфилософ из какого-то другого мира, видя документ, написанный этими значками, решил бы, что читает не философский язык, а «Криптономикон»! Нам нужен *систематический* алфавит, в котором само начертание букв говорило бы об их произношении.

Слова эти вселили в Даниеля нехорошие предчувствия, которые полностью оправдались. К восходу солнца они уже забрали мертвеца из тюрьмы, доставили в коттедж и отрезали ему голову. Чарльза Комстока подняли с постели и велели ему разрезать покойника, дабы попрактиковаться в анатомии (а заодно избавиться от трупа). Тем временем Уилкинс и Гук присоединили большие мехи к дыхательному горлу мертвеца, чтобы пропускать воздух через связки. Даниелю поручили спилить верхнюю часть черепа и удалить мозг, чтобы он мог взяться рукой за нёбо, язык и прочие мягкие части гортани, ответственные за извлечение звуков. Таким образом, действуя все вместе — Даниель выступал в роли своеобразного марионеточника, Гук манипулировал губами и носом, Уилкинс качал

мехи, — они заставили мертвеца заговорить. При определённом расположении губ, языка и проч. он произнёс очень отчётливое «О», от которого Даниелю, уже изрядно уставшему, стало чуточку не по себе. Уилкинс нарисовал О-образную букву по форме губ покойника. Эксперимент продолжался *весь день*. Когда кто-нибудь проявлял признаки усталости, Уилкинс напоминал, что голова, с таким трудом раздобытая, не вечна — как будто они сами этого не понимали. Им удалось извлечь тридцать четыре звука; для каждого Уилкинс придумал букву, схематически изображавшую положение губ, языка и проч. Наконец голову отдали Чарльзу Комстоку для дальнейших анатомических штудий, а Даниель лёг спать и увидел серию красочных кошмаров.

Наблюдения за Марсом навели Гука на мысли о небесных делах; по этому поводу они с Даниелем как-то утром выехали в фургоне, прихватив с собой ящик инструментов. Опыт, видимо, был важный, потому что Гук самолично уложил инструменты. Уилкинс убеждал их воспользоваться исполинским колесом и не докучать Комстоку просьбой о повозке. Уилкинс уверял, что колесо, приводимое в движение молодым и крепким Даниелем Уотерхаузом, может (в теории) легко

пересекать поля, болота и даже неглубокие ручьи, так что они прибудут на место по прямой, а не окольными дорогами. Гук предложение отверг и выбрал фургон.

Они несколько часов добирались до некоего колодца, пробитого в сплошном меловом известняке. Уверяли, что глубина его больше трёхсот футов. При виде Гука местные крестьяне предпочли убраться подобру-поздорову; впрочем, они всё равно ничего полезного не делали, а предавались праздности и пьянству. Гук поручил Даниелю соорудить над колодцем прочную ровную платформу, а сам достал лучшие свои весы и принялся их калибровать. Он объяснил:

— Допустим гипотезы ради, что планеты удерживаются на орбитах не вихрями эфира, а силою тяготения.

— Да?

— Тогда путём вычислений мы убедимся, что это возможно лишь в одном случае: если притягательная сила уменьшается при удалении от самого центра притяжения.

— То есть вес тела уменьшается с подъёмом?

— И увеличивается с опусканием. — Гук выразительно глянул в сторону колодца.

— Ага! Значит, мы должны взвесить что-то

на поверхности, а затем… — Даниель в ужасе осёкся.

Гук повернул скрюченную шею и пристально вгляделся в Даниеля. Потом, впервые с начала их знакомства, рассмеялся.

— Вы боитесь, что я предлагаю спустить вас, Даниеля Уотерхауза, на триста футов в колодец, с весами, дабы вы что-то там взвесили? И что верёвка порвётся? — Снова смех. — Подумайте внимательнее о том, что я сказал.

— Да, конечно… так бы всё равно ничего не вышло, — проговорил глубоко сконфуженный Даниель.

— Почему? — вопросил Гук, словно намереваясь поймать его на противоречии.

— Мы взвешиваем при помощи гирь, и если на дне колодца предметы и впрямь становятся тяжелее, то ровно на столько же потяжелеют гири, и результат будет прежний, а мы ничего не установим.

— Помогите отмерить мне триста футов верёвки, — уже без улыбки распорядился Гук.

Они отмотали пятьдесят локтей, используя в качестве мерила палку длиной в локоть, и Гук привязал на верёвку тяжёлую медную гирю. Потом он водрузил весы на помост, сооружённый

Даниелем, положил на одну чашку гирю вместе с верёвкой и тщательно её взвесил. Казалось, он никогда не закончит, тем более что налетающий время от времени ветерок сильно мешал работе. Часа два они убили на то, чтобы соорудить защитную холщовую ширму. Ещё полчаса Гук, глядя на стрелку весов в увеличительное стекло, подкладывал и убирал с чашки кусочки золотой фольги не тяжелее снежинок. Каждый раз стрелка начинала дрожать и успокаивалась только через несколько минут. Наконец Гук получил вес гири в фунтах, унциях, гранах и долях грана, а Даниель всё это записал. Затем Гук закрепил свободный конец верёвки в отверстии, которое заранее просверлил в чашке весов, и они с Даниелем, сменяясь, начали опускать гирю в колодец, на несколько дюймов за раз; если бы гиря качнулась, задела стенку и запачкалась мелом, она набрала бы лишний вес и опыт оказался бы испорчен. Когда они размотали все триста футов, Гук пошёл прогуляться, потому что гиря слегка покачивалась, а вместе с ней и чашка. Наконец она остановилась, и он снова смог взяться за увеличительное стекло и пинцет.

Короче, в тот день и у Даниеля было много времени на раздумья. Клетки, паучьи глаза, еди-

норожьи рога, сжатый и разреженный воздух, необычные средства от глухоты, философские языки и летающие повозки были достаточно любопытны, но в последнее время интересы Гука переключились на дела небесные, и мысли Даниеля всё чаще устремлялись к однокашнику. Как доморощенный натурфилософ при дворе какого-нибудь европейского князька изнывает от желания проведать, что делают Уилкинс и Гук, так и Даниелю хотелось знать, чем занят Исаак в Вулсторпе.

— Вес одинаковый, — провозгласил наконец Гук. — Триста футов глубины не дают *измеримой* разницы.

Это был сигнал разобрать установку и убраться восвояси, чтобы крестьяне снова могли брать из колодца воду.

— Опыт ничего не доказывает, — сказал Гук, когда они в сумерках ехали домой. — Весы недостаточно точны. Однако если поместить маятниковые часы под стеклянный колпак, чтобы не влияли влажность и атмосферное давление… и на долгое время оставить в колодце… то разница в весе маятника проявит себя ускорением или замедлением хода.

— Но как узнать, что часы спешат или отста-

ют? — спросил Даниель. — Их надо проверять по другим часам.

— Или по вращению Земли, — отвечал Гук. Вопрос Даниеля почему-то привёл его в мрачное настроение, и больше он ничего не сказал, пока, уже за полночь, они не вернулись в Эпсом.

Ночью температура стала опускаться ниже точки замерзания — пришло время градуировать термометры. Даниель, Чарльз и Гук уже несколько недель изготавливали их из длинных, в ярд, стеклянных трубок, которые заполняли подкрашенным кошенилью спиртом. Однако меток на них не было. В морозные ночи все трое закутывались потеплее, погружали термометры в бак с дистиллированной водой, а потом часами сидели, изредка помешивая воду, и ждали. Если внимательно слушать, можно было различить, как потрескивают, образуясь на поверхности, кристаллики льда; тогда они вставали и алмазом наносили метку на то место трубки, у которого остановилась красная жидкость.

Гук держал на улице квадратик чёрного бархата. Если днём шёл снег, он выносил микроскоп, клал бархат на предметный столик и разглядывал снежинки. Даниель, как и Гук, видел, что ни одна не повторяет другую. И вновь Гук заметил

то, что упустил Даниель.

— У каждой конкретной снежинки все лучики одинаковы — почему так происходит? Почему каждый луч не принимает свою, отличную от других форму?

— Должно быть, тут действует некий центральный организующий принцип… — произнес Даниель.

— Это столь очевидно, что незачем было и говорить, — ответил Гук. — Будь у меня линзы получше, мы могли бы заглянуть в сердцевину снежинки и увидеть организующий принцип в действии.

Через неделю Гук вскрыл собаке грудную клетку и удалил рёбра, обнажив бьющееся сердце, однако лёгкие обмякли и, казалось, уже не работали.

Собака визжала почти как человек. Из дома Джона Комстока пришёл кто-то и низким красивым голосом осведомился, что происходит. Даниель, отупелый и полуслепой от усталости, принял его за мажордома.

— Я всё объясню в записке и присовокуплю извинения, — пробормотал Даниель, оглядываясь в поисках пера и вытирая окровавленные руки о штанины.

— И кому же вы адресуете записку, скажите на милость? — насмешливо проговорил мажордом. Впрочем, для мажордома он выглядел чересчур юным — ему явно ещё не исполнилось тридцати. Голова поблескивала короткой светлой щетиной — явный признак человека, который постоянно носит парик.

— Графу Эпсомскому.

— Почему бы не адресовать её герцогу Йоркскому?

— Хорошо, напишу герцогу.

— Тогда, может быть, обойдётесь без писанины и просто скажете мне, что вы тут, чёрт возьми, вытворяете?

Даниель возмутился было от такой дерзости, но тут, вглядевшись в посетителя, узнал герцога Йоркского.

Он должен был поклониться, однако от неожиданности лишь вздрогнул. Герцог движением руки показал, что принимает такой знак учтивости, а теперь, мол, давайте побыстрей к сути.

— Королевское общество, — начал Даниель, выставляя перед собой слово «королевское» как щит, — оживило мёртвую собаку при помощи крови другой собаки, а сейчас исследует искусственное *дыхание*.

— Мой брат любит ваше Общество, — сказал Джеймс, — вернее, *своё* Общество, коль скоро он объявил его королевским. — Даниель решил, что герцог объясняет, почему ещё не приказал отстегать их кнутом. — Меня интересуют звуки. Будут ли они продолжаться всю ночь?

— Напротив, они уже стихли, — заметил Даниель.

Лорд Верховный адмирал вслед за Даниелем прошёл на кухню, где Уилкинс и Гук вставили собаке в дыхательное горло бронзовую трубку, соединённую с теми же верными мехами, при помощи которых заставили говорить покойника.

— Раздувая мехи, они наполняют и опорожняют лёгкие, чтобы собака не умерла без воздуха, — объяснил Чарльз Комсток после того, как экспериментаторы поклонились герцогу. — Осталось лишь выяснить, как долго можно этим способом поддерживать в собаке жизнь. Мы с мистером Уотерхаузом должны по очереди раздувать мехи, пока мистер Гук не объявит, что эксперимент закончен.

При звуке Даниелевой фамилии герцог бросил на него взгляд.

— Если собака должна страдать во имя ваших исследований, благодарение Небесам, что она

делает это тихо, — заметил герцог и повернулся к выходу. Остальные двинулись было его проводить, но он остановил их словами: «Продолжайте своё занятие». А вот Даниелю Джеймс сказал: «Позвольте вас на одно слово, мистер Уотерхауз», и тот вместе с герцогом вышел на луг, гадая, не вспорют ли ему сейчас живот, как несчастному псу.

Несколько минут назад он преодолел дурацкий порыв: преградить его королевскому высочеству путь в кухню, дабы уберечь его королевское высочество от жуткого зрелища. Однако он не учел, что герцог, при своей молодости, побывал во множестве сражений, морских и сухопутных. Какие бы муки ни терпела собака, герцог видел, как много худшее проделывают с людьми. В его глазах Королевское общество было не сборищем безжалостных мясников, а горсткою дилетантов.

Даниель знал лишь один способ управлять своим поведением — посредством рассудка. Принцев тоже учат мыслить рационально, как учат немного бренчать на лютне и танцевать сносный ричеркар. Однако к действиям их побуждает сила собственной воли, и в конечном счёте они делают что хотят, не оглядываясь на рациональность своих поступков. Даниелю нра-

вилось убеждать себя, что рассудочный подход ведёт к более верному поведению, чем грубая воля; но вот герцог Йоркский увидел их эксперимент и лишь закатил глаза, не узрев ничего для себя нового.

— Мой друг привёз из Франции одну пакость, — объявил его королевское высочество.

Даниель далеко не сразу понял, о чём речь. Он пытался истолковать фразу то так, то эдак, но внезапно понимание раскатилось в мозгу, как гром в зарослях. Герцог сказал: «У меня сифилис».

— Какая жалость, — проговорил Даниель, по-прежнему не уверенный, что верно понял собеседника. Надо было вести себя осторожно и отвечать расплывчато, чтобы разговор не выродился в комедию ошибок с ударом шпагой в финале.

— Некоторые считают, что здесь помогает ртуть.

— Но при том она ядовита, — заметил Даниель.

Джеймс Стюарт, герцог Йоркский и лорд Верховный адмирал, кажется, счёл, что обратился по адресу.

— Наверняка учёные доктора, занятые искусственным дыханием и тому подобным, ищут и

лекарство для таких, как мой друг.

«А также для его жены и детей», — подумал Даниель. Очевидно, Джеймс либо подцепил сифилис от Анны Гайд, либо заразил её, а она, вероятно, передала болезнь дочерям, Марии и Анне. На сегодняшний день старший брат Джеймса, король, так и не сумел произвести на свет ни одного законного ребёнка. Побочных вроде Монмута у него было хоть отбавляй, но никто из них не мог унаследовать трон. Так что пакость, которую Джеймс привёз из Франции, могла положить конец династии Стюартов.

Из этого вытекал другой занятный вопрос: почему Джеймс, имея под боком целое Королевское общество, обратился к сыну фанатика?

— Дело весьма деликатное, — продолжал герцог, — из тех, что марают честь, если пойдут разговоры.

Даниель перевёл это так: «Только проболтайтесь, и я велю кому-нибудь вызвать вас на дуэль». Впрочем, кто обратит внимание, если сын Дрейка начнёт пачкать имя герцога Йоркского? Дрейк пятьдесят лет без остановки обличал распущенность правящего дома в очень похожих словах. Теперь стало ясно, чем руководствовался герцог: если Даниель по недомыслию сболтнёт, что у

него дурная болезнь, никто не услышит — правда утонет в потоке поношений, которые постоянно изрыгал Дрейк. Впрочем, Даниель и не будет долго болтать: вскоре его найдут на окраине Лондона с множеством глубоких колотых ран.

— Итак, вы дадите мне знать, если Королевское общество набредёт на какое-нибудь лекарство? — спросил Джеймс, поворачиваясь к дому.

— Чтобы вы сообщили о нём своему другу? Всенепременно, — отвечал Даниель.

На этом разговор закончился. Даниель вернулся на кухню узнать, сколько ещё продлится эксперимент.

Ответ: дольше, чем им хотелось бы. К тому времени, как они закончили, первый свет уже сочился в окно, и взгляд понемногу угадывал, что предстанет ему с рассветом. Гук сгорбился в кресле, мрачный, потрясённый, в ужасе от самого себя. Уилкинс подпер голову окровавленным кулаком.

Они собрались здесь, якобы спасаясь от Чёрной смерти, но на самом деле бежали от своего невежества. Они алкали знаний и набросились на еду, словно голодные бродяги в господском доме, которые тянутся к новым яствам, не переварив и даже не прожевав прежние. Оргия длилась

почти год. Теперь, при свете дня, они внезапно очнулись, увидели разбросанные по полу собачьи рёбра, заспиртованные в банках селезёнки и желчные пузыри, редких паразитов, прибитых к дощечкам или приклеенных к стёклышкам, булькающие на огне яды — и внезапно стали себе противны.

Даниель собрал в охапку искромсанного пса, уже не боясь испортить одёжу — её так и так предстояло сжечь, — и вышел на поле к востоку от коттеджа, где останки подопытных животных сжигали, закапывали или использовали в экспериментах по самозарождению мух. Тем не менее воздух здесь был относительно свеж.

Опустив на землю собачий труп, Даниель обнаружил, что идет навстречу пылающей звезде, всего в нескольких градусах над горизонтом, которая могла быть только Венерой. Он шёл и шёл, а роса смывала кровь с его башмаков. Рассветные луга мерцали зелёным и розовым.

Исаак прислал ему письмо: «Треб. помощь кас. набл. Венеры. Приезжай, коли сможешь». Тогда Даниель ещё задумался, нет ли тут чего-то завуалированного. Сейчас, стоя на серебряном от росы лугу спиной к дому кровопролития и видя перед собой лишь Утреннюю звезду, он внезапно вспом-

нил давние слова Исаака о гармонии небесных тел и глаз, которыми мы их наблюдаем. Четыре часа спустя, одолжив лошадь, он уже скакал в Вулсторп.

На «Минерве», Плимутский залив, Массачусетс
Ноябрь, 1713 г.

Даниель просыпается в беспокойстве. Жевательные мышцы занемели, лоб и виски ломит — видимо, во сне он о чем-то тревожился. Впрочем, лучше тревожиться, чем бояться, как всё последнее время, пока капитан ван Крюйк не бросил идею лавировать против штормового ветра и не вернулся в более спокойные воды у массачусетского побережья.

Капитан ван Крюйк, возможно, назвал бы это болтанкой или другим моряцким эвфемизмом, однако Даниель ушёл к себе в каюту с ведром, чтобы блевать, и пустой бутылкой, чтобы спрятать в неё записки последних дней. Быть может, столетия два спустя какой-нибудь мавр или готтентот вытащит бутылку и прочитает воспоминания доктора Уотерхауза о его знакомстве с Ньютоном и Лейбницем.

Даниель лежит на соломенном тюфяке; палуба юта всего в нескольких дюймах от его глаз. Он научился узнавать шаги капитана ван Крюйка

по доскам у себя над головой. На корабле дурной тон — подходить к капитану ближе, чем на сажень, поэтому даже если на юте полно народу, капитан стоит особняком. За те две недели, что «Минерва» лавировала в поисках попутного ветра, Даниель научился угадывать настроения капитана по рисунку и ритму его движений — каждому настроению отвечали определённые фигуры, словно в придворном танце. Ровная широкая поступь означала, что всё хорошо и ван Крюйк просто обозревает свои владения. Когда он наблюдал за погодой, то кружил на месте, а когда брал замеры солнца, то стоял неподвижно, вдавив в палубу каблуки. Однако сегодня утром (Даниель предполагает, что сейчас раннее утро, хотя солнце ещё не встало) ван Крюйк ведёт себя необычно: расхаживает по юту быстрыми сердитыми шагами, на несколько секунд замирая у каждого борта. Чувствуется, что матросы уже проснулись, но они по большей части ещё в кубрике — перешёптываются или занимаются какой-то неслышной работой.

Вчера они вошли в залив Кейп-Код — мелкую бухту, образованную изгибом одноимённого мыса, — переждать северо-восточный ветер, произвести кое-какие починки и ещё лучше под-

готовить корабль к зиме. Однако ветер поменялся на северный и теперь грозил выбросить их на песчаные отмели в южной части залива, потому ван Крюйк взял курс на закат и, старательно лавируя между рифами по правому борту и подводными островами по левому, вошёл в Плимутский залив. С наступлением ночи бросили якорь в проливе, хорошо защищенном от ветра, и (как предполагал Даниель) решили дождаться более благоприятной погоды. Ван Крюйк явно нервничал: он удвоил ночную вахту и отправил матросов чистить внушительный корабельный арсенал ручного огнестрельного оружия.

Стёкла в каюте дрожат от далёкого грохота. Даниель скатывается с койки, как четырнадцатилетний мальчишка, и бросается к выходу, держа одну руку впереди, чтобы не размозжить себе голову в темноте. Выбежав на шканцы, он слышит ответную пальбу со всех окрестных склонов и островков и лишь потом понимает, что это эхо первого взрыва. Будь у него хорошие карманные часы, он мог бы определить расстояние до склонов…

Даппа, первый помощник, сидит возле штурвала по-турецки и разглядывает карты в свете свечи. Странное место для такого занятия. Над

головой у него болтаются на верёвке перья и разноцветные ленты. Даниель думает, что это — племенной фетиш (Даппа — африканец), пока одна из пушинок не отклоняется от дыхания холодного ветерка и не становится ясно, что делает Даппа: пытается определить, каким будет ветер после восхода. Он поднимает ладонь, призывая к молчанию, раньше, чем Даниель успевает открыть рот. Над водой слышатся крики, но далеко, — сама «Минерва» тиха, словно корабль-призрак. Подойдя ближе к борту, Даниель видит рассыпанные по воде жёлтые звёзды, которые мигают, скрываясь за волнами.

— Вы ведь не знали, во что влипаете, — замечает Даппа.

— Вам удалось меня заинтриговать — так во что я влип?

— Вы на корабле, капитан которого не вступает ни в какие переговоры с пиратами, — говорит Даппа. — Ненавидит их лютой ненавистью. Прибил флаг к мачте двадцать лет назад; наш ван Крюйк — он скорее сожжёт корабль по ватерлинию, чем отдаст хоть пенни.

— А огни на воде…

— По большей части вельботы, — отвечает Даппа. — Может быть, барка-другая. С рассветом

мы ожидаем увидеть парусники, но до тех пор придётся поспорить с вельботами. Слышали крики около часа назад?

— Видно, проспал.

— К нам подошёл вельбот на обмотанных тряпьем вёслах. Мы подпустили пиратов поближе — пусть думают, будто мы спим, — и, когда они подошли к борту, уронили на них комету.

— Комету?

— Небольшое ядро, обмотанное промасленным тряпьём и подожжённое. Когда оно падает в лодку, его трудно выбросить за борт. Пока горело, мы успели хорошенько всё рассмотреть: десяток англичан в лодке, и один уже замахнулся абордажным крюком.

— Вы хотите сказать, то были английские колонисты, или…

— Вот это мы, в частности, и хотим выяснить. Отпугнув тех пиратов, мы спустили собственный баркас.

— А взрыв?..

— Граната. Среди нас есть несколько отставных гренадеров…

— Вы бросили в чью-то лодку *гранату*?

— Да, а затем — если все идет по плану — наши филиппинцы, бывшие ловцы жемчуга, превос-

ходные пловцы, перелезли через борт с ножами в зубах и перерезали несколько глоток…

— Но это безумие! Здесь *Массачусетс*!

Даппа смеётся.

— Истинная правда!

Через час солнце во всей красе встаёт над заливом Кейп-Код. Даниель расхаживает по палубе, пытаясь найти место, где не придётся слушать вопли пиратов. Сейчас рядом с «Минервой» качаются две шлюпки: корабельный баркас, недавно просмолённый и покрашенный, и пиратский вельбот, который явно и до сегодняшнего сражения находился не в лучшей форме. Щепки светлого дерева показывают, где банку взорвало гранатой, на дне плещется кровь. Участники вылазки захватили в плен пятерых уцелевших пиратов. Сейчас (судя по звукам) все они в трюме, и двое самых дюжих матросов окунают их головой в грязную воду. Когда пленникам дают наконец глотнуть воздуха, они отчаянно вопят, и Даниелю вспоминаются Уилкинс и Гук с их несчастными псами.

Вулсторп, Линкольншир
Весна, 1666 г.

Он открывает глубокое и сокровенное; знает, что во мраке, и свет обитает с ним.

Даниил, 2, 22

По описаниям Исаака («Свернёшь налево у Граймсторпских развалин») он ожидал увидеть несколько лачуг на краю обветренной кручи, однако Вулсторп оказался самой прелестной английской деревушкой, какую ему только случалось видеть. К северу от Кембриджа тянулась унылая плоская равнина, прорезанная дренажными канавами. За Питерсборо болотистая низменность сменилась зелёными-презелёными лугами, похожими на усеянное овцами оконное стёклышко. Стали появляться редкие сосны, придававшие местности сходство с более северными краями. Ещё через день пути начались холмы; земля здесь была бурая, как кофе, каменистые выступы — белые, как сливки; каменотёсы превратили неправильной формы останцы в груды прямоугольных блоков. Вулсторп производил

впечатление места возвышенного и близкого к небу; деревья вдоль деревенской дороги кривились в одну сторону, наводя на мысль, что в здешних краях не всегда так тихо и безветренно, как в этот весенний день.

Вулсторпская усадьба выглядела непритязательно и формой напоминала жирное Т, обращенное перекладиной к дороге. Как и всё здесь, она была сложена из мягкого светлого камня; крыша сплошь заросла лишайником. Дом стоял на южной, солнечной стороне холма, но строители почему-то разместили в этой стене только два окна, чуть больше бойниц, да чердачное окошко, назначения которого Даниель вначале не понял. Покуда лошадь с трудом ступала по раскисшей весенней дороге, он приметил, что Исаак сполна использовал преимущества южной стены, нацарапав на ней несколько солнечных циферблатов. Вниз с холма тянулись многочисленные амбары и конюшни — признак процветающего хозяйства.

Даниель свернул с дороги. Дом отстоял от неё не больше чем на двадцать футов. Над дверью красовался резной каменный герб: простой щит с двумя скрещенными человеческими мослами. Весёлый Роджер без черепа. Несколько

мгновений Даниель, сидя на лошади, дивился неприкрытой чудовищности герба и чувствовал тупой, ноющий стыд за свою английскость. Он ждал, что слуга объявит о его приезде.

Исаак в письме сообщал, что родительница уехала месяца на полтора. Даниеля это вполне устраивало. Он знал про неё совсем немного: что она бросила трёхмесячного Исаака на бабку и переехала в соседнюю деревню к богатому мужу. Даниель заметил, что некоторые семьи (например, Уотерхаузы) умеют сохранять пристойную видимость, что бы ни происходило внутри; обман, разумеется, полнейший, однако он избавляет знакомых от неловкости. Бывают и другие семьи: в них душевные раны никогда не затягиваются, но вновь и вновь растравляются и выставляются напоказ, словно кровоточащие сердца и стигматы католических изваяний. Сидеть в таком доме за обедом или просто за беседой — всё равно что вместе с Гуком резать собаку: любое твое слово или поступок раздувают мехи, ты смотришь на раскрытую грудную клетку и видишь, как беспомощно отзываются органы, как бьется сам по себе вечный двигатель сердца. Даниель подозревал, что Ньютоны — одно из таких семейств. Герб на двери с евклидовой

непреложностью доказывал его подозрения.

— Это ты, Даниель? — негромко произнёс голос Исаака Ньютона.

По жилам Даниеля пробежал маленький пузырёк эйфории: увидеть кого-либо после такого перерыва, во время чумы, и убедиться, что он по-прежнему жив, было чудом. Даниель поднял голову. Северная сторона дома была обращена к склону, на котором рос небольшой яблоневый сад. На скамейке спиной к Даниелю и к солнцу сидел кто-то — не то мужчина, не то женщина, — завернутый в одеяло, как в шаль. Длинные бесцветные волосы рассыпались по плечам поверх одеяла.

— Исаак?

Сидящий немного повернул голову.

— Да, я.

Даниель въехал по грязи в яблоневый сад, спешился и привязал лошадь к невысокой ветке — гирлянде белых цветов. Лепестки сыпались, как снег. Даниель описал вокруг Исаака большую коперниковскую дугу, вглядываясь в него сквозь благоуханную метель. Волосы у Исаака всегда были очень светлые, с ранней проседью, однако за год, что они не виделись, он стал седым как лунь. Белые локоны капюшоном обрамляли

лицо. Даниель ожидал увидеть знакомые глаза навыкате, но увидел лишь два золотых диска, словно у Исаака вместо глаз — монеты по пять гиней. Наверное, Даниель вскрикнул, потому что Исаак сказал:

— Не пугайся. Я сам придумал эти очки. Ты, наверное, знаешь, что золото практически неограниченно ковкое, однако известно ли тебе, что в очень тонкой фольге оно становится прозрачным? Попробуй.

Он одной рукой протянул очки, а другой заслонил глаза. У Даниеля дернулась рука — очки оказались легче, чем он ожидал, не линзы, а лишь тончайшая золотая плёнка на проволочном каркасе. Он поднёс их к глазам, и всё поменяло цвет.

— Они синие!

— Ещё один ключ к разгадке природы света, — промолвил Исаак. — Золото жёлтое — оно отражает жёлтую часть света и пропускает остальное. Лишённый жёлтой составляющей свет становится синим.

Даниель смотрел на бледные призраки яблонь в синем цвету перед синим каменным домом и на синего Исаака Ньютона, который сидел спиной к синему солнцу, прикрыв глаза синей рукой.

— Прости, что такая грубая работа. Я делал их

в темноте.

— У тебя что-то с глазами?

— Всё, с Божьей помощью, пройдёт. Я слишком много смотрел на солнце.

— Ой. — Даниель едва не онемел от угрызений пуританской совести. Как он мог так надолго оставить Исаака? Счастье ещё, что тот не загнал себя в гроб.

— Я по-прежнему могу работать в тёмной комнате со спектрами, которые отбрасывает через призму Солнце. Однако спектры Венеры слишком слабы.

— Венеры?!

— Я сделал много наблюдений касательно природы света, которые противоречат теориям Декарта, Гюйгенса и Бойля, — пояснил Исаак. — Я разложил белый солнечный свет на цвета, а затем соединил их и вновь получил белый. Я проделал этот опыт множество раз, меняя аппаратуру, чтобы исключить возможные источники ошибок. Осталось устранить ещё один: Солнце — не точечный источник света. Его лик на небе представляет собою заметных размеров диск. Те, кто будет искать погрешности в моей работе, смогут указать, что свет от разных участков Солнца входит в призму под чуть различными углами,

а следовательно, выводы мои сомнительны и потому ничего не стоят. Чтобы устранить эти преграды, я должен повторить опыт не с Солнцем, а с Венерой — почти бесконечно малой точкой. Однако свет Венеры настолько слаб, что мои обожжённые глаза его не различают. Мне нужны твои здоровые глаза, Даниель. Ночью начнём. Хочешь пока вздремнуть?

Дом делился на две половины — северную и южную. В северной, где были окна, но не было света, располагалась вотчина ньютоновой родительницы: гостиная на нижнем этаже и спальня на верхнем, обставленные по тогдашнему вкусу небольшим количеством крайне громоздкой мебели. В южной половине, с обращенными к свету окнами-бойницами, обитал Исаак; внизу находилась кухня, пригодная для занятий алхимией, над ней — спальня.

Исаак убедил Даниеля лечь на материну постель, потом неосторожно проговорился, что на этой самой постели он был рожден, за несколько недель до срока, двадцать четыре года назад. Пролежав полчаса на кровати, твёрдой, как жертва столбняка, и глядя на то, что впервые предстало очам Исаака (окно и сад), Даниель встал и снова вышел из дома. Исаак по-прежнему сидел на ска-

мье, на коленях у него лежала книга, но золотые очки были обращены к горизонту.

— Полагаю, разбили их наголову.

— Извини?

— Началось близко к берегу, потом стало отдаляться.

— О чём ты, Исаак?

— Морское сражение — мы бьемся с голландцами в проливах. Ты разве не слышал канонаду?

— Я лежал в постели очень тихо и ничего не слышал.

— Отсюда слышно отчётливо. — Исаак поднял руку и поймал трепетный лепесток. — Ветер благоприятствует нашему флоту. Голландцы неправильно выбрали время.

У Даниеля слегка закружилось в голове при мысли, что Джеймс, герцог Йоркский, с которым они недавно стояли на расстоянии вытянутой руки и говорили о сифилисе, сейчас на палубе флагмана обменивается залпами с голландской армадой, и грохот, прокатившись над морем, попадает в исполинскую ушную раковину залива Уош, изгибом которой служат Бостонская и Линнская впадины, а также Длинная Песчаная банка, оттуда в наружный слуховой проход Уэлленда и дальше по его притокам, через топи и

холмы Линкольншира, в ухо Исаака. А может, в голове закружилось от того, что мириады белых лепестков падали на землю по одной и той же скошенной ветром траектории.

— Помнишь, как умер Кромвель, и сатанинский ветер налетел, чтобы унести его душу в ад? — спросил Исаак.

— Да. Я шёл в погребальной процессии и видел, как старых пуритан ветром сбивало с ног.

— Я был на школьном дворе. Мы прыгали в длину. Я выиграл, хотя был маленьким и хрупким. Нет, *благодаря* этому — я знал, что обязан думать. Я встал спиной к сатанинскому ветру и прыгнул во время особенно сильного порыва. Ветер понёс меня, как эти лепестки. На мгновение меня охватило сильнейшее чувство — наполовину восторг, наполовину страх. Мне чудилось, что ветер будет нести меня вечно — я никогда не коснусь ногами земли, а буду лететь и лететь, пока не обогну земной шар. Разумеется, я был ребёнком и не знал, что снаряд летит по параболе. Какой бы пологой ни была эта кривая, она рано или поздно склонится к земле. Однако предположим, что ядро или мальчик, подхваченный сверхъестественным ветром, будет лететь так быстро, что центробежная сила (как называет её Гюйгенс) его

движения вокруг земли уравновесит тенденцию к падению. Что произойдёт тогда?

— Э… смотря как понимать природу падения, — проговорил Даниель. — Почему мы падаем? В каком направлении?

— Мы падаем к центру Земли. К тому самому, от которого направлена центробежная сила — когда крутишь камешек на бечевке.

— Думаю, если бы удалось уравновесить эти силы, ты бы летел и летел, не падая и не взлетая вверх. Впрочем, такое представляется невероятным. Господь должен был бы удерживать тебя, как удерживает планеты.

— Если принять некоторые допущения касательно природы тяготения и того, как вес уменьшается с расстоянием, это происходит само собой, — сказал Исаак. — Ты просто будешь лететь и лететь вечно.

— По кругу?

— По эллипсу.

— По эллипсу… — И тут граната, наконец, взорвалась у него в голове. Даниелю пришлось сесть на землю, прямо на прошлогоднюю падалицу. — Как планета.

— Вот именно — если бы мы могли прыгнуть достаточно сильно или бы нам в спину дул

достаточно сильный ветер, мы все стали бы планетами.

Всё было так чисто и очевидно правильно, что Даниель догадался спросить о подробностях лишь несколько часов спустя. Солнце уже село, и они ждали, когда Венера переместится в южную часть неба.

— Я разработал метод флюксий, который делает это все вполне очевидным, — сказал Исаак.

Первой мыслью Даниеля было: «Надо сказать Уилкинсу». Уилкинс, написавший книгу, в которой люди путешествуют на Луну, восхитился бы фразой Исаака: «Мы все стали бы планетами». Однако он вспомнил Гука и опыт с глубоким колодцем. Некое предчувствие подсказывало, что Ньютона и Гука следует покамест держать в разных ячейках.

Спальня Ньютона была устроена словно нарочно для опытов с призмами. Для них нужно, чтобы свет входил через узкое отверстие, а само помещение было темным, иначе спектр на стене будет совсем бледным. Одна беда — Даниель всё время обо что-нибудь спотыкался. Исаак жил здесь несколько лет до поступления в Кембридж, и, судя по всему, одиноко. Пол усеивали остатки вещиц, которые Исаак смастерил, а потом не удо-

сужился выкинуть. Белёные стены покрывали рисунки, сделанные углем или нацарапанные ногтем: чертежи мельниц, изображения птиц, геометрические доказательства. Даниель шаркал в темноте, не отрывая ног от пола, чтобы не наступить на кукольную мебель, камни для шлифовки линз, водяные часы, тонкий, словно пергаментный, череп мыши или тигелёк с прикипевшими капельками металла.

Исаак рассчитал, в какие именно ночные часы Венера будет бросать свой строго однонаправленный свет на южную стену Вулстропской усадьбы — не только на эту ночь, но и на каждую ночь в течение нескольких следующих недель. Все эти часы были расписаны: Исаак составил целую программу экспериментов. Даниель видел, что его друг защищает свою правоту перед целой коллегией воображаемых иезуитов, со всех сторон мечущих в него стрелы латинских возражений, частью просто смехотворных; что Исаак воображает себя разом Галилеем и святой Анной, но, в отличие от Галилея, не склонен сдаваться, и не намерен, как святая Анна, полечь под стрелами мучителей — он схватит их на лету и метнет обратно.

Вот чем Гук никогда бы не озаботился. Гуку

было довольно сознания собственной правоты, его не интересовало чужое мнение.

Когда Исаак расположил призмы на окне и задул свечи, Даниель на некоторое время ослеп и по-настоящему испугался, что, не обладая Исааковой зоркостью, не различит на стене слабый спектр Венеры. «Наберись терпения», — произнес Исаак с нежностью, какой Даниель не слышал от него долгие годы. У Даниеля закралась мысль, что Исаак носит золотые очки не по одной лишь причине. Да, он защищает обожжённые глаза от света. Однако, может быть, он защищает и своё обожжённое сердце?

Тут он заметил на стене разноцветное пятнышко: полоску — красную с одного бока и фиолетовую с другой — и сказал: «Вижу».

На чердаке тяжело зашуршало, послышался звук, словно кто-то скребет когтями. Даниель вздрогнул.

— Что там?

— Наверху окошко, чтобы совы залетали на чердак и вили там гнезда, — сказал Исаак. — Тогда мыши не будут есть зерно, которое мы храним на чердаке.

Даниель рассмеялся. На мгновение они с Исааком стали мальчишками, заигравшимися в ночи;

былые сложности позабылись, будущие опасности отступили.

Низкое уханье — словно резонирующая нота в органной трубе. Затем шорох — птица просунулась в окошко — и ритм мощных крыльев, словно биение сердца, затухающее в небе. Спектр Венеры на мгновение померк — сова затмила планету. Когда Даниель вновь повернулся, он увидел не только спектр Венеры, но и крохотные чёрточки по всей стене — спектры звезд, окружающих Венеру. Однако он не видел ничего, кроме спектров. Земля вращалась. Крохотные цветные полоски ползли по невидимой стене, перетекали по грубой штукатурке, словно гонимые ветром лужицы ртути, высвечивали фрагменты Исааковых рисунков. Каждая миниатюрная радуга выхватывала из тьмы лишь малую частичку рисунка, а каждый рисунок, в свою очередь, был лишь частью общего Исаакова замысла. Даниель подумал, что, если стоять так из ночи в ночь, ежась от холода и напряженно вглядываясь, можно составить в уме грубое представление об общей картине. Во всяком случае, так ему предстояло постигать Исаака Ньютона.

Я тогда верил и теперь уверен, что наш город будет сожжён огнем и серой, и потому оттуда удалился.

***Джон Беньян, «Путешествие пилигрима»*[25]**

Занятия в Кембридже должны были возобновиться весной, но не успели Даниель с Исааком переехать в старую комнатёнку, как кто-то снова умер от чумы и пришлось возвращаться — Исааку в Вулсторп, Даниелю — к прежней кочевой жизни. Несколько недель он провел у Исаака, ставя опыты по разложению света, ещё несколько — с Уилкинсом (тот перебрался в Лондон и вновь регулярно собирал Королевское общество) за составлением рукописи на всеобщем языке, остальное время — с Дрейком и старшими братьями, которых отец вытребовал в Лондон ждать конца света. Год Зверя, 1666-й, прошёл наполовину, потом на две трети. Чума кончилась. Война продолжалась и стала уже не просто англо-голландской; французы вступили в неё на стороне голландцев против англичан. Впрочем, планы, которые герцог Йоркский набросал со своими адмиралами холодным днём в Эпсоме,

---

[25] Примечания: 25
Перевод издательства «Свет с востока».

оказались не совсем уж никчёмными: англичане одерживали победы. Дрейк, надо думать, разрывался между патриотическим пылом и разочарованием, что война никак не перерастёт в Армагеддон. Она состояла из череды морских сражений, сводившихся к тому, что англичане медленно вытесняли французов и голландцев из Ла-Манша, и явно не укладывалась в схему, заданную Книгой Даниила и Откровением. Дрейк перечитывал их ежедневно, сочиняя все более притянутые за уши толкования. Что до самого Даниеля, иногда он по целым дням вообще не вспоминал про конец света.

Однажды сентябрьским днём он возвращался в Лондон из Вулсторпа, где помогал Исааку рассчитывать теорию планетарных орбит. Результат получился неудовлетворительный, поскольку они не знали, на каком расстоянии от центра Земли находятся, когда взвешивают предметы. Даниель завернул в чумной Кембридж за новой книгой, в которой якобы содержалось искомое число — радиус Земли, — и теперь ехал к отцу. Тот сообщил в письме, что рассчитал другое искомое число — точную дату светопреставления (она выпала у него как раз на начало сентября).

Даниель был в двадцати милях от Лондона, и

сумерки уже сгущались, когда навстречу ему во весь опор промчался гонец, крикнув на скаку: «Лондон горел весь день и горит до сих пор!»

Даниель уже видел это, однако не хотел признавать. С утра в воздухе пахло гарью, дым висел над деревьями и скрадывал лощины. Солнце пылало на полнеба; клонясь к горизонту, оно стало оранжевым, потом алым и расцветило закатными красками столбы дыма — предзнаменования, казавшиеся неизмеримо большими, чем (всё еще неизвестный) радиус Земли. Даниель ехал в ночь, но не в темноту. Свод оранжевого света раскинулся на милю над Лондоном. Земля вздрагивала — поначалу Даниель думал, что с такой силой рушатся здания, однако толчки шли в явно продуманной последовательности, и он сообразил, что дома нарочно взрывают порохом, чтобы воздвигнуть завал на пути огня.

Сперва он полагал, что дому Дрейка за Холборном пожар не грозит, но число взрывов и размер зарева убеждали, что обольщаться не стоит. Теперь он ехал во встречном потоке измазанных сажей бедолаг. В складки одежды и даже в уши набился пепел, хлопья обугленного вещества, дождем сыпавшие вокруг.

— Прям как снег! — воскликнул какой-то маль-

чик, глядя вверх.

Даниель через силу поднял глаза и увидел, что небо полно какими-то ошмётками, которые медленно кружат, но в целом опускаются к земле. Он поймал один: страницу 798-ю из Библии, обугленную по краям; протянул руку и поймал другой: листок из амбарной книги золотых дел мастера, всё ещё тлеющий с угла. Листовку против свободной чеканки монет. Письмо одной дамы к другой. Они ложились на плечи, как палая листва, и вскоре Даниель перестал их читать.

Дорога заняла так много времени, что зрелище первого горящего дома оказалось столь же неожиданно, сколь и ужасно. Столбы пламени вставали из окон, чёрные фигурки бегали с вёдрами, плеща через край самоцветы воды. Погорельцы запрудили поля за Грейз-Инн-роуд и, устав смотреть на пожар, сооружали убежища из подручного материала.

Неподалеку от Холборна дорогу почти перегородили обломки взорванных домов — даже сквозь запах горящего Лондона Даниель различал сернистый пороховой дух. В следующий миг взлетело на воздух здание справа; Даниель увидел жёлтую вспышку, и тут же в лицо бросило щебнем (ощущение было такое, будто половину лица

попросту снесло). Он оглох. Лошадь взвилась на дыбы, сломала ногу о груду камней и сбросила Даниеля. Он упал на камни и доски, потом встал, не помня, сколько времени пролежал. Взрывы звучали чаще; главный фронт пламени приближался. От стен, крыш, от одежды на живых и на мертвецах поднимались завесы пара. Даниель в свете зарева перебрался через завал на улицу, ещё не засыпанную, но обречённую сгореть.

Добравшись до Холборна, он повернулся спиной к огню и побежал на грохот взрывов. Часть мозга выполняла геометрические построения, нанося взрывы на мысленную карту и экстраполируя их дальше. По всему выходило, что дуга пройдет через дом Дрейка.

На Холборне тоже лежала груда, такая свежая, что камни еще осыпались, стремясь к углу естественного откоса. Даниель взбежал по ней, почти боясь увидеть под ногами отцовскую мебель. Однако с вершины ему открылся вид на дом Дрейка, который по-прежнему высился, хотя высился в одиночестве — оба соседних дома лежали в развалинах. Стены дымились, головешки сыпались вокруг, как метеоры, а Дрейк Уотерхауз стоял на крыше, держа над головой Библию. Он что-то кричал, но никто при всем желании не разобрал

бы слов.

На улице внизу образовалось необычное скопление дворян в некогда ярких, а теперь чёрных от сажи нарядах, и мушкетёров, которым явно не по душе было стоять так близко к огню с пороховницами на поясе. Очень богатые и знатные люди смотрели на Дрейка, кричали и указывали вниз, призывая его спуститься. Однако Дрейк смотрел только на огонь.

Даниель повернулся туда, куда смотрел отец, и его едва не бросило на землю жаром и зрелищем Большого Пожара. Все от востока до юга пылало, всякая вещь под звёздами. Пламя взметалось и трепетало, взмывало к небу и колыхалось, дома ложились, как смятая трава под исполинским колесом Джона Уилкинса.

Оно надвигалось так быстро, что настигало бегущих людей — те окутывались дымом и взрывались пламенем, обращаясь в свет: вознесение. Дрейк указывал на них перстом, но придворные щеголи не желали ничего видеть. В глазах Дрейка они были демонами ещё до того, как Лондон объяло пламя, поскольку пресмыкались перед королём Карлом II, архидемоном самого Людовика XIV. И теперь эти люди сошлись перед его домом.

Взгляды придворных были обращены внутрь, на одного человека — даже Дрейк на него смотрел. Даниель приметил лорда-мэра и поначалу счёл центром внимания его, но лорд-мэр неотрывно глядел куда-то ещё. Отыскав новую позицию на куче, Даниель увидел наконец высокого смуглого человека в невероятно роскошном наряде. Огромный парик возбуждённо трясся. Его обладатель внезапно шагнул вперёд, выхватил у приспешника факел, последний раз глянул на Дрейка и коснулся факелом мостовой. Яркая звёздочка дымного пламени побежала к распахнутой двери.

Человек с факелом обернулся, и Даниель узнал короля.

В толпе произошло предварительное подобие взрыва: придворные и мушкетеры сомкнулись вокруг монарха, защищая его от летящего верджинела. На крыше Дрейк, указуя перстом на его величество, воздел Библию над головой, дабы призвать с неба новый поток проклятий. По пылающим головням, которые сыпались вокруг, словно копья ангелов-мстителей, он, вероятно, вообразил, будто играет важную роль в Страшном Суде. Однако ни одна головешка не упала на короля.

Искра взбиралась по ступеням. Даниель сбежал по развороченным останкам дома, уверенный, что сумеет обогнать её и вырвать запал раньше, чем огонь доберётся до пороховых бочонков в гостиной. Навстречу ему неслись королевские стражники. Уголком глаза он видел, что один из них разгадал его намерение — лицо внезапно разгладилось и осветилось, как у студента, до которого наконец дошло. Мушкетёр шагнул в сторону и поднял к плечу трубку с воронкообразным раструбом. Даниель взглянул на отцовский дом и заметил, что искра бежит по тёмной прихожей. Он напрягся в ожидании взрыва, но грохот раздался сзади — и тут же его ударило в сотне мест, бросило лицом на мостовую.

Даниель перекатился на спину, пытаясь загасить языки боли по всему телу, и увидел, что отец возносится к небесам. Чёрная одежда обратилась в одеяние пламени; конторка, книги и напольные часы летели следом.

— Отец! — позвал Даниель.

Призыв был бессмысленным, если признавать смысл исключительно в натурфилософских рамках. Даже предполагая, что Дрейк был жив, когда Даниель к нему обратился (довольно смелое допущение, не делающее чести молодому члену

Королевского общества), он находился далеко и продолжал удаляться в грохоте и смятении, к тому же, вероятно, оглох от взрыва. Однако Даниель разом увидел, как взлетает на воздух родной дом, и получил в спину заряд картечи; всякий натурфилософский смысл из него вышибло. Осталась логика пятилетнего ребенка, видящего, что отец его покидает, хотя это неправильно и супротив естества. Более того, между ними осталось всё несказанное за последние двадцать лет: он согрешил перед Дрейком и мог бы, покаявшись, получить отпущение, а Дрейк согрешил перед ним и должен был дать ответ. Намеренный во что бы то ни стало предотвратить этот гнусный и противоестественный уход, Даниель прибег к единственному средству самосохранения, какое Бог даровал пятилетним: к голосу, который сам по себе ничего не делает, лишь сотрясает воздух. В любящем доме на крик сбегутся и помогут. «Отец!» — повторил Даниель. Однако его дом превратился в ураган кирпичей и брызги досок, прочерчивающих собственные дуги к дымной земле, а отец обратился в грозное облако. Как богоявление в Ветхом Завете. Только если Иегова в облаках являл Себя Своему народу, то это облако поглотило Дрейка и не извергло, а соединило с Ве-

ликой Тайной. Он сокрылся от Даниеля навсегда.

На «Минерве», Плимутский залов, Массачусетс
Ноябрь, 1713 г.

Мозг опередил перо; чернила высохли, лицо увлажнилось. Один в каюте, Даниель предается ещё одному излюбленному занятию пятилетних. Некоторые считают, что плакать — ребячество. Даниель (который с рождения Годфри досыта наслушался плача) придерживается противоположного мнения. Плакать в голос — ребячество, поскольку плачущий верит, что его услышат и опрометью бросятся спасать. Плакать беззвучно, как Даниель в это утро, — знак возмужалого страдальца, не питающего подобных иллюзий.

На орудийной палубе раздаются ритмичные выклики. Крики медленно нарастают и взрываются топотом ног по трапам красного дерева; и вот уже палуба «Минервы» заполнена матросами, они бегают и сталкиваются, словно живая иллюстрация гуковой теории тепла. Первая мысль Даниеля: в пороховом погребе пожар и команду высвистали наверх, чтобы покинуть судно. Однако паника в высшей степени упорядоченная.

Даниель вытирает лицо, закрывает чернильницу, выходит на шканцы и бросает за борт испорченное перо. Матросы по большей части уже на вантах и спускают огромные белые полотнища, словно стремясь защитить непривычный взгляд Даниеля от целой флотилии вельботов и шлюпов. Камни и деревья на берегу смещаются по отношению к неподвижному наблюдателю на «Минерве» явно недолжным образом. «Мы дрейфуем… нас несёт!» — возмущён Даниель. Поднять якорь на корабле такого размера — дело до нелепого долгое и муторное. Матросы с пением бегают взапуски вокруг огромного кабестана, юнги отскребают от ила и посыпают песком якорный канат, добиваясь лучшей сцепки с кабалярингом — бесконечной петлей, трижды обнесённой вокруг шпиля, к которой они занемевшими руками крепят якорный канат. В часы с восхода солнца ничего похожего даже не начиналось.

— Нас несёт! — вновь взывает Даниель к Даппе, ловко спрыгнувшему с юта только что не ему на плечи.

— Само собой, капитан, — мы все в панике, разве вы не видите?

— Вы несправедливы к себе и своей команде, мистер Даппа… и почему вы обращаетесь ко

мне «капитан»? И почему нас несёт, если мы не подняли якорь?

— Ваше место на юте, капитан… вот так, ещё шажок…

— Позвольте мне сходить за шляпой…

— Ни в коем разе, капитан, надо, чтобы каждый пират в Новой Англии — а в данную минуту они все здесь — видел ваши блистающие на солнце седины и лысину, розовую и бледную, как у капитана, который много лет не поднимался на палубу. Сюда, смотрите на штурвал, сэр… вот так… не могли бы вы качнуться ещё раз? Сощурьтесь на непривычный свет… отлично сыграно, капитан!

— Боже милостивый, Даппа, мы дрейфуем! Какой-то безумец перерезал якорные канаты!

— Я же сказал: мы были в панике… осторожнее на трапе, капитан!

— Отпустите мой локоть! Я вполне в состоянии…

— Рады вам служить, капитан, — и я, и этот увечный голландец наверху трапа.

— Капитан ван Крюйк! Почему вы одеты как простой матрос?! И что сталось с нашими якорями?!

— Мёртвый груз, — бросает ван Крюйк и что-то

добавляет по-голландски.

— Он говорит, вы проявляете именно ту бессильную сварливость, какая нам нужна. Вот возьмите подзорную трубу! У меня мысль — почему бы вам для начала не поднести её к глазу другим концом и не разыграть растерянность и гнев — как будто какой-то подчинённый по глупости поменял линзы.

— Да будет вам известно, мистер Даппа, что в своё время я знал об оптике больше любого из смертных, за исключением одного. Двух, если считать Спинозу, однако он был всего лишь *практическим* шлифовальщиком и больше предавался *афеистическим* размышлениям…

— Делайте что сказано! — рычит однорукий голландец. Он по-прежнему капитан, поэтому Даниель подходит к ограждению юта, поднимает трубу и смотрит в объектив. *Слышно*, как пираты в вельботах над ним смеются. Ван Крюйк отбирает у Даниеля трубу, поворачивает другим концом и суёт обратно. Даниель пытается навести стекло на приближающийся вельбот, однако нос судёнышка окутан завесой дыма, которая быстро рассеивается на утреннем ветру. Уже несколько минут паруса «Минервы» раздуваются, часто с резким хлопком, напоминающим пушечный

выстрел, но…

— Дьявол! — говорит Даниель. — Они по нам *палят*!

Он видит теперь, что наносу вельбота установлен фальконет и какой-то верзила закладывает в жерло аккуратную связку свинцовых шариков.

— Предупредительный выстрел, — успокаивает Даппа. — Выражение ужаса на вашем лице, жесты… превосходно.

— Число судов изумляет… неужто они все пиратствуют *вместе*?

— Времени на объяснения будет ещё вдоволь, а пока вам стоит зашататься и схватиться за сердце — мы под руки отведём вас в вашу каюту на верхней палубе.

— Позвольте! Моя каюта, как вам известно, на шканцах…

— Только на сегодня вам уступили лучшую каюту на корабле, капитан. Идёмте, вы слишком долго были на солнцепёке — вам пора отдохнуть и откупорить бутылочку рома.

— Пусть обмен выстрелами не вводит вас в заблуждение, — произносит Даппа, просовывая курчавую, тронутую сединой голову в капитанскую каюту. — Будь это настоящее сражение, шлюпы и вельботы вокруг разлетались бы в

щепки.

— Если это не сражение, то как прикажете называть, когда люди на кораблях обмениваются свинцом?

— Игрой… танцем. Театральным представлением. Кстати… вы в последнее время репетировали свою роль?

— Полагал небезопасным, пока летает картечь… но коль скоро это всего лишь *развлечение*, что ж… — Даниель выбирается из-под стола, под которым сидел на корточках, и направляется к окну, двигаясь как в парадоксе Зенона: каждый шаг вдвое короче предыдущего. Каюта ван Крюйка занимает всю ширину кормы: два человека могли бы играть здесь в волан. Кормовая переборка представляет собой одно слабо изогнутое окно, в которое, как понимает теперь Даниель, виден весь Плимутский залив: крохотные домики и вигвамы на берегу, а на воде многочисленные судёнышки, окутанные пороховым дымом. Иногда они мечут короткие жёлтые молнии в направлении «Минервы».

— Публика настроена враждебно, — замечает Даниель. Одно из оконных стёклышек слева разбивается — надо полагать, от пули.

— Превосходный жест! То, как ваши руки взмет-

нулись к голове, словно вы пытаетесь зажать уши, и замерли в воздухе, будто уже охваченные трупным окоченением… благодарение Богу, что вы у нас есть!

— Должен ли я понимать, что всё происходящее — лишь какой-то сложный способ манипулировать сознанием пиратов?

— Не стоит заноситься — они точно так же поступают с нами. Половина пушек у них на борту вырезаны из брёвен и покрашены под настоящие.

Нечто метеороподобное сносит носовую дверь с петель и зарывается в дубовую кницу, сбивая и слегка перекашивая каюту — придавая Даниелевой системе отсчёта некую параллелограмматичность, отчего кажется, будто Даппа стоит теперь чуть-чуть под углом… или, может быть, весь корабль накренился набок.

— Некоторые пушки, разумеется, настоящие, — быстро говорит Даппа, пока Даниель не успел сам на это указать.

— Если мы воздействуем на сознание пиратов, зачем выставлять капитана выжившим из ума трусом, в чём, если я верно читаю между строк, и состоит моя роль? Что мешает открыть все орудийные порты, выдвинуть все пушки, огласить

холмы эхом бортовых залпов и чтобы ван Крюйк на юте потрясал в воздухе крюком?

— Всё ещё будет, дайте срок. Однако сейчас мы должны применять стратегию многоуровневого блефа.

— *Зачем?*

— Поскольку нам предстоит иметь дело не с одной группой пиратов.

— *Что?!*

— Вот почему сегодня утром до зари мы захватили в плен и допросили…

— *Кое-кто* сказал бы: «подвергли пыткам»…

— …нескольких пиратов. В Плимутском заливе чересчур много пиратов — это противно всякой логике. Некоторые из них, судя по всему, враждуют между собой. И впрямь, мы выяснили, что традиционные, честные работяги-пираты Плимутского залива, те, что в маленьких судёнышках… Эй, капитан! Два шага к штирборту, сделайте одолжение!

Даппа приметил что-то за окном. Даниель оборачивается и видит сразу за стёклами вертикально натянутый трос — зрелище само по себе необычное, но, главное, секунду назад его здесь не было. Трос дрожит, выбивая дробь по окну. Появляются две мозолистые руки, широкополая

шляпа, голова с зажатым в зубах ножом. За спиной у Даниеля раздаётся оглушительный грохот, и что-то происходит с лицом пирата, отчётливо видным через дыру на месте внезапно исчезнувшего стекла. Дым стелется по уцелевшим стёклышкам; когда он рассеивается, пирата уже нет. Даппа стоит посреди каюты, держа в руках дымящийся ствол.

Он роется у ван Крюйка в сундуке, вытаскивает крюк с болтающимися на ремешках когтями.

— Вот о таких я и говорил. Они бы никогда не отважились на подобное безрассудство, если бы их не теснила новая генерация.

— Что за новая генерация?

Даппа брезгливо бросает крюк в отверстие от выбитого стекла, ловит пиратский трос, втаскивает в каюту и перерубает ловким ударом сабли.

— Поднимите глаза к горизонту, капитан, вам предстанет флотилия каботажных судов: шлюпы, марсельные шхуны и кеч — общим числом с полдюжины или чуть больше. Они обмениваются странной информацией при помощи флажков, выстрелов и солнечных зайчиков.

— Так это они оставили без хлеба других буканьеров?

— Именно так. Если бы мы сразу дали им отпор,

они бы поняли, что дело швах, и могли бы объединиться с Тичем.

— С Тичем?

— Эдвардом Тичем, капитаном вон той флибустьерской флотилии. А так они растратили силы в тщетных попытках захватить «Минерву», прежде чем Тич успел поднять паруса. Теперь мы сможем заняться Тичем отдельно.

— Был какой-то Тич в Королевском флоте…

— Это он и есть. Тич сражался на стороне королевы, грабил испанские корабли. Теперь, когда мы замирились с Испанией, он остался не у дел и пересёк океан, чтобы разбойничать в Америке.

— Следовательно, я могу заключить, что Тичу нужен не столько наш груз, сколько…

— Даже если мы выбросим за борт все тюки до последнего, он от нас не отстанет. Ему нужна «Минерва». И мощный флагман флибустьерского флота из неё бы получился!..

Пальба стихла, и Даниель решается снова подойти к окну. Он смотрит, как, поднимая парус за парусом, флотилия Тича собирается в плотное облако.

— С виду корабли быстроходные, — замечает он. — Скоро мы Тича увидим.

— Его несложно будет узнать. Он вплетает в

волосы тлеющую паклю, словно огненные косы, а по ночам зажигает в густой чёрной бороде фитили. Пол-Плимута убеждено, что он — дьявол во плоти.

— А вы как думаете, Даппа?

— Думаю, что не было ещё дьявола свирепей, чем капитан ван Крюйк, когда пираты покушаются на его красотку.

Чаринг-Кросс
1670 г.

Сэр РОБЕРТ МОРИ представил рассуждение о кофее, написанное доктором ГОДДАРОМ по указанию короля; сочинение было зачитано, и автор пожелал оставить Обществу один экземпляр.

Мистер БОЙЛЬ упомянул, что, по некоторым сведениям, чрезмерное употребление кофея вызывает дрожательный паралич.

Епископ Экстерский поддержал его, сказав, что тоже наблюдал за кофеем подобное действие, но полагает, что напиток вызывает названную болезнь, а также мышечную немочь исключительно в горячем виде.

Мистер ГРАУНТ подтвердил, что знает двух джентльменов, больших любителей кофея, весьма немощных.

Доктор УИСТЛЕР предложил выяснить, употребляют ли эти джентльмены также табак.

История Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. 18 января 1664/5[26] года

Страшась мышечной немочи и дрожательного паралича, Даниель избегал упомянутого напитка до 1670 года, когда впервые попробовал его в кофейне миссис Грин на перекрёстке Стренда и Чаринг-Кросс. Западнее располагалась церковь Святого Мартина-на-полях[27], с востока — Новая Биржа, уже обросшая целым торговым кварталом. Севернее лежал Ковент-Гарден, в нескольких сотнях ярдов к югу — по преданиям и молве — протекала Темза, однако увидеть ее было нельзя: дворцы и особняки знати образовали сплошную набережную от королевской резиденции (Уайт-холла) по всему изгибу реки до Флитской канавки, откуда начинались пристани.

---

[26] Примечания: 26

То есть везде был уже 1665 год, за исключением Англии, где новый год по-прежнему наступал 25 марта.

[27] Примечания: 27

Хотя поля застроили, так что к настоящему времени она была скорее церковью Святого Мартина-на-краю-поля и неуклонно превращалась в церковь Святого Мартина-от-которой-видно-очень-дорогое-поле-или-два.

Даниель Уотерхауз поравнялся с кофейней миссис Грин однажды летним утром 1670 года через минуту после Исаака Ньютона. Перед кофейней был расположен садик с несколькими столами; Даниель вошёл туда и осмотрелся, проверяя линии видимости.

Исаак проснулся ни свет ни заря, выскользнул из спальни и вышел на улицу, не позавтракав, что, впрочем, было вполне в его духе. Даниель последовал за ним через парадную дверь заново отстроенной и значительно расширенной резиденции Уотерхаузов, мимо Линкольн-Иннз-филд, где несколько модников с утра пораньше выгуливали собак или о чём-то шушукались, и (по совпадению) мимо того места на Друри-Лейн, где шесть лет назад двое французов умерли от чумы, положив начало памятному Чумному году. Оттуда в гибельную теснину летящей земли и шатких камней, в которую превратилась Сент-Мартин-лейн — ибо Джон Комсток, граф Эпсомский, в своей новой роли главного смотрителя городской канализации повелел замостить бывшую коровью тропу и превратить её в улицу — ось будущего Лондона.

Даниель следовал на некотором отдалении, чтобы Исаак не заметил его, обернувшись, —

впрочем, с Исааком было не угадать, он обладал чутьём дикого зверя. Сент-Мартин-лейн заполнили тяжело нагруженные телеги с камнями; погонщики еле-еле справлялись с могучими ломовыми лошадьми. Даниелю приходилось уворачиваться от телег и перебираться через кучи земли, стараясь в то же время не упустить Исаака.

Наконец они добрались до Чаринг-Кросс и прилегающего подворья, где в былые времена останавливались шотландские короли, приезжая на поклон к английским сюзеренам. Здесь Даниель мог отстать сильнее: серебряные волосы Исаака отчётливо выделялись в толпе. Если Исаак направлялся в какую-нибудь лавочку, кофейню, на платную конюшню, на рынок или в один из дворянских домов вдоль перекрёстка, то за ним можно было, не суетясь, проследить из садика.

Даниель сам не знал, что на него нашло. Своим загадочным уходом Исаак словно напросился на слежку. Впрочем, он не очень и таился. Исаак привык быть настолько умнее остальных, что и в малой мере не представлял их реальных способностей. Если он пускался на хитрость, то придумывал уловки, которые не обманули бы и пса. Это несколько задевало, но общение с Исаа-

ком всегда было не для тонкокожих.

Они по-прежнему жили в Тринити-колледже, уже не в прежней комнатёнке, а в домике за Большими воротами. Ставили опыты с линзами и призмами. Исаак дважды в неделю читал перед пустой аудиторией лекцию на математические темы, столь заумные, что никто их, кроме него, не понимал. Так что в этом смысле ничего не изменилось. Однако в последнее время Исаак явно охладел к оптике (возможно, потому, что знал теперь о ней всё) и сделался таинственным. Три дня назад он объявил, что планирует несколько дней провести в Лондоне. Когда Даниель сказал, что собирается туда же — навестить беднягу Ольденбурга и побывать на собрании Королевского общества, — Исаак без особого успеха попытался скрыть раздражение. Впрочем, спасибо, что вообще попытался.

На полдороге к Лондону Даниель (в порядке эксперимента) ужаснулся намерению Исаака остановиться в гостинице. Об этом не может быть и речи, заявил он, тем более теперь, когда Релей потратил столько семейных средств на строительство большого нового дома. Глаза Исаака вылезли из орбит, а лицо приняло страдальческое выражение. Лишь уверения Даниеля, что

дом огромен, в нем полно пустых комнат, и они скорее всего даже видеться не будут, сломили его упрямство.

По этим наблюдениям Даниель выстроил гипотезу, что Исаак совершает с кем-то грех супротив естества. Впрочем, ей противоречили некоторые факты — например, Исааку никто и никогда не писал.

Пока Даниель стоял перед кофейней, некий джентльмен[28] выехал на Сент-Мартин-лейн, привстал на стременах и оглядел вялотекущее столпотворение, какое всегда представлял собой Чаринг-Кросс. Некоторое время он озабоченно озирался, пока не нашёл того, кого искал. Тут он успокоился, опустился в седло и поехал навстречу… Исааку Ньютону. Даниель сел за стол перед заведением миссис Грин и заказал газету и кофей.

Здоровье Карла II Испанского не оставляло надежд, что он доживёт до конца года. Коменский тоже лежал при смерти. Анна Гайд, супруга герцога Йоркского, страдала тяжёлым недугом — по общему мнению, сифилисом. Джон Локк написал конституцию для Каролины, на Украине пода-

---

[28] Примечания: 28
То есть человек при шпаге.

вили казацкий бунт Стеньки Разина, турецкий султан левой рукой отобрал у Венеции Крит, а правой объявил войну Польше. В Лондоне снижение цен на перец разорило многих торговцев, а по другую сторону пролива голландская Ост-Индская компания выплачивала сорокапроцентные дивиденды.

Однако новостями были действия «Кабалы»[29] и *придворных*. Поскольку из придворных один Джон Черчилль был способен совершить нечто значительное — например, отправиться к Берберийскому побережью и сразиться врукопашную с языческими корсарами, — много писали о нём. Он вместе с остальным Королевским флотом взял в блокаду Алжир, пытаясь хоть как-то обуздать берберийских пиратов.

Всадник напоминал придворного, хотя сильно потрёпанного и обносившегося. Несколько минут назад он едва не задавил Даниеля, когда тот вышел из дома и опрометчиво остановился посреди дороги, ища глазами Исаака. Выглядел

---

[29] Примечания: 29

Пять человек, которых Карл II избрал, чтобы управлять Англией. Это были: Джон Комсток, граф Эпсомскнй, лорд-канцлер, Томас Мор Англси, герцог Ганфлитский, канцлер Казначейства, Нотт Болструд, которого вытащили из Голландии, чтобы назначить государственным секретарём, сэр Ричард Апторп, банкир, основатель Английской Ост-Индийской компании, и генерал Хью Льюис, герцог Твидский.

он бедным бароном из каких-нибудь северных сланцевых краёв, явившимся в Лондон без денег, но с большими надеждами. На нём были настоящие ботфорты, а не остроумный намёк на ботфорты, как у светских щеголей, и похожий на сутану плащ со множеством серебряных пуговиц. Посредственная лошадь под дорогим седлом выглядела как торговка рыбой в полковничьем мундире. Если Исаак искал метрессу (или метра, или что там у содомитов соответствует метрессе), он мог найти и похуже, а мог — и получше.

Даниель принёс с собой Ценный Предмет — не потому, что собирался им воспользоваться, а из страха, как бы кто-нибудь из Релеевых слуг не украл его или не повредил. Предмет этот находился в деревянном ящичке, который Даниель положил на стол. Сейчас он отпер замочки, поднял крышку и отогнул красный бархат, под которым оказалась трубка длиною примерно в фут, толщины такой, что в неё можно было бы просунуть кулак, и закрытая с одного конца. Она была установлена на деревянном шаре размером с большое яблоко, сам же шар помещался в выемке и свободно поворачивался по любой оси. Например, можно было поставить прибор на стол и навести трубу куда хочешь, что Даниель и

сделал. Возле открытого конца в боковой стенке имелось отверстие размером в палец, а за ним, внутри, — зеркальце, развёрнутое к выгнутому посеребрённому стёклышку, закрывающему основание трубки. Замысел принадлежал Исааку, некоторые усовершенствования и почти всё практическое исполнение — Даниелю. Поднеся глаз к отверстию, он увидел расплывчатое цветное пятно; вращая винт со стороны зеркальца и, соответственно, укорачивая тубус, он превратил пятно в кусок орнаментального оконного переплёта с выбившейся наружу кружевной занавеской на противоположной стороне Чаринг-Кросс. Даниель вздрогнул, осознав, что смотрит на Грейт-корт перед Уайт-холлом, в чьё-то окно. Если он не очень сильно ошибся, это была резиденция леди Каслмейн, любимой фаворитки английского короля.

Чуть повернув трубу, он увидел край Дворца для приёмов, перед которым обезглавили Карла I, — божественное право королей упразднили, провозгласили Республику, объявили свободу предпринимательства, Дрейк был счастлив, а Даниель с его плеч смотрел, как скатилась королевская голова. В те дни наружные окна Уайт-холла были заложены кирпичом для защи-

ты от пуль, а языческие роскошества, например, картины и статуи, запаковали в ящики и продали голландцам. Однако теперь окна вновь стали окнами, украшения выкупили обратно, и в пределах видимости не рубили голову ни одному королю.

Короче, не время вспоминать Дрейка. Даниель повернул отражательный телескоп и отыскал обтрёпанное перо на шляпе наездника — размытое белое колыхание наподобие заячьего хвостика. Наведя на резкость и ещё чуть-чуть повернув трубу, он поймал серебристый водопад волос — и вовремя, потому что Исаак уже поднимался по ступеням дома за Хеймаркетом, в начале Пэлл-Мэлл. Даниель направил трубу на фасад здания, ожидая увидеть кофейню, таверну или паб, где Исаак намерен дождаться приятеля-джентльмена. Он ошибся: это был самый обычный дом, однако в него входили хорошо одетые люди; когда же они выходили, у них (или у слуг) были в руках свёртки. Даниель решил, что это лавочка, хозяин которой не хочет привлекать излишнее внимание вывеской, — заведение для этой части Лондона вполне обычное, но не из тех, какие стал бы посещать Исаак.

Наездник в дом не вошёл. Он проехал мимо

лавочки раз, другой, третий, искоса поглядывая на дверь, — явно озадаченный не менее Даниеля, потом вроде бы обратился к прохожему. Тут Даниель припомнил, что за всадником бежали двое пеших слуг. Сейчас один из этих пажей, или кто там они были, бегом припустил между разносчиками и возами с сеном, пересёк Чаринг-Кросс и пропал из вида на Стренде.

Всадник спешился, отдал поводья другому пажу и принялся расстегивать рукава, превращая сутану в плащ. Он стащил длинные гетры, явив взглядам чулки и панталоны, вышедшие из моды всего полгода назад, после чего свернул в кофейню напротив загадочной лавки, то есть на южном краю Сент-Джеймс-филдс — одного из тех самых полей, что совсем недавно окружали церковь Святого Мартина. Теперь вокруг понастроили домов, и место пахоты заняли сады.

Даниелю ничего не оставалось, кроме как сидеть в кофейне. В качестве арендной платы за стул он заказал ещё кофе. Первый глоток был такой гадкий, что Даниеля чуть не перекосило, — вроде тех экзотических отрав, которые любили варить некоторые члены Королевского общества. Однако через некоторое время он с изумлением обнаружил, что чашка пуста.

Вся история начала разворачиваться рано утром, когда знать ещё спит, к тому же было холодно, и стулья в садике покрывала роса. Покуда Даниель сидел и делал вид, будто читает газету, солнце показалось сперва над Йорк-хаусом, потом над Скотленд-Ярдом, воздух согрелся, и за соседними столиками начали появляться действующие лица. Они садились и тоже делали вид, будто читают газеты. У Даниеля даже возникло впечатление, что этих самых персонажей упоминали братья за семейным столом. Сидя среди них, он чувствовал себя зрителем, который после спектакля развлекается с актёрами — или, по тем фривольным временам, с актёрками.

Он довольно долго пытался разглядеть в телескоп верхние окна загадочной лавочки, за одним из которых вроде бы мелькнул отблеск серебристых волос, поэтому вначале различал других посетителей лишь по волнам духов, шуршанию кринолинов, зловещему скрипу корсетов из китового уса, звукам, с которым джентльмены, не рассчитав расстояния, задевали шпагой ножки стола, и щёлканью подбитых каблуков.

Духи казались знакомыми, и все шутки Даниель слышал раньше, за обедами в доме Релея. Релей, достигший к этому времени пятидесяти

двух лет, состоял в дружбе с невероятным количеством зануд, у которых, похоже, не было других дел, кроме как кочевать из дома в дом наподобие бродяг-мародёров и обмениваться друг с другом своим занудством. Даниель всякий раз изумлялся, узнав, что это рыцари, бароны или богатые купцы.

— Ба, кого я вижу! Даниель Уотерхауз! Боже, храни короля!

— Боже, храни короля, — пробормотал Даниель, поднимая глаза на буйную мешанину одежд и покупных волос, в которой после недолгих поисков опознал лицо сэра Уинстона Черчилля, члена Королевского общества и отца того самого Джона Черчилля, который только что отличился под Алжиром.

Наступила минутная неловкость. Черчилль с секундным опозданием вспомнил, что вышеупомянутый король самолично взорвал Даниелева отца. У Черчилля в семье было много антироялистов, и он гордился своим дипломатическим тактом.

Останки Дрейка так и не нашли. Даниель смутно помнил (смутно, поскольку в него тогда же выстрелили из мушкетона), что взрыв бросил отца в общем направлении Большого Пожа-

ра. Вряд ли от него осталось что-нибудь, кроме стойкой плёнки жирного пепла на белье и на подоконниках подветренного квартала. Черепки сервиза «МЫ ОБА ПРАХ», найденные в развалинах соседних домов, подтверждали догадку. Джон Уилкинс, всё ещё оплакивающий утрату книг на всеобщем языке (они сгорели во время пожара), согласился провести заупокойную службу. Лишь благодаря его обаянию и миротворческому таланту похороны не переросли в бунт и толпа разъяренных пуритан не двинулась в цареубийственном раже на Уайт-холл.

С тех пор (и ещё потому, что почти все отцовские деньги достались Релею) Даниель редко видел родных. Вместе с Исааком он занимался оптикой и всякий раз дивился, что другие Уотерхаузы в его отсутствие не сидят сложа руки. Восславь-Господа, старший сын Релея, уехавший в Бостон накануне чумы, окончил Гарвард и женился, поэтому все (и хозяева, и гости) о нем говорили — но всегда с неким оттенком лукавства, словно напроказившие дети, и украдкой косясь на Даниеля. Он заключил, что они с Восславь-Господа — последние пережитки пуританизма в семье, и завсегдатаи кофеен тайно восхищаются тем, как ловко Релей сплавил одного в Гарвард,

другого — в Кембридж, чтобы не путались под ногами.

По выразительным взглядам, которыми обменивались за столом старшие братья, их многочисленные домочадцы и пышно разодетые гости, Даниель заключил, что Уотерхаузы, Хамы и, возможно, кто-то ещё составляют огромный комплот, цель которого не ясна, но для самих заговорщиков не менее сложна и значительна, чем, скажем, разгром Священной Римской империи.

Томас Хам теперь звался виконтом Уолбруком. Все его золото расплавилось в огне, но ни капли не вытекло за пределы укрепленного подвала. Вернувшись через несколько дней, Хамы обнаружили многотонную золотую плиту — Самый Большой в Мире Золотой Слиток. Вкладчики не потеряли ни пенни. Другие спешно понесли своё золото надежнейшему мистеру Хаму. Тот начал ссужать короля средствами на восстановление Лондона. Отчасти за это, отчасти в компенсацию за то, что взорвал его тестя, король наградил Хама титулом.

В таком вот контексте Даниель смотрел сейчас на смущённое лицо сэра Уинстона Черчилля. Если бы Черчилль спросил, Даниель, возможно, ответил бы, что у короля, когда тот взрывал его

отца, не было иного выхода. Однако Черчилль не спрашивал, он строил догадки. Вот почему он бы никогда не стал настоящим натурфилософом. В Королевском обществе его терпели, поскольку он исправно платил взносы.

Даниель осознавал, что окружён знатью и все глаза устремлены на него. Отражательный телескоп стоял на столе, уличающий, как отрубленная голова. Сэр Уинстон из-за конфуза ещё его не заметил, но заметит, а как давний член Королевского общества наверняка разгадает назначение прибора. Даже если Даниель что-нибудь соврёт, ложь вскроется сегодня же вечером, когда он от имени Исаака будет представлять телескоп на собрании Королевского общества. Хотелось поскорее спрятать прибор, однако это значило бы только больше заострить на нём внимание.

И сэр Уинстон был далеко не единственным из его знакомых. По-видимому, Даниель неосторожно уселся у большой охотничьей тропы: все, кто направлялся из Уайт-холла или Вестминстера на Новую Биржу за чулками, перчатками, шляпами, средствами от сифилиса и проч., заглядывали в кофейню миссис Грин — последний разок проверить, что нынче в моде.

Даниель не двигался и не говорил, как ему по-

казалось, минут десять… собственно (он взглянул на пустую чашку), с ним приключился паралич! Он выручил сэра Уинстона из неловкого положения возгласом: «Надо же!» и попыткой вскочить, которая выразилась в дрожательно-паралитической судороге всего тела. Даниель вступил в короткую схватку со столом, в результате которой чашки спрыгнули с блюдец. Все повернулись в его сторону.

— Мистер Уотерхауз, ревностный натурфилософ, ставит на себе опыт по одурманиванию кофеем! — проворно объявил сэр Уинстон. Послышался громогласный смех и даже редкие хлопки.

Сэр Уинстон принадлежал к поколению Релея и во время войны сражался на стороне кавалеров. Он был человек солидный и носил наряд, в его кругу считавшийся умеренным: чёрный бархатный камзол чуть выше колен, из всех отверстий которого струйками пара выбивались носовые платки, жёлтый нижний камзол и ещё бог ведает что под ним; рукава всех этих одеяний заканчивались у локтя пышным венком кружев, гофреев и проч., ниспадающих на лайковые перчатки. Голову венчала широкополая шляпа, утыканная чем-то пушистым и белым, очевидно, надёрганным из седалища птицы, которая большую

часть жизни проводит на арктическом льду. У сэра Уинстона были очень тонкие усики и очень большой белокурый парик, тщательно завитый и всклокоченный. Черные чулки по моде морщились на икрах, башмаки на каблуках украшали банты восьми дюймов в размахе. Стыковка чулок и панталон происходила где-то в районе колен и утопала в лентах, подвязках и оборках, которые должны были выглядывать из-под края верхнего камзола, нижнего камзола и примкнувших к ним одежд.

Миссис Черчилль, со своей стороны, проделала какой-то убийственный фокус со шляпкой. Шляпка была по общим очертаниям пуританская — усечённый конус на широких плоских полях, оживлённый, однако, цветными лентами, брошками, эгретками и другой галантереей — короче, пародия на пуританский головной убор и на пуританизм вообще. Всё от полей шляпки до подола платья начисто превосходило понимание Даниеля; он мог лишь ошалело таращить глаза, как неграмотный дикарь на первую страницу иллюстрированной Библии, однако приметил, что мальчик, держащий шлейф, наряжен лепреконом (сэр Уинстон по королевским делам частенько бывал в Ирландии).

Туалет, быть может, избыточный для утреннего посещения кофейни, но Черчилли, вероятно, ждали, что все будут поздравлять их с геройскими подвигами сына, и нарядились соответственно.

Миссис Черчилль смотрела Даниелю через плечо, на улицу, и тот мог без стеснения разглядывать её лицо, на которое она наклеила несколько чёрных бархатных кружочков. Поскольку кожа под ними была выбелена каким-то косметическим составом, мушки придавали ей сходство с далматином.

— Он здесь, — обратилась миссис Черчилль к тому, на кого смотрела, и тут же смутилась. — Вы ведь собирались встретиться с братом?

Даниель обернулся и увидел Стерлинга Уотерхауза, сорока лет, с молодой женой Беатрис и целой свитой особ, которые, судя по всему, только что совершили набег на Новую Биржу. Стерлинг и Беатрис неприятно удивились, заметив Даниеля в кофейне; тем не менее после слов миссис Черчилль им оставалось только подойти. Они и подошли — с достаточно бодрой миной. Знакомства и прочие формальности (в частности, все поздравляли Черчиллей с замечательным сыном и обещали молиться за его благополучное возвращение от берегов Триполи) затянулись примерно

на полчаса. Даниелю хотелось перерезать себе глотку. Стерлинг и его знакомцы таким образом зарабатывают свой хлеб насущный; он — нет.

Однако он понял нечто такое, что впоследствии может пригодиться в общении с родными. Поскольку в загадочном комплоте, о котором Даниель в последнее время начал смутно догадываться, участвовал Релей, затея, вероятно, была как-то связана с землёй. Причастность дяди Томаса (виконта Уолбрука) Хама наводила на мысль, что планируется каким-то образом пустить в дело деньги богатых людей. А поскольку сюда же был замешан и Стерлинг, речь, очевидно, шла о лавках. После того, как Дрейк в пламени вознесся над Лондоном, Стерлинг отошёл от отцовского способа ведения дел (контрабанда, разъезды, прямые сделки в провинции) и стал торговать по-новому: свозить товары в определённое здание и ждать, пока покупатели сами за ними явятся. Вся схема сложилась у Даниеля в голове, пока он сидел в кофейне на Чаринг-Кросс и глядел, как придворные, франты, хлыщи и щёголи выходят из особняков, выросших за последние четыре года на пепелище или на месте полей. Братья затеяли какой-то проект, связанный с застройкой на краю города — может быть, на нескольких акрах луговой

земли за резиденцией Уотерхаузов. Они воздвигнут там особняки, в центре разобьют площадь, по её периметру Стерлинг откроет лавки. Богатые люди переедут в новые дома, а Уотерхаузы вместе с сообщниками получат контроль над участком земли, который будет приносить больше дохода, чем тысяча квадратных миль Ирландии, — по сути, займутся возделыванием богатых людей.

Прекраснее же всего (и тут явно чувствовалась рука Стерлинга): затея не представляла большой сложности! Не надо было побеждать врагов и преодолевать сопротивление — только следовать неким неумолимым тенденциям. Всё, что от них (от Стерлинга) требовалось, — примечать эти тенденции. У него был глаз намётан на подобные вещи — вот почему его магазины пользовались такой хорошей репутацией, — и ему оставалось лишь находиться там, где лучше всего примечать веяния времени. Очевидно, таким местом и была кофейня миссис Грин.

А вот Даниелю, напротив, тут было совсем не место, он только хотел узнать, что замышляет Исаак. Вокруг звучала оживлённая беседа, однако Даниелю казалось, что говорят на иностранном языке — впрочем, так оно частенько и было. Даниель поочерёдно смотрел на телескоп, гадая,

можно ли незаметно его спрятать, на загадочную лавку и джентльмена-наездника, на Стерлинга (тот надел сегодня алый шёлковый костюм с серебряными пуговицами, а лицо облепил мушками, хоть и не так густо, как Беатрис) и на сэра Уинстона Черчилля, который выглядел таким же скучающим, рассеянным и несчастным.

В какой-то момент он перехватил взгляд сэра Уинстона, устремлённый на телескоп; сэр Уинстон быстро двигал зрачками, соображая, как работает прибор. Выждав, когда тот повернётся к нему с вопросом на устах, Даниель подмигнул и чуть заметно мотнул головой. Сэр Уинстон поднял брови в восторге, что теперь у них с Даниелем есть своя маленькая интрига, — приятный сюрприз, всё равно что обнаружить у себя на коленях хорошенькую семнадцатилетнюю девушку. Одна из молодых приятельниц Беатрис заметила обмен взглядами и пожелала узнать, зачем нужен цилиндрический предмет.

— Спасибо, что напомнили, — сказал Даниель. — Мне лучше его убрать.

— Но что это? — спросила дама.

— Военно-морской прибор, — произнёс сэр Уинстон, — или его модель. Горе голландцам, когда изобретение мистера Уотерхауза получит

должное признание!

— Как он работает?

— Здесь не место объяснять, — отвечал сэр Уинстон, выразительно озираясь в поисках голландских шпионов. Остальные тоже завертели головами и тут же заметили нечто выдающееся — со Стренда на Чаринг-Кросс выступила свита, явно сопровождающая какое-то значительное лицо. Покуда все пытались понять, кто это такой, Даниель убрал телескоп и закрыл крышку.

— Граф Апнорский, — шепнули за спиной, и Даниель поднял глаза, дабы узнать, что сталось с его бывшим однокашником.

Ответ: Луи Англси, граф Апнорский, свободный от монашеских строгостей Кембриджа и достигший полных двадцати двух лет, мог наконец жить и одеваться по своему вкусу. Впечатление складывалось такое, что во время утреннего туалета графа (1) одели в сорочку самого лучшего полотна с двадцатифутовыми рукавами; (2) перехватили эти рукава многочисленными пересекающимися подвязками; (3) намазали его клеем; (4) вываляли в чане с тысячами чёрных шёлковых мушек и (5) (поскольку Карл II, несколько лет назад постановивший, чтобы придворные одевались исключительно в белое и

чёрное, так официально и не отменил прискучивший ему указ) добавили там и тут яркие цветовые пятна, по большей части в виде лент, завязанных причудливыми бантами — если все ленты распустить и связать в одну, она бы дотянулась до лавки графского поставщика в Париже. Ещё на нём был белый шейный платок с выпущенными наружу кружевными краями. Хорватские наемники из личной гвардии Людовика XIV, *Les Cravates*, завели обыкновение завязывать узлом огромные кружевные воротники, чтобы ветер не бросал их в лицо во время боя или дуэли, и граф Апнорский, как всегда, впереди всего света, повязал галстух-крават вместо вышедшего из моды (десять минут назад) воротника. Он носил парик шире плеч; на ботфорты пошло столько превосходнейшей белой кожи, что их при желании удалось бы дотянуть до паха, и каждый в обхвате был шире его талии; однако граф, разумеется, загнул отвороты, а чтобы они не мели по земле, загнул ещё раз, и на коленях образовались белые кожаные складки с хорошую корзину размером, наполненные кружевной пеной. Золотые, украшенные каменьями шпоры торчали дюймов на восемь, каблуки были вишнёво-красные, четырёхдюймовые; для защиты от грязи на них были

надеты свободные кожаные туфли без задника на плоской деревянной подошве, громко стучащие при ходьбе. Из-за ширины отворотов граф при каждом шаге вынужден был заносить ногу вбок, да так сильно, что, вероятно, не устоял бы на ногах, если бы не опирался на инкрустированную, украшенную лентами трость.

Тем не менее двигался он достаточно быстро, восторженные зрители в кофейне еле-еле успевали рассмотреть подробности. Даниель застегнул пряжки на ящике с отражательным телескопом и снова взглянул через площадь на странного человека, который следил за Исааком.

Однако за столом в кофейне джентльмена не было. Даниель испугался, что потерял его, — пока снова не взглянул на графа Апнорского и не увидел, что свита расступилась, пропуская всё того же джентльмена-наездника.

Даниель, не обременённый шпагой, огромными ботфортами и стучащими туфлями на деревянной подошве, выбежал из кофейни, не попрощавшись. Он двинулся не прямиком к Апнору, а по широкой дуге, словно направлялся по делу на другую сторону Чаринг-Кросс.

Приблизившись, он заметил следующее: джентльмен спешился и шагнул к графу, раздви-

нув замшелые зубы в самодовольной улыбке.

Как раз когда он склонился в поклоне, Апнор взглянул на одного из приспешников и кивнул. Тот, нагнувшись, бросил что-то маленькое и бурое на носок графского ботфорта и тут же указал туда пальцем. Все за исключением графа и джентльмена-наездника ахнули.

— Что такое? — спросил граф.

— Ваш сапог! — вскричал кто-то.

— Не вижу, — сказал граф, — отвороты закрывают. — Опершись на трость, он выставил ногу и вытянул носок. Теперь весь Чаринг-Кросс, включая самого графа, отчетливо видел бурый комочек размером с гинею на узком носке ботфорта.

— Вы нагадили мне на сапог! — объявил граф. — Должен ли я вас убить?

Джентльмен совершенно опешил. Он ни на кого не гадил, однако подтвердить это могли только друзья графа Апнорского. Озираясь, он видел лишь нарумяненные, обклеенные мушками лица графских прихлебателей.

— Почему вы так говорите, милорд?

— Мне следовало сказать: «Вызвать вас на дуэль»; впрочем, это то же самое, что убить. До сих пор я убивал всех, с кем дрался, — отчего же вам

быть исключением?

— Почему… почему дуэль, милорд?

— Поскольку я вижу, что извинений от вас не дождёшься. Даже у моей собаки есть стыд. Но вы!.. Почему вы не можете показать, что раскаиваетесь в своём поступке?

— В моём поступке…

— Вы нагадили на мой ботфорт!

— Боюсь, милорд, вас ввели в заблуждение.

Возмущённый ропот приближённых.

— Встретимся завтра утром у Тайберна. Возьмите с собой секунданта — достаточно сильного, чтобы смог потом унести ваше тело.

Наездник наконец понял, что оправдываться бесполезно.

— Однако я могу выразить раскаяние, милорд.

— Неужто? Как собака?

— Да, милорд.

— Когда собака гадит в неположенном месте, я тычу её носом в дерьмо. — И граф поднял заострённый носок почти в самое лицо наезднику.

Даниель был уже футах в двенадцати от джентльмена и отчётливо видел, как струйка мочи сбегает по его панталонам на мостовую.

— Умоляю, милорд, я сделал, как вы просили. Я проследил за седовласым и отправил гонца. За

что вы так со мной поступаете?

Однако граф Апнорский, не сводя глаз с наездника, поднял ногу ещё на дюйм. Джентльмен нагнулся, но граф принялся опускать ногу, вынуждая того согнуться сильнее, потом встать на колени и, наконец, упереться локтями в грязь, чтобы коснуться лицом графского сапога.

Всё кончилось; джентльмен-наездник, закрыв лицо руками, бросился прочь, вероятно, чтобы никогда больше не возвращаться в Лондон, чего, надо думать, и добивался граф.

Сам же Апнор, отправив свиту в паб, зашёл в ту самую лавочку, что Исаак Ньютон, — Даниель даже не знал, по-прежнему ли его друг там. Пройдя мимо, он увидел наконец в окне вывеску: «МСЬЕ ЛЕФЕВР, АПТЕКАРЬ».

Следующие полчаса Даниель бродил по Чаринг-Кросс, время от времени поглядывая на окна мсье Лефевра, пока наконец не различил Исаака, беседующего с Луи Англси, графом Апнорским, который только кивал, кивал и кивал.

Как солнце выжгло свой лик на сетчатке Исаака в Вулсторпе, так этот образ стоял перед глазами Даниеля всё то время, что он, перекладывая телескоп с одного плеча на другое, шагал прочь от Чаринг-Кросс в общем направлении Бишоп-

сгейта, где ему предстояло присутствовать на собрании. Всю дорогу его преследовало чувство, которое он поначалу затруднялся определить, пока не понял, что это своего рода ревность. Он не знал, что Исааку понадобилось в доме/лавке/лаборатории/салоне мсье Лефевра, но подозревал алхимию, мужеложство либо некую их гремучую смесь; а если нет, то заигрывание с тем или другим. Всё это было решительно не его дело. Даниель не испытывал ни малейшего влечения ни к одному из этих занятий, а следовательно, не имел никаких оснований ревновать. И всё же он ревновал. Исаак нашел друзей, с которыми обсуждает то, что не может сказать Даниелю. Это было больно и оскорбительно, как пощёчина. Однако у Даниеля тоже были друзья, и он направлялся на встречу с ними. Среди них встречались ничуть ни меньшие бестии, дураки или алхимики. Может быть, Исаак просто отплатил ему по заслугам.

Собрание Королевского общества, колледж Грешема 12 августа, 1670 г.

Полуночные собрания сего клуба, куда какого-нибудь выдающегося антика, к удовольствию общества, приглашают продемонстрировать силу воздуха посредством герметического горшка, определить разницу в плотности табачного дыма и дыма мать-и-мачехи либо провести другие подобные эксперименты, являют собой не менее занятное смешение человеческих типов, нежели собрание гильдии звонарей; здесь близорукий толстяк-философ восседает подле громогласного шлифовальщика линз, там — безмозглый щеголь подле облачённого в лохмотья математика, напротив — многодумный астроном подле физика, любителя переливать из пустого в порожнее, ближе — превращатель металлов подле искателя философского камня, дальше — болтливый механи-

кус подле косорукого зодчего, а превыше всех — безбожник-аптекарь подле сума-сброда-клирика; учёные грамотеи вперемежку с чудаковатыми ремесленниками и хвастливыми врачевателями; иные — согбенные под бременем лет и неусыпных трудов, иные — не менее изможденные воздержанием и еженощными размышлениями, назначено ли им, подобно тощим фараоновым скотам, предупредить мир о грядущем гладе, иные же вида не менее исступлённого, как если бы неудача собственных прожектов довела их до умопомрачения. Когда они так заседают, блажен муж, иже отыщет новую звезду на небосводе, заметит неверный шаг в поступи дневного светила, измыслит новейшее объяснение пятнам на лике Луны либо явит собратьям иную хитроумную тайну, лишит их покоя на следующий месяц и заставит ворочаться во сне, придумывая, как выправить свой прожект, дабы он выглядел прямым в очах разума, и устранить заковыристые преграды к собственной славе и благу общества.

Нед Уорд, «Клуб любознатца»

12 августа, на собрании Общества.

Мистер НИКОЛАУС МЕРКАТОР и мистер ДЖОН ЛОКК приняты в члены Общества.

Зачитаны остальные эксперименты мистера БОЙЛЯ касательно света, к большому удовлетворению Общества; постановили доклад зарегистрировать, а мистеру ГУКУ провести подобные опыты на собрании Общества, как только он сможет раздобыть светящуюся гнилушку либо рыбину.

Мистер КРАУН принёс мёртвого попугая.

Сэр ДЖОН ФИНЧ продемонстрировал асбестовую шляпную ленту.

Доктор ЭНТ привёл рассуждения о том, почему зимою холоднее, чем летом.

Мистер ПАУЭЛЛ предложил Обществу использовать его в любом качестве.

За отсутствием мистера ОЛЬДЕНБУРГА мистер УОТЕРХАУЗ зачитал письмо от португальского дворянина, который в самых учтивых выражениях поздравлял Общество с удачными экспериментами по удалению у собак селезёнки без всякого для тех вреда и любопытствовал, не согласится ли Общество сделать такую же операцию его супруге, дабы исправить чрезмерную желчность её характера.

Мистеру ЭНТУ пришла мысль составить мемуар касательно устриц.

Мистер ГУК продемонстрировал собственного изобретения прибор, позволяющий проверить горизонтальность поверхности и состоящий из воздушного пузырька, заключённого в наполненную водой трубку.

Был задан вопрос о собаке, которой на прошлом собрании удалили кусок кожи; член Общества, проводивший операцию, сообщил, что она удрала, и получил предписание к следующему разу представить новую.

Председатель продемонстрировал волосяной комок, извлечённый из коровьего желудка сэром УИЛЬЯМОМ КЕРТИСОМ.

ГЕРЦОГ ГАНФЛИТСКИЙ показал письмо от г-на ГЮЙГЕНСА из Парижа, в коем упоминались наблюдения касательно Сатурна, сделанные прошлой весной в Риме неким КАМПАНИ, а именно, что кольцо отбрасывает на планету тень. ГЮЙГЕНС считает это подтверждением его гипотезы о наличии кольца у Сатурна.

Перед Обществом предстал некий бродяга, которому не так давно выстрелом в живот перебило внутренности, посему теперь он испражняется через отрезок прямой кишки, торчащий из бока,

что и было продемонстрировано Обществу.

Мистер ПОУВИ подарил Обществу скелет.

Мистер БОЙЛЬ сообщил, что в Балтии ласточки живут подо льдом.

Доктор ГОДДАР упомянул, что помещения, обшитые дубовыми панелями, потрескивают по утрам и вечерам.

Мистер УОЛЛЕР заметил, что жабы чаще всего появляются в холодную сырую погоду.

Мистер ГУК доложил, что, по его наблюдениям, пояс Ориона состоит не из трёх звёзд, как прежде полагал г-н ГЮЙГЕНС, а из пяти.

Доктор МЕРРЕТ представил записку, в которой сообщил, что в стене монастыря Блэкфрайарз обнаружены замурованные оловянные сосуды, покрытые непонятными письменами и содержащие человеческие черепа с мозгами и волосами. Записку постановили зарегистрировать.

Мистер ГУК поставил эксперимент с целью выяснить, увеличится ли в весе кусок стали, уравновешенный на точных весах, если коснуться его сильным магнитом; опыт увеличения в весе не выявил.

Доктор АЛЛЕН доложил о человеке, который недавно утратил некоторую часть мозга, но по-прежнему жив.

Доктор УИЛКИНС представил Обществу свою книгу, озаглавленную «Сочинение об истинном алфавите и философском языке».

Мистер ГУК предложил исследовать, есть ли в растениях подобия клапанов, без которых, он полагает, соки не могли бы подниматься по древесным стволам на высоту двести, триста и более футов.

Сэр РОБЕРТ САУТУЭЛЛ передал в кунсткамеру череп казнённого в Ирландии преступника, обросший мхом.

ЕПИСКОП ЧЕСТЕРСКИЙ предложил мистеру ГУКУ проверить, можно ли из обнаруженных им под микроскопом семян мха вырастить мох на черепе покойника.

Мистер ГУК возразил, что опыт, предлагаемый ЕПИСКОПОМ ЧЕСТЕРСКИМ, будет менее полезен для достижения нового знания, нежели другие, которые можно было бы перечислить, когда бы для этого имелось достаточно времени.

За отсутствием мистера ОЛЬДЕНБУРГА мистер УОТЕРХАУЗ зачитал выписку, присланную мистеру ОЛЬДЕНБУРГУ из Парижа, в которой со всей определённостью утверждается, что доктор ДЕ ГРААФ отпрепарировал мужские семенники и сохраняет один в заспиртованном виде. Неко-

торые из присутствующих врачей поведали, что подобные попытки делались в Англии много лет назад, но безуспешно, и выразили сомнения в утверждениях ДЕ ГРААФА.

ГЕРЦОГ ГАНФЛИТСКИЙ аттестовал доктора ДЕ ГРААФА наилучшим образом, сообщив, что в Париже упомянутый доктор пользовал его сына (ныне ГРАФА АПНОРСКОГО) от укуса ядовитого паука с самым положительным результатом.

К разговору о тарантулах один из членов Общества сообщил, что люди, пострадавшие от их укусов, даже полностью излечившись, раз год пускаются в пляс; другие возразили, что различные пациенты пускаются в пляс под воздействием различной погоды в зависимости от того, какого рода тарантул их укусил.

ГЕРЦОГ ГАНФЛИТСКИЙ ответил, что паук, укусивший его сына в Париже, вовсе не был тарантулом, и потому граф не испытывает ни малейшей потребности пускаться в пляс.

Общество поручило мистеру БОЙЛЮ изготовить переносные барометры и разослать их в различные части света: не только в удалённые уголки Англии, но и морем в Ост- и Вест-Индии и другие края, особливо на английские плантации в Виргинии, Новой Англии, на Бермудах, Ямайке

и Барбадосе, а также в Танжер, Москву, на остров Святой Елены, мыс Доброй Надежды и в Александретту.

Доктору КИНГУ пришла мысль отпрепарировать омара и устрицу.

Мистер ГУК показал плоско-выпуклые линзы размером с булавочную головку, предназначенные служить объективами в микроскопе. Он выразил желание поместить их в принадлежащий Обществу большой микроскоп.

ГЕРЦОГ ГАНФЛИТСКИЙ продемонстрировал кожу мавра.

Мистер БОЙЛЬ сообщил, что два весьма толковых врача из числа его знакомых дали женщине, страдающей от заворота кишок, свыше фунта ртути, каковые и пребывали в её организме несколько дней без какого-либо вреда; по вскрытии тела в той части кишечника, где образовалась непроходимость кала, обнаружено гангренозное воспаление, однако ртуть, оставаясь выше, не вызвала даже обесцвечивания тканей.

Мистеру ГУКУ пришла мысль поставить эксперимент по получению металла тяжелее золота путем добавления к нему ртути, дабы проверить, будет ли он проникать в поры золота.

Доктор КЛАРК предложил, чтобы человек,

приговорённый к повешению, мог обращаться к королю с просьбой вернуть его к жизни, и, буде воскрешение произойдёт, получал бы помилование.

Мистер УОТЕРХАУЗ показал новый телескоп, изобретённый мистером Исааком Ньютоном, профессором математики Кембриджского университета, и отличающийся от старых использованием зеркал. ГЕРЦОГ ГАНФЛИТСКИЙ, доктор КРИСТОФЕР РЕН и мистер ГУК, осмотрев прибор, высказали одобрение и предложили показать телескоп королю, описание же и чертёж отправить г-ну ГЮЙГЕНСУ в Париж, дабы закрепить приоритет за мистером Ньютоном.

Поступило предложение вскрыть грудную клетку собаки. Мистер ГУК и мистер УОТЕРХАУЗ, выполнявшие названный эксперимент ранее, попросили уволить их от этого зрелища.

Пятой кликой назовём математиков, готовых до хрипоты пререкаться о квадратуре круга, доколе, упившись допьяна и сорвав глотки, не начнут пускать тошнотные перпендикуляры в ночную посудину. Другой кружок будет увлеченно рядить о трансмутации и с горячностью спорить о превращении свинца в золото, покуда серебро из их карманов не утечёт к хозяину питейного заведения.

Нед Уорд, «Клуб любознатца»

Несколько участников заседания нашли приют в таверне (которая, как на грех, носила название «Собака») на Брод-стрит возле Лондонской стены. Уилкинс (ныне епископ Честерский), сэр Уинстон Черчилль и Томас Мор Англси, он же герцог Ганфлитский, забавлялись ньютоновым телескопом, подглядывая в окна Военно-морского казначейства, где горели свечи и клерки работали допоздна. Каждые несколько минут мимо проезжали тачки, нагруженные сундуками из златокузнечных лавок на Треднидл.

Гук затребовал себе небольшой стол и принялся выравнивать его поверхность с помощью воздушного пузырька, подкладывая под ножки клочки бумаги. Даниель глушил горькое пиво

и думал, насколько ему сейчас лучше, нежели утром.

— За Ольденбурга! — сказал кто-то, и даже Гук приподнял скособоченную голову, чтобы выпить за здоровье секретаря.

— Дозволено ли нам узнать, почему король заключил его в Тауэр? — спросил Даниель.

Гук внезапно увлёкся выравниванием стола, остальные — созерцанием планеты, встающей над Бишопсгейтом. Даниель понял, что причина, по которой Ольденбург находится в Тауэре, из тех вещей, которые лондонцам положено просто знать — впитывать лёгкими вместе с сырым угольным дымом.

Джон Уилкинс взял из ящика на стене курительную трубку и, выразительно задев Даниеля плечом, шагнул на улицу. Даниель вместе с ним вышел покурить на воздухе. Стоял тёплый летний вечер. По другую сторону Лондонской стены сумасшедшие в Бедламе ожесточённо спорили с ангелами, демонами и усопшими родственниками; по эту из открытых окон Грешем-колледжа доносились ритмичные звуки пилы: епископы, рыцари, доктора и полковники сообща удаляли рёбра живой дворняге. Вывеска «Собаки» поскрипывала на ветерке. Глухо звякали монеты в

сундуках, которые грузчики вносили по ступеням казначейства. Сквозь открытое окно можно было иногда заметить Самюэля Пеписа, который что-то говорил подчинённым, с тоской поглядывая на «Собаку». Даниель и епископ минуту стояли в ритуальном молчании — так паписты осеняют себе крестом перед входом в храм.

— Мистер Ольденбург — сердце Королевского общества, — начал епископ Уилкинс.

— Я бы отдал эту честь вам или, возможно, мистеру Гуку…

— Погодите, я не закончил… я строил метафору. Не забывайте, пожалуйста, что мне обычно внимают прихожане, исполненные восторга или хотя бы напускающие на себя восторженный вид… во всяком случае, они *сидят тихо*, покуда я разворачиваю метафору.

— Молю меня извинить и преисполняюсь напускного восторга.

— Отлично. Итак! Проделывая ужасные вещи над бродячими псами, мы выяснили, что сердце вбирает кровь, идущую от органов по венам, таким, как яремная, и выталкивает её к ним по артериям, как, например, сонная. Помните, что случилось, когда мистер Гук сшил мастифу яремную вену с сонной артерией? Только не говорите,

что шов разошёлся и всё залило кровью, — это я помню.

— Кровь остановилась и стала сворачиваться внутри жил.

— И мы заключили что?..

— Я позабыл. Что обходить сердце — дурная идея?

— Можно заключить, — подсказал епископ, — что в бездействующем сосуде, который принимает циркулирующую жидкость, но не выталкивает её, образуется застой; другими словами, что сердце, выталкивая кровь, гонит её по кругу, к органам и конечностям, чтобы во благовремении принять обратно. Здравствуйте, мистер Пепис! — перенося взгляд на другую сторону улицы. — Затеваем войну, а?

— Слишком легко… завершаем эту, милорд. — Из окна.

— И близко ли конец? Ваше усердие — всем нам пример, однако пора бы уж и закругляться!

— Я предвижу некоторое затишье…

— Итак, Даниель, всякий, изучающий историю Королевского общества, заметит, что на каждом заседании мистер Ольденбург зачитывает несколько писем от континентальных учёных, таких, как господин Гюйгенс и в последнее вре-

мя — доктор Лейбниц…

— Я этой фамилии не слышал.

— Услышите — он неутомимый корреспондент, протеже Гюйгенса и последователь пансофизма. В последнее время засыпал нас престранными эпистолами. Вы о нём не слышали, поскольку Ольденбург передаёт его послания мистеру Гуку, мистеру Бойлю, мистеру Барроу и другим в надежде, что кто-нибудь сумеет их хотя бы прочесть, а там, глядишь, и разберётся, чепуха это или нет. Однако я отклонился в сторону. На каждое прочитанное письмо мистер Ольденбург отправляет десять — почему так много?

— Потому что, подобно сердцу, он выталкивает обильную корреспонденцию наружу?

— Совершенно верно. Целые мешки его писем пересекают Ла-Манш — поддерживая циркуляцию, благодаря которой новые европейские идеи достигают наших собраний.

— А теперь, чёрт возьми, король запер его в Тауэре! — воскликнул Даниель, чувствуя, что скатывается на мелодраму — такого рода диалоги были не в его характере.

— Пуская кровь в обход сердца, — сказал Уилкинс без тени смущения. — Я уже чувствую, как Королевское общество застаивается. Спасибо, что

принесли телескоп мистера Ньютона. Свежая кровь! Когда мы увидим его на своем заседании?

— Боюсь, что никогда — покуда члены Общества режут собак.

— Так он слабонервен — ненавидит жестокость?

— По отношению к *животным*.

— Некоторые члены предлагают брать пациентов из… — Епископ кивнул в сторону Бедлама.

— К этому Исаак отнёсся бы спокойнее, — признал Даниель.

Вышедшая из таверны служанка воспользовалась наступившим молчанием.

— Мистер Гук просит вашего присутствия.

— Слава Богу, — произнёс Уилкинс. — Я боялся, что вы пришли пожаловаться на его приставания.

Посетители «Собаки» отступили к стенам в диспозиции, принимаемой обычно во время кабацких драк, — то есть широким кольцом окружили стол, который (как показывала трубка с пузырьком) был теперь совершенно горизонтален и к тому же чист, только посередине лежала капля ртути, другие же, размером с булавочную головку, созвездием рассыпались вокруг. Мистер Гук смотрел на большую каплю — идеально

правильный купол — в оптический прибор собственного изготовления. Зажав большим и указательным пальцами ежовую иголку, он подтолкнул невидимо малую капельку к большой, чтобы они слились, снова всмотрелся, затем бесшумно, как воришка, попятился от стола и, отойдя на целую сажень, сказал Уилкинсу:

— Универсальное мерило!

— Что?! Сэр! Вы уверены в своих словах?

— Согласитесь, что горизонтальность — понятие абсолютное, любой вменяемый человек может получить горизонтальную поверхность.

— Оно есть в философском языке, — ответил епископ Уилкинс, что означало «да».

Вошёл Пепис, как всегда великолепный, и хотел уже потребовать пива, когда заметил торжественную церемонию.

— Подобно тому и ртуть одинакова везде — на любой планете.

— Согласен.

— Как и число два.

— Разумеется.

— Здесь я создал плоскую, гладкую, ровную горизонтальную поверхность. На нее я поместил капельку ртути так, чтобы диаметр капли вдвое превосходил высоту. Кто угодно где угодно

может повторить данную последовательность действий; результатом всегда будет капелька ртути *точно такого* же размера. Соответственно, диаметр капли может служить в философском языке универсальной единицей длины!

Было слышно, как все думают.

Пепис:

— Тогда вы можете сделать сосуд, содержащий определённое число этих единиц в длину, высоту и ширину, наполнить её водой и получить эталон веса.

— Совершенно справедливо, мистер Пепис.

— Из длины и веса можно получить стандартный маятник — период его колебаний дает универсальную меру времени!

— Однако вода образует капли разного размера на разных поверхностях, — заметил епископ Честерский. — Полагаю, ртуть подвержена такого же рода изменчивости.

Гук, недовольно:

— Поверхность можно оговорить: медь, стекло.

— Если сила тяжести меняется с высотой, как это повлияет на размер капли? — спросил Даниель Уотерхауз.

— Проводить измерения на уровне моря, — с легкой досадой отвечал Гук.

— Уровень моря зависит от приливов и отливов, — заметил Пепис.

— А как насчёт других планет? — громогласно вопросил Уилкинс.

— Других планет? Мы с этой ещё не разобрались.

— Как сказал наш соотечественник мистер Ольденбург: «Будьте любезны запомнить, что мы вопрошаем всю Вселенную, ибо для того созданы!»

Гук, мрачнее тучи, собрал ртуть в склянку и вышел; через минуту мистер Пепис (глядя через окно в ньютоновский рефлекторный телескоп) увидел, как тот направляется к Собачьей канавке в обществе потаскухи.

— Впал в очередной приступ меланхолии… мы не увидим его в следующие две недели и будем вынуждены вынести ему порицание, — проворчал Уилкинс.

Словно это было записано где-то истинным алфавитом, Пепис, Уилкинс и Уотерхауз знали, что у них есть незавершённое дело — поговорить об Ольденбурге вдали от посторонних ушей. Весь следующий час в «Собаке» происходил тройственный обмен выразительными взглядами и движениями бровей. Однако просто так встать

и уйти было невозможно: Черчилль и другие требовали от Даниеля новых подробностей о мистере Ньютоне и его телескопе. Герцог Ганфлитский загнал Пеписа в угол и пытал по поводу финансирования Военно-морского казначейства. Забрызганные кровью, удручённые члены Королевского общества выползли из колледжа Грешема и сообщили, что доктора Кинг и Болл заблудились в дебрях собачьей анатомии, дворняга сдохла, и им нужен Гук — где он? Потом все обступили епископа Уилкинса и принялись обсуждать: будет ли Комсток снова баллотироваться на пост председателя? Организует ли Англси выдвижение своей кандидатуры?

* * *

Однако позже (слишком поздно для Даниеля, который встал сегодня рано, вместе с Исааком) все трое оказались в карете Пеписа.

— Я вижу, лорд Ганфлит внезапно увлекся гаданием на военно-морской гуще.

— Поскольку флот составляет нашу защиту от голландцев, — осторожно произнёс Пепис, — и большая его часть сейчас находится под Алжиром, многие вельможи разделяют любопытство герцога.

Уилкинс изобразил весёлое недоумение.

— Я не слышал, чтобы он спрашивал вас о пушках и фрегатах, лишь о купонах и переводных векселях.

Пепис некоторое время прочищал горло, с сомнением поглядывая на Даниеля.

— Те, чьё дело — опустошать флотскую казну, должны ответствовать перед теми, кто её наполняет, — сказал он наконец.

Даже Даниель, скучный университетский учёный, понял, что под опустошителем казны разумеется оружейник — Джон Комсток, граф Эпсомский, а под наполнителем — Томас Мор Англси, герцог Ганфлитский, отец Луи Англси, графа Апнорского.

— Это К и А, — сказал Уилкинс. — А что мыслит о флотских вопросах второй слог «Кабалы»?

— От Болструда[30] неожиданностей ждать не приходится.

— Поговаривают, будто Болструду на руку держать наш флот в Африке — он-де хочет, чтобы голландцы нас завоевали и всех сделали каль-

---

[30] Примечания: 30

Нотт Болструд, гавкер и старый приятель Дрейка, ярый протестант и франкофоб; король назначил его государственным секретарём, поскольку никто в здравом рассудке не заподозрил бы Болструда в тайной приверженности католичеству.

винистами.

— Учитывая, что V.O.C.[31] платит дивиденды по сорок процентов, полагаю, на Треднидл появилось немало новых кальвинистов.

— И один из них — Апторп?

— Не верьте нелепым слухам. Апторп скорее будет развивать собственную Ост-Индскую компанию, нежели вкладываться в голландскую.

— Из чего следует, что Апторпу нужен сильный флот для защиты наших купеческих судов от голландских, столь тяжело нагруженных артиллерией.

— Да.

— А что генерал Льюис?

— Давайте спросим юного учёного, — весело предложил Пепис.

Даниель на несколько мгновений онемел; спутники, видя его смущение, по-мальчишески прыснули со смеху.

Телескоп словно бы тоже смотрел на него через крышку ящика; бестелесный орган чувств, принадлежащий Исааку Ньютону, взирал с нечеловеческой пристальностью. Казалось, Исаак вопрошает: какого черта он, Даниель Уотерхауз,

---

[31] Примечания: 31

Vereenigde Oostindische Compagnie, то есть Голландская Ост-Индская компания.

раскатывает по Лондону в карете Самюэля Пеписа и корчит из себя интригана?

— Э… слабый флот заставляет нас содержать сильную армию, чтобы отразить голландское вторжение, — вслух предположил Даниель.

— Однако имея сильный флот, мы могли бы вторгнуться в Голландию! — возразил Уилкинс. — Новые победы и новая слава для генерала Льюиса, герцога Твидского!

— Победы невозможны без союза с Францией, — произнёс Даниель после минутного раздумья, — а лорд Твид — слишком хороший пресвитерианин.

— Не этот ли добрый пресвитерианин тайно принял графский титул из рук короля-изгнанника в Сен-Жермене, когда Кромвель правил страной?

— Он роялист, не более того, — возразил Даниель.

Так что он делает в этой карете — набивает шишки и выставляет себя на посмешище? Или в поездке есть какой-то смысл? Настоящий ответ ведал лишь Джон Уилкинс, епископ Честерский, автор «Криптономикона» и «Философского языка», который левой рукой зашифровывал, а правой являл истины всем возможным мирам.

Тот Уилкинс, который устроил Даниеля в Тринити-колледж, приютил под крылом у Комстока во время чумы, рекомендовал в Королевское общество, а теперь, по всей видимости, задумал для него что-то ещё. Кто для Уилкинса Даниель — ученик, подмастерье, перенимающий мудрость мастера? Мысль была возмутительно гордая, совершенно непуританская, однако другой гипотезы Даниель предложить не мог.

— Хорошо, значит, это должно иметь некое касательство к письмам мистера Ольденбурга за границу, — сказал Пепис, когда какая-то перемена в атмосферном давлении (или в чём ещё) подсказала, что пришло время отбросить притворство и заговорить серьёзно.

Уилкинс:

— Полагаю, да. К какому именно письму?

— Какая разница? Все письма ГРУБЕНДОЛЮ перехватываются и прочитываются до того, как он их увидит.

— Мне всегда любопытно, кто их читает, — задумчиво произнёс Уилкинс. — Либо этот человек невероятно умён, либо пребывает в постоянной растерянности.

— Подобным же образом изучается вся исходящая почта Ольденбурга.

— И в каком-то письме он высказал что-то неосторожное?

— Самый объём его заграничной корреспонденции, вкупе с тем, что он — немец, служил в Европе дипломатом и дружен с кромвелевским стихотворцем…

— Джоном Мильтоном.

— Да… и, наконец, учитывая, что некоторые при дворе не понимают и десятой части из написанного им в письмах… люди определённого склада поневоле испытывают беспокойство.

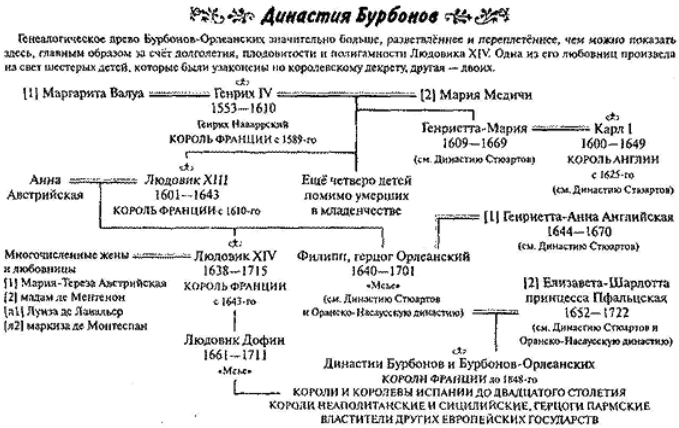
— Вы хотите сказать, что его бросили в Тауэр *из общих соображений*?

— В качестве превентивной меры.

— Что?! Значит ли это, что он пробудет там *до конца жизни*?

— Нет, разумеется, — лишь пока не завершатся некие переговоры весьма чувствительного свойства.

— Чувствительного свойства, — несколько раз повторил Уилкинс, словно рассчитывал выжать из этих скупых слов некую дополнительную информацию.



И здесь разговор, бывший для Даниеля просто малопонятным, окончательно превратился в китайскую грамоту.

— Я и не подозревал, что у него есть столь чувствительное место. Нечего ухмыляться, мистер Пепис, я совершенно о другом!

— О, всем известно, что его чувства к *sa sceur*[32]

---

[32] Примечания: 32
Его сестре (*фр.*).

весьма нежны. Последнее время он пишет ей *постоянно*.

— Она отвечает?

— Минетта поддерживает переписку усерднее иного дипломата.

— И, если я правильно догадываюсь, уведомляет высокого адресата о всех событиях в жизни сердечного друга?

— Объём её корреспонденции таков, — воскликнул Пепис, — что его величество сейчас как никогда близок к упомянутому вами лицу. Златые обручи прочнее стальных.

Уилкинс, с выражением лёгкой брезгливости на лице:

— Хм… В таком случае удачно, что *официальные* переговоры ведутся через двух архипротестантов…

— Отсылаю вас к главе десятой вашего опуса от 1641 года.

— Хм… что-то я туго стал соображать… мы говорим сейчас об Ольденбурге?

— Я не имел намерения менять разговор… мы по-прежнему беседуем о договорах.

Карета остановилась, Пепис вылез. Даниель слышал, как затихает на мостовой тук-тук-тук модных каблуков. Уилкинс смотрел в никуда,

пытаясь расшифровать слова Пеписа.

Ехать в карете немногим лучше, чем получать ежесекундные удары дубиной. Даниелю захотелось размяться. Он тоже вылез, обернулся и понял, что стоит прямо перед аллеей, ведущей к Сент-Джеймскому дворцу. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, он увидел резиденцию Комстока — тяжёлую готическую громаду, встающую из садов и мостовых. Карета Пеписа свернула с Пиккадилли и остановилась прямо перед двором особняка. Даниель восхитился его расположением. Джон Комсток мог бы при желании встать в дверях своего дома, выпалить из мушкета через двор, ворота, вдоль трёхрядной псевдосельской аллеи, через Пэлл-Мэлл, прямо в парадный вход Сент-Джеймского дворца и, вероятно, подстрелить кого-нибудь очень пышно одетого. Каменные стены, живые изгороди и чугунные решётки были расположены так, чтобы отгородиться от Пиккадилли и соседних домов, создавая впечатление, будто Комсток-хаус и Сент-Джеймский дворец — одно большое семейное поместье.

Даниель обогнул ворота и стал на Пиккадилли лицом к Сент-Джеймскому дворцу. Он видел, как туда входит кто-то с тяжёлой сумкой: вероятно,

врач пришёл выпустить Анне Гайд несколько пинт крови из яремной вены. Слева, в направлении реки, лежало открытое пространство, сейчас — огромный строительный участок, раскинувшийся примерно на четверть мили, до Чаринг-Кросс. Стояла тёмная ночь, никто здесь не работал, и чудилось, будто каменные стены растут из земли сами собой, словно поганки.

Отсюда особняк Комстока виделся в перспективе; на самом деле это был лишь один из богатых домов на Пиккадилли, обращенных к Сент-Джеймскому дворцу, словно солдаты на смотре. Беркли-хаус, Берлингтон-хаус и Ганфлит-хаус стояли в одном ряду, но лишь из Комсток-хауса открывался прямой вид на аллею.

Послышался скрип открываемой двери, негромкие голоса, и Джон Комсток вышел из дома под руку с Пеписом. Ему исполнилось шестьдесят три, и Даниель подумал, что он немного опирается на Пеписа при ходьбе — впрочем, возможно, не от дряхлости, а от старых боевых ран. Даниель подскочил к карете и велел кучеру надёжно закрепить телескоп на крыше, потом залез внутрь вместе с остальными тремя. Экипаж развернулся и загрохотал по Пиккадилли в направлении Сент-Джеймского дворца.

Джон Комсток, граф Эпсомский, председатель Королевского общества и советник короля во всём, что касается натурфилософии, был облачён в богатый персидского покроя кафтан, недавно введённый в моду королём и составлявший, вместе с галстухом-крават, последний придворный фасон. Пепис был одет так же, Уилкинс — старомодно, Даниель, по обыкновению, в строгое чёрное платье, какое носили двадцать лет назад странствующие пуританские проповедники. Никто на него не смотрел.

— Работаете допоздна? — спросил Комсток Пеписа, явно делая какие-то выводы из его туалета.

— Сегодня много дел по казначейской части.

— Король был весьма озабочен финансовыми вопросами — до недавнего времени, — сказал Комсток. — Теперь он готов вернуться к своей первой любви — натурфилософии.

— В таком случае нам есть чем его порадовать — новым телескопом, — вставил Уилкинс.

Однако телескопы явно не входили в повестку дня графа Эпсомского, и он, пропустив отступление мимо ушей, продолжал:

— Его величество просил меня завтра вечером собрать в Уайт-холле заседание. Герцог Ганфлитский, епископ Честерский, сэр Уинстон Черчилль,

вы, мистер Пепис, и я приглашены присутствовать вместе с королём на демонстрации: Енох Красный покажет нам *Phosphorus*.

Перед самым Сент-Джеймским дворцом экипаж свернул на Пэлл-Мэлл и двинулся в сторону Чаринг-Кросс.

— Светоносный? Что это? — спросил Пепис.

— Новое элементарное вещество, — сказал Уилкинс. — Все алхимики Европы только о нём и говорят.

— Из чего он состоит?

— Не из чего! Это и значит элементарный!

— С какой планетой он соотносится? Мне казалось, все планеты расписаны! — возмутился Пепис.

— Енох объяснит.

— Были ли какие-нибудь движения касательно других вопросов, волнующих Королевское общество?

— Да! — произнес Комсток. Глядя Уилкинсу в глаза, он едва заметно покосился на Даниеля. Уилкинс отвечал таким же еле заметным кивком.

— Мистер Уотерхауз, имею удовольствие вручить вам приказ, — сказал Комсток, — от лорда

Пенистона[33], — вытаскивая устрашающего вида документ с толстой восковой печатью на шнурке. — Предъявите его страже в Тауэре завтра вечером — и хотя мы будем в одном конце Лондона наблюдать демонстрацию фосфора, вам придётся оставаться с мистером Ольденбургом в другом, дабы позаботиться о его нуждах. Мне известно, что ему нужны новые струны для лютни, перья, чернила, некоторые книги — и, разумеется, есть огромное количество непрочитанной почты.

— Непрочитанной ГРУБЕНДОЛЕМ, — сострил Пепис. Комсток повернулся и наградил его таким взглядом, что Пепису показалось, будто он смотрит прямо в жерло заряженной пушки. Даниель Уотерхауз и епископ Честерский обменялись быстрыми взглядами. Теперь они знали, кто читает заграничную корреспонденцию Ольденбурга: Комсток.

Граф повернулся и вежливо — но неприятно — улыбнулся Даниелю.

— Вы остановились в доме старшего брата?

---

[33] Примечания: 33

То есть Нотта Болструда. По причинам протокольного характера король при назначении государственным секретарём возвел его в сан пэра и даровал ему титул графа Пенистонского, чтобы Болструд, ультрапуританин, не мог поставить свою подпись, не написав слово «пенис».

— Да, сэр.

— Я распоряжусь, чтобы утром вам принесли пакет.

Карета развернулась на южной границе Чаринг-Кросс и остановилась перед красивым новым особняком. Даниеля, который явно исчерпал свою нужность, самым учтивым и ласковым образом попросили перебраться на крышу. Тот выполнил просьбу и, без особого удивления, увидел, что они остановились перед лавкой мсье Лефевра, королевского аптекаря, — той самой, где Исаак Ньютон провёл почти всё сегодняшнее утро и по тщательно организованной случайности встретился с графом Апнорским.

Дверь открылась. Человек в длинном плаще, чёрный на фоне светлого дверного проёма, вышел наружу и направился к экипажу. Как только он оказался дальше от освещенных окон, в темноте, стало видно, что от края его плаща и от кончиков пальцев исходит странное зеленоватое сияние.

— Моё почтение, мистер Уотерхауз, — сказал он, и, прежде чем Даниель успел ответить, Енох Красный залез в карету и захлопнул за собой дверцу.

Карета свернула с Чаринг-Кросс и попала на мощёную площадь перед Уайт-холлом. Они еха-

ли прямиком к воротам Гольбейн-гейт — узкому готическому замку с четырьмя зубчатыми башенками. Скопление невыразительных фронтонов и печных труб скрывало открытое пространство слева, сначала Скотленд-Ярд — неправильную мозаику дровяных складов, шпарней и винокурен с грудами угля и поленницами дров, а дальше — Большой двор Уайт-холла. Справа — где в детстве Даниеля был парк с видом на Сент-Джеймский дворец — высилась теперь каменная стена в два человеческих роста, совершенно глухая, если не считать бойниц. С кареты Даниель видел за ней ветки деревьев и крыши деревянных строений, которые Кромвель возвёл для своей конной гвардии. Новый король, вероятно, памятуя, что площадь эту некогда заполнил народ, сошедшийся на казнь его отца, сохранил и стены, и бойницы, и конную гвардию.

Через Большие ворота слева открывался вид на двор и пару высоких зданий в дальнем его конце, ближе к реке. В ворота по двое, по трое входили и выходили хорошо и не очень хорошо одетые люди; они шли по общественной дороге, что вилась между дворцовыми строениями и в конце концов выводила к Уайт-холлской пристани, где лодочники сажали и высаживали пассажиров.

Вид через Большие ворота отчасти закрывал угол Дворца для приёмов — исполинской белокаменной бонбоньерки. Здание освещали лишь в особо торжественных случаях, дабы в обычные дни дым факелов и свечей не коптил пышногрудых богинь, которых намалевал на потолке Рубенс. Сейчас внутри горели один-два факела, и Даниель на мгновение различил Минерву, подавляющую мятеж. Однако экипаж был уже в конце площади и замедлился, поскольку въехал в эстетический тупик настолько кошмарный, что даже лошадям поплохело: псевдоголландские фронтоны апартаментов леди Каслмейн прямо впереди, приземистые готические арки Гольбейн-гейт справа, средневековые готические башенки над головой и ренессансный Дворец для приёмов, выстроенный Иниго Джонсом в подражание итальянцам, по-прежнему слева; а напротив — глухая каменная стена с бойницами, воплощение пуританского духа в архитектуре.

Ворота Гольбейна вывели бы их на Кинг-стрит, а она — к временному пристанищу Пеписа в этой части города. Однако кучер круто поворотил упряжку влево, в узкий неосвещённый проезд, идущий позади Дворца для приемов вниз до самой реки.

Любой пристойно одетый англичанин мог пройти в Уайт-холле практически где угодно, даже через внешнюю часть собственно королевских покоев — обычай, который европейская знать находила вульгарным до сумасбродства. Тем не менее Даниель никогда не бывал во дворце, считая его Местом, Куда Молодому Пуританину Заглядывать Не След; он даже не ведал, есть ли здесь выход, и всегда воображал, что люди вроде Апнора ходят сюда приставать к служанкам и затевать дуэли.

По правой стороне дворца тянулась Внутренняя галерея. Строго говоря, это был просто коридор, ведущий в те части Уайт-холла, где король жил, забавлялся с любовницами и выслушивал советников. Однако, как Лондонский мост со временем оброс жилыми домами, галантерейными лавками и питейными заведениями, так и Внутренняя галерея, по-прежнему пустая воздушная труба, оделась древесными грибами пристроек, по большей части апартаментов, которые король жаловал очередным фаворитам и фавориткам. Они сливались в темный бастион справа от Даниеля и казались куда больше, чем были на самом деле, — так лягушка, которую можно засунуть в карман, растягивается чуть не на милю в очах

юного натурфилософа, когда её надо отпрепарировать и разобраться в устройстве внутренних органов.

Даниеля несколько раз заставали врасплох взрывы смеха из освещенных свечами окон наверху; смех казался умным и злым. Проулок наконец повернул, так что стал виден его конец. Очевидно, он вёл в маленький мощёный двор, о котором Даниель знал понаслышке: теоретически король внимал проповедям из окон различных зал и гостиных, выходящих сюда окнами. Однако, не доехав до святого места, кучер натянул поводья и остановил лошадей. Даниель огляделся, пытаясь угадать причину остановки, и увидел лишь каменную лестницу, ведущую в туннель или склеп под Внутренней галереей.

Пепис, Комсток, епископ Честерский и Енох Красный вылезли из кареты. Внизу, в туннеле, горел свет и стоял накрытый стол, а на нем бараний окорок, круг чеширского сыра, блюдо с жаворонками, эль, апельсины. Однако зала была не пиршественная. Даниель различал отблески печей, поблескивание реторт, склянок со ртутью и аптекарских весов. Он слышал, что король повелел устроить в недрах Уайт-холла алхимическую лабораторию, но до сей поры это были

лишь слухи.

— Мой кучер отвезёт вас в дом мистера Релея Уотерхауза, — сказал Пепис, останавливаясь на ступенях. — Прошу, располагайтесь внизу.

— Вы очень любезны, сэр, но здесь недалеко, и прогулка пойдёт мне на пользу.

— Как вам будет угодно. Кланяйтесь от меня мистеру Ольденбургу.

— С превеликим удовольствием, — отвечал Даниель и еле сдержался, чтоб не добавить: «А вы от меня — королю!»

Он собрался с духом и пошёл по Двору проповедей, заглядывая в окна королевских комнат, но стараясь надолго не задерживать взгляд, как будто гуляет здесь каждый день. Маленький проход под Внутренней галереей вывел его в уголок сада, вдоль которого параллельно реке тянулась другая галерея. По ней Даниель мог бы дойти до королевской лужайки для игры в шары и дальше до Вестминстера. Однако он уже довольно наэкспериментировался на сегодня и потому пошёл напрямик через сад, к Гольбейн-гейт. Повсюду гуляли и судачили придворные. Даниель то и дело оборачивался, чтобы полюбоваться на покои короля, королевы и придворных, встающие над садом в золотистом сиянии множества восковых

свечей.

Будь Даниель и впрямь светским человеком, каким на короткое время попытался себя вообразить, он разглядывал бы исключительно людей в окнах и на садовых дорожках, высматривая новую деталь в покрое кафтанов или примечая парочку значительных лиц, занятых тихой беседой в тёмном уголке. Однако лишь одно влекло его взор, как Полярная звезда влечёт магнитную стрелку. Он повернулся спиною к дворцу и посмотрел через сад и лужайку для игры в шары на Вестминстер.

Здесь, высоко на почерневшем от дождей древке, темнело едва различимое в лунном свете пятно — голова Оливера Кромвеля. Когда король десять лет назад возвратился в Англию, он повелел выкопать труп из могилы, куда положили его Дрейк и другие, отрубить голову, водрузить её на пику и никогда не снимать. С тех самых пор бывший лорд-протектор беспомощно таращился на притон безудержного разврата, в который превратился Уайт-холл. И сейчас Кромвель, некогда качавший младшего Дрейкова сына на коленях, глядел на него с пики.

Даниель запрокинул голову, посмотрел на звёзды и подумал, что с точки зрения Дрейка,

взирающего с небес, всё это — преисподняя, и он, Даниель, — в самом её центре.

* * *

Пребывание в лондонском Тауэре коренным образом изменило систему приоритетов Генриха Ольденбурга. Даниель думал, что секретарь Королевского общества первым делом кинется к мешку с заграничной корреспонденцией, но того интересовали только новые струны для лютни. Старик так растолстел, что передвигался с трудом, и Даниель носил ему нужные вещи из разных концов полукруглой комнаты: лютню, ещё свечи, камертон, ноты, дрова для камина. Ольденбург уложил лютню на колени, словно напроказившего мальчишку, которого собирался выпороть, и обвязал несколько жил вокруг грифа в качестве ладов — старые совсем истёрлись. Последовала получасовая настройка (новые струны постоянно растягивались), и наконец Ольденбург получил то, по чему стосковался: они с Даниелем, сидя лицом друг к другу, исполнили двухголосную партию, написанную так, что порою их голоса сливались в сладостно резонирующий аккорд; изогнутые стены отражали звук, словно зеркало в ньютоновом телескопе. Через несколь-

ко куплетов Даниель запомнил свою партию; теперь, исполняя припев, он пел, обращаясь к стенам, и разглядывал надписи, оставленные узниками прошлых столетий: не грубые каракули, как на стенах Ньюгейтской тюрьмы, а чинные изречения, как на надгробиях, по большей части латинские. Встречались астрологические чертежи и рунические заклинания, начертанные арестантами-колдунами.

Потом немного эля, чтобы остудить голосовые связки, пирог с дичью, бочонок устриц и апельсины — дар Королевского общества, и наконец Ольденбург приступил к почте. Он сложил в одну стопку последние вести из парижской «Академии Монмора», два письма от Гюйгенса и короткий мемуар от Спинозы, в другую — груду посланий от разного рода сумасшедших, а в третью, самую большую, — писания Лейбница.

— Этот чертов немец никогда не уймётся! — проворчал Ольденбург (поскольку он сам был немец и неутомимый корреспондент, слова его следовало расценивать как шутку). — Дайте-ка глянуть… Лейбниц предлагает создать Societas Eruditorum, дабы собрать малолетних бродяг, воспитать из них армию натурфилософов и прищучить иезуитов… рассуждает о свободе воли и

предопределении… занятно было бы стравить его со Спинозой… спрашивает, знаю ли я о смерти Коменского… готов подхватить гаснущий факел пансофизма[34]… вот написанный лёгким, доступным языком мемуар о том, как дурная латынь, на которой общаются континентальные учёные, ведёт к искажению мысли, а в итоге — к религиозным расколам, войнам и неправильной философии…

— Напоминает мне Уилкинса.

— Уилкинс! Я подумывал украсить стены собственными надписями на всеобщем алфавите… но уж очень тоскливо. «Гляньте, мы изобрели новый философский язык, дабы, когда король бросит нас в тюрьму, покрывать стены более изощрёнными письменами».

— Может быть, новый язык приведёт к созданию мира, в котором короли не смогут или не захотят бросать нас в тюрьму…

— Сейчас вы вторите Лейбницу… А, вот новые математические доказательства… ничего такого, чего бы не доказали англичане… однако у Лейб-

---

[34] Примечания: 34

Пансофизм — движение континентальных учёных, заметной фигурой которого был упомянутый Коменский; оно оказало влияние на Уилкинса, Ольденбурга и других создателей Экспериментального философского клуба, а затем и Королевского общества.

ница доказательства изящнее… нечто, скромно озаглавленное «Новая физическая гипотеза»… Хорошо, что я в Тауэре, не то бы мне в жизни этого не прочесть.

Даниель сварил кофе на огне, они выпили по чашечке и покурили виргинского табаку из глиняных трубок. Пришло время вечерней прогулки. Ольденбург впереди Даниеля двинулся по огромным каменным ступеням винтовой лестницы.

— Я бы придержал дверь и сказал: «После вас», но, положим, я упаду — тогда вы окажетесь у основания Широкой Стрелковой башни, раздавленный моей тушей, а я буду цел и невредим.

— Готов на всё ради блага Королевского общества, — пошутил Даниель.

— Вы для них ценнее, чем я, — сказал Ольденбург.

— Пфу!

— Я скоро исчерпаю свою полезность, у вас же всё ещё впереди. На ваш счёт имеются обширные планы.

— Я бы не поверил вам до вчерашнего вечера, когда мне позволили услышать разговор… совершенно для меня непонятный… однако, судя по всему, чрезвычайно важный.

— Перескажите мне его.

Они вышли на старую куртину, соединяющую Широкую Стрелковую башню с Соляной, и под руку двинулись по крепостной стене. Слева лежал ров — искусственная старица Темзы, за ним — оборонительный гласис, казармы и военно-морские склады, затем — луга Уоппинга в излучине реки, тусклые огни Рэтклиффа и Лаймхауса, а дальше — тьма, скрывающая, помимо прочего, Европу.

— Действующие лица: Джон Уилкинс, епископ Честерский, и мистер Самюэль Пепис, эсквайр, секретарь адмирала, казначей флота, письмоводитель Военно-морской коллегии, второй секретарь лорда-хранителя печати, член гильдии рыбаков, казначей Танжерской комиссии, правая рука лорда Сандвичского, придворный… я что-нибудь упустил?

— Член Королевского общества.

— Ах да, спасибо.

— И что они говорили?

— Сперва недолго гадали, кто читает вашу переписку…

— Полагаю, Джон Комсток. Он шпионил для короля во времена Междуцарствия, почему бы ему не шпионить сейчас?

— Звучит правдоподобно. Далее перешли к дву-

смысленным намёкам на некие чувствительные сношения. Мистер Пепис сообщил — касательно английского короля, — что его чувства к sa sceur весьма нежны, и он пишет ей много писем.

— Ну, вам известно, что Минетта во Франции…

— Минетта?

— По-французски «киска». Так король Карл называет свою сестру, Генриетту-Анну, — пояснил Ольденбург. — Не советую употреблять это прозвище в приличном обществе, если не хотите переехать сюда ко мне.

— Она ведь замужем за герцогом Орлеанским[35]?

— Да, и мистер Пепис перешёл на французский, дабы подчеркнуть это обстоятельство. Пожалуйста, продолжайте.

— Милорд Уилкинс полюбопытствовал, пишет ли она в ответ, и мистер Пепис сообщил, что Минетта поддерживает переписку усерднее иного дипломата.

Ольденбург поморщился и расстроенно покачал головой.

— Топорная работа! Мистер Пепис дал понять, что обмен письмами носит дипломатический

---

[35] Примечания: 35

Филипп, герцог Орлеанский, был младшим братом французского короля Людовика XIV.

характер. Однако с Уилкинсом нет нужды говорить настолько в лоб… вероятно, он был утомлён, рассеян…

— Он сидел в присутствии допоздна — много золота доставили в Военно-морское казначейство под покровом тьмы.

— Знаю. Смотрите! — Ольденбург потянул Даниеля за руку и развернул на запад, к Внутреннему двору. Они стояли возле Соляной башни — юго-восточного угла крепости. Прочь от них параллельно реке тянулась южная стена, соединяющая череду круглых башен. Справа, посередине, одиноко высился старинный донжон — Белая башня. Несколько низких стен делили внутреннее пространство на прямоугольники, однако сверху заметнее всего была западная стена, укреплённая от атак со стороны беспокойного лондонского Сити. Между этой стеной и более низкой внешней тянулась узкая, невидимая сверху улочка. Сейчас над ней стояли клубы дыма и пара. Она звалась Минт-стрит, иди улица Монетного двора.

— Непрестанный стук молотов мешает мне спать по ночам; дым от печей просачивается в амбразуры.

В стенах здесь имелись узкие крестообраз-

ные бойницы для стрельбы из луков. Отчасти благодаря им Тауэр был такой надежной тюрьмой — особенно для толстяков.

— Так вот почему короли живут теперь в Уайтхолле — чтобы им не досаждал дым с Монетного двора? — пошутил Даниель.

На лице Ольденбурга проступило педантичное раздражение.

— Вы не поняли. Монетный двор работает крайне редко — несколько месяцев оттуда не доносилось ни звука, работники пьянствовали и бездельничали.

— А теперь?

— Теперь они пьянствуют и трудятся. Несколько дней назад, стоя на этом самом месте, я видел, как военный трёхмачтовик, осевший под тяжестью груза, бросил якорь сразу за изгибом реки. Между ним и речными воротами в южной стене принялись сновать лодки. В то же самое время Монетный двор вдруг ожил и с тех пор не затихал.

— И золото начало прибывать в Военно-морское казначейство, создавая хлопоты для мистера Пеписа.

— Давайте вернёмся к разговору, который вам позволили услышать. Как епископ Честерский

отнёсся к довольно неуклюжим откровениям мистера Пеписа?

— Сказал что-то в таком духе: «Так Минетта уведомляет его величество о всех событиях в жизни сердечного дружка?»

— И кого он при этом разумел?

— Её мужа?.. Понимаю, моя наивность достойна жалости…

— Филипп, герцог Орлеанский, владеет лучшей и самой обширной во Франции коллекцией дамского белья. Он знает лишь один род любовных утех — когда дюжие офицеры имеют его в задницу.

— Бедная Минетта!

— Она отлично знала, за кого выходит замуж, — сказал Ольденбург. — И медовый месяц провела в постели своего деверя, короля Людовика XIV. Его-то епископ Честерский и назвал сердечным дружком Минетты.

— Благодарю за разъяснения.

— Пожалуйста, продолжайте.

— Пепис заверил Уилкинса, что, учитывая объём корреспонденции, король Карл сейчас как никогда близок к упомянутому человеку… и привёл аналогию с золотыми обручами.

— И вы решили, что он имеет в виду брачные

узы?

— Даже я понял, что он имел в виду, — запальчиво отвечал Даниель.

— Епископ, разумеется, тоже. Каким он вам показался в ту минуту?

— Расстроенным. Просил подтвердить, что официальные переговоры ведут «два архидиссидента».

— Это секрет — впрочем, хорошо известный тем, кто ночами разъезжает по Лондону в частных экипажах. Переговоры с Францией ведут граф Шефтсбери и старый приятель короля, участник его беспутств герцог Бекингемский. Избранные не за дипломатический опыт, а за то, что даже ваш покойный батюшка не обвинил бы их в симпатиях к папистам.

Подошёл, совершая обход, лейб-гвардеец.

— Добрый вечер, мистер Ольденбург. Здравствуйте, мистер Уотерхауз.

— Добрый вечер, Джордж. Как подагра?

— Спасибо, сэр, сегодня получше — припарка вроде помогает. Где вы взяли рецепт?

Джордж назвал пароль другому гвардейцу на Соляной башне, получил ответ, развернулся и, ещё раз пожелав им доброго вечера, зашагал прочь.

Даниель любовался видами, покуда не убедился, что подслушать их может лишь гуляющий рядом ворон размером со спаниеля.

В полумиле выше по течению реку делили на рукава и практически перегораживали рукотворные острова, поддерживающие череду громоздких каменных арок. Арки соединяло перекрытие, местами деревянное, местами каменное, почти полностью застроенное домами, которые расползались во все стороны, далеко выступая над водой, так что от падения их удерживали лишь диагональные балки. Выше и ниже река текла медленно, но, загнанная между островами, принималась бурлить. Сами острова и берега Темзы на милю вниз были усеяны обломками лодок, не совладавших с порогами под Лондонским мостом. Такое случалось примерно раз в неделю, и тогда на берег выбрасывало трупы и пожитки незадачливых пассажиров.

Некоторые части моста оставались незастроенными, чтобы пожар не перекинулся через реку. В одном из таких просветов остановилась женщина, намереваясь закинуть кувшин в бурлящий поток. Даниель не видел её лица, но знал, что на нём намалёвана грубая маска — защита от сглаза. Мельничные колёса, сооружённые под одной из

арок, громыхали так, что Ольденбургу с Уотерхаузом за милю от моста приходилось немного повышать голос и ближе наклоняться друг к другу. Даниель подозревал, что это не случайно — они приближаются к той части разговора, которую Ольденбург предпочел бы сохранить в тайне от лейб-гвардейцев.

За Лондонским мостом, но гораздо дальше по реке, светился огнями Уайт-холл. Даниель почти убедил себя, что сегодня он озарён зеленоватым сиянием, поскольку Енох Красный демонстрирует королю, придворным и самым уважаемым членам Королевского общества новый элемент под названием «фосфор».

— Дальше Пепис заговорил загадками, которых не смог понять даже Уилкинс, — продолжил Даниель. — Он сказал: «Отсылаю вас к главе десятой вашего опуса 1641 года».

— К «Криптономикону»?

— Полагаю, да. В главе десятой Уилкинс описывает стеганографию — способ скрыть сообщение в безобидном с виду письме… — Здесь Даниель остановился, поскольку Ольденбург изобразил на лице притворно-наивное любопытство. — Думаю, вам прекрасно это известно. Уилкинс извинился за тупость и спросил, говорит ли Пепис о вас.

— Хо-хо-хо! — загрохотал Ольденбург, и его хохот канонадой раскатился в каменных стенах Внутреннего двора. Ворон подлетел ближе и закричал: «Кар! Кар! Кар!» Ольденбург вытащил из кармана кусок хлеба и протянул ворону. Тот вприпрыжку подошёл и раскрыл клюв, чтобы взять хлеб из пухлой бледной руки, — однако Ольденбург отвёл её и сказал отчётливо: «Криптономикон».

Ворон склонил голову набок, открыл клюв и затрещал. Ольденбург вздохнул и раскрыл ладонь.

— Я учу его говорить, — сказал он, — но это слово для ворона сложновато.

Ворон схватил хлеб из его ладони и запрыгал прочь — вдруг Ольденбург передумает.

— Растерянность Уилкинса понятна, однако смысл пеписовых слов вполне ясен. Кое-кто выше по течению… — взмах рукой в сторону Уайт-холла, — считает, что я шпион и пересылаю континентальным монархам сведения, запрятанные в якобы философскую переписку. Им невдомёк, что человека могут и впрямь занимать новые виды угрей или методы квадратуры гиперболы. Однако Пепис говорил о другом — он неизмеримо умнее. Он объяснял Уилкинсу, что не слишком секретные переговоры, которые

ведут Бекингем и Шефтсбери, подобно внешне безобидному письму, скрывают *по-настоящему* секретный договор, который два короля заключают при посредничестве Минетты.

— Боже правый, — проговорил Даниель и опёрся о стену, чтобы от головокружения не свалиться в ров.

— Договор, о подробностях которого мы можем лишь догадываться, за исключением одной: благодаря ему среди ночи появляется золото. — Ольденбург указал на речные ворота Тауэра. Осторожность не позволила ему произнести старинное название: Ворота предателей.

— Пепис мимоходом упомянул, что Томас Мор Англси наполняет флотскую казну… тогда я его не понял.

— Наш герцог Ганфлитский связан с Францией теснее, чем кто-либо думает, — сказал Ольденбург, но объяснять ничего не стал.

А так как серебро и золото имеют свою ценность от их материала, то они имеют, во-первых, ту привилегию, что их ценность не может быть изменена властью одного или нескольких государств, ибо они являются общим мерилом товаров всех стран. Деньги же, сделанные из неблагородных металлов, легко могут быть повышены или понижены в своей стоимости.

Гоббс, «Левиафан»

Чуть позже Ольденбург деликатно выставил его вон, чтобы заняться почтой. Под вежливо-любопытными взглядами лейб-гвардейцев и полуручных воронов Даниель прошёл по Уотер-лейн на южном краю Тауэра. Он миновал большую прямоугольную башню во внешней стене и с опозданием сообразил, что, повернув голову влево, мог бы взглянуть прямо через Ворота предателей. Теперь было поздно, а возвращаться не хотелось. Может, и к лучшему, что он не стал пялиться на ворота, — вдруг кто-нибудь за ним следит и догадается, что Ольденбург о них упомянул.

Неужто он стал думать как придворный?

Справа вставала тяжёлая восьмиугольная

громада Колокольной башни. Проходя мимо, Даниель отважился заглянуть в промежуток между двумя стенами, не более пятидесяти футов шириной. Половину этого пространства занимали различные строения Монетного двора. Пылающие горны за окнами бросали тёплые отблески на высокие стены, выхватывая из тьмы чёрные силуэты угольных телег. Люди с мушкетами угрюмо смотрели на Даниеля. Рабочие ходили из здания в здание, устало волоча ноги.

Он прошёл в арку Сторожевой башни, стоящей над Уотер-лейн для защиты от нападения с суши. Ворон сидел на водосточной трубе и крикнул ему в спину: «Кромвель!», когда Даниель вступал на подъёмный мост, ведущий через ров, от Сторожевой башни к Средней. За Средней башней располагалась Львиная, но королевский зверинец спал, и львиного рыка Даниель не услышал. Здесь он по очередному подъёмному мосту миновал последнее ответвление рва, оказался в маленьком дворе, называемом Бастионным, и наконец через последние маленькие ворота вышел в большой мир, хотя ему предстояло ещё пройти по залитому луной безлюдному гласису, мимо шныряющих крыс и собачьих свадеб, прежде чем оказаться среди людей и домов.

Теперь Даниель был в лондонском Сити и чувствовал лёгкую потерю ориентации: некоторые улицы спрямили после Пожара. Он вытащил из кармана массивное золотое яйцо — одни из экспериментальных часов Гука, очередная неудачная попытка решить Задачу Определения Долгот. Стрелки показывали, что демонстрация фосфора в Уайт-холле пока не закончилась, а вот заглянуть к родственникам ещё прилично. Даниелю не очень хотелось идти к ним и не слишком верилось, что ему будут особенно рады, однако он знал, что именно так такие, как Пепис, становятся такими, как Пепис. Итак, к Хаму.

Окна горели ярко — на свечи тут явно не скупились; перед крыльцом стоял экипаж, запряжённый парою лошадей. Даниель с изумлением обнаружил на дверях кареты собственный семейный герб — замок, перекинутый через реку, как мост. Дом исходил дымом, словно кузнечный горн; серые клубы над огромными трубами подсвечивались желтоватыми отблесками огня. Поднимаясь по ступеням, Даниель различил пение, которое сбилось, но не смолкло, когда он постучал. Это была очень модная песенка, в которой высмеивались ум, трудолюбие и успехи

голландцев. Дворецкий виконта Уолбрукского[36] открыл дверь и распознал в Даниеле гостя, а не клиента, который врывается среди ночи, размахивая распиской.

Мейфлауэр Хам, урождённая Уотерхауз — светленькая толстушка, которой никто не дал бы её пятидесяти лет, скорее тридцать, — стиснула Даниеля так, что ему пришлось встать на цыпочки. Климакс наконец-то положил конец её чрезвычайно сложным и запутанным отношениям с собственной утробой — легендарной саге нерегулярных кровотечений, одиннадцатимесячных беременностей, занесённых в анналы Королевского общества, пугающих предзнаменований, выкидышей, душераздирающих периодов бесплодия, перемежаемых полосами такой плодовитости, что дядя Томас боялся к ней приближаться, опущений, загибов, изгибов и прочих перегибов, жутких маточных колик, загадочных взаимодействий с Луной и прочими небесными телами, чудовищного дисбаланса всех четырёх гуморов, известных врачебной науке, и ещё нескольких, известных только Мейфлауэр, сейсмических урчаний, слышных

[36] Примечания: 36
Король пожаловал Томасу Хаму титул виконта Уолбрукского.

в соседних комнатах, рассосавшихся опухолей и — как ни трудно поверить! — трёх успешных беременностей, завершавшихся четырёхдневными родами, во время которых прочные кровати ломались, как тростинки, картины тряслись и падали со стен, а череда викариев, повитух, врачей и родственников без сил расползалась по домам. Мейфлауэр родилась со счастливой способностью всегда и везде без смущения рассказывать про своё нутро; нельзя было угадать, в каком месте разговора или письма она пустится в подробный отчёт, от которого собеседники покрывались испариной и задумывались о вещах изначальней и проще эсхатологии: сам Дрейк затыкался про Апокалипсис, когда Мейфлауэр заводила о своём женском. Дворецкие сбегали, служанки падали без чувств. Лоно Мейфлауэр правило настроениями Англии, как Луна правит приливами.

— Как… э… *здоровье*? — спросил Даниель, внутренне напрягаясь, но она лишь улыбнулась, извинилась, что дом не до конца отделан (впрочем, модные дома никогда не бывали отделаны до конца), и повела его в гостиную, где дядя Томас развлекал Стерлинга и Беатрис Уотерхаузов, а также сэра Ричарда Апторпа с супругой. Наряды не настолько давили роскошью, и Даниель не чув-

ствовал себя таким уж чудовищно неуместным, как вчера в кофейне. Стерлинг приветствовал его ласково, словно говоря: «Извини, братец, но тогда это были дела».

По-видимому, они что-то отмечали. Упоминалась большая предстоящая работа, и Даниель предположил, что речь идет о каком-то этапе проекта, связанного с застройкой. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь спросил, откуда он, чтобы можно было беспечно ответить: мол, ходил в Тауэр, помахивая приказом государственного секретаря. Однако никто не спрашивал. Через некоторое время Даниель понял, что, если бы они и узнали, им было бы, в сущности, всё равно. Дверь, выходящая на Корнхилл, постоянно скрипела, открываясь, и с грохотом захлопывалась. Наконец Даниель поймал взгляд дяди Томаса и глазами спросил, что там происходит. Через несколько минут виконт Уолбрукский встал, будто бы по нужде, однако, выходя из комнаты, похлопал Даниеля по плечу.

Даниель вышел вслед за ним в тёмный коридор, освещенный лишь алыми отблесками в дальнем конце. Он ничего не видел за карикатурным силуэтом хозяина, но слышал, как что-то с шумом пересыпают лопатой — видимо, забрасывают

уголь в печь. Впрочем, иногда слышался ледяной звон падающей на каменный пол монетки.

В коридоре становилось всё более жарко и душно; наконец они попали в обложенное кирпичом помещение, где рабочий в исподнем засыпал уголь в раскрытую дверцу плавильной печи, которую заметно расширили, когда отстраивали дом после Пожара. Другой рабочий ногами раздувал мехи, взбираясь по бесконечной лестнице. В старые времена печь была как для выпечки пирожков — в самый раз для ювелира, который изготавливает ложки и серьги. Сейчас она выглядела так, словно в ней можно переливать пушки, и половина веса здания приходилась на трубу.

На полу стояли чугунные сундуки, частью пустые, частью наполненные серебряными монетами. Один из старших приказчиков Хама сидел на полу в луже собственного пота и вслух отсчитывал монеты на блюде: «Девяносто восемь… девяносто девять… сто!» — после чего вручил блюдо Чарльзу Хаму (младшему из братьев; Томас был старшим), который высыпал монеты на чашку весов, взвесил при помощи медной гири и ссыпал в плавильный тигель размером с хорошую корзину. Операция повторялась, покуда тигель не заполнился почти доверху. Тогда рас-

калённую дверцу печи распахнули — в комнату вонзились кинжалы голубоватого огня, — Чарльз Хам надел чёрные рукавицы, поднял с пола огромные клещи, сунул их в печь, попятился, потянул и вытащил другой тигель; чашу бело-жёлтого, словно нарцисс, огня. Поворачиваясь с большой осторожностью, он переместил тигель (Даниель мог бы проследить его движения с закрытыми глазами, по жару) и наклонил. Ток светящейся жидкости дугой устремился в глиняную форму. Другие формы стояли по всей комнате — жёлтые, оранжевые, красные, тускло-бурые до чёрного; однако, когда на них падал свет, они поблескивали серебром. Наполнив форму до краев, Чарльз Хам поставил её на весы, потом взял клещами тигель с монетами и сунул его в печь. Всё это время человек на полу не переставал отсчитывать монеты, осипший голос напевно выкликал числа, монеты звякали — дзинь-дзинь-дзинь.

Даниель шагнул вперёд, нагнулся, взял монету из сундука и повернул, как зеркальце в Исааковом телескопе. Он ожидал увидеть тусклый шиллинг с полустёртым портретом королевы Елизаветы, может быть, старый пиастр или талер из тех, что иногда попадали к Хамам при обмене. Однако увидел он новёхонький профиль Карла II,

оттиснутый в яркой лужице блестящего серебра, — саму безупречность. Сияющий профиль напомнил о ночных событиях 1666 года. Даниель бросил монету в сундук. Потом, не веря своим глазам, запустил туда руку и вытащил пригоршню. Они были все одинаковые. Гуртики, только что из хитроумной машины мсье Блондо, едва не резали пальцы; монеты были тёплые, как парное молоко.

Жар выматывал. Даниель вместе с дядей Томасом вышел в уличную прохладу.

— Они *ещё тёплые*! — воскликнул он. Дядя Томас кивнул.

— С Монетного двора?

— Да.

— Вы хотите сказать, что деньги, отчеканенные сегодня на Монетном дворе, той же ночью переливают в слитки на Треднидл-стрит?

Теперь Даниель приметил, что трубы апторповой лавки, через два дома от них, тоже дымятся, как и в других златокузницах по всей Треднидл.

Дядя Томас ханжески поднял брови.

— И куда они отправляются потом? — спросил Даниель.

— Такое мог спросить только член Королевского общества, — сказал Стерлинг Уотерхауз,

вышедший вслед за ними.

— О чем ты, брат? — спросил Даниель.

Стерлинг медленно шёл к ним. Вместо того чтобы остановиться, он раскинул руки, обнял Даниеля и поцеловал его в щеку. В дыхании — ни намёка на спиртное.

— Никто не знает, куда они отправляются, — это не важно. Важно, что они отправляются — движутся, и движение не останавливается. Это кровь в жилах коммерции.

— Но вы должны что-то делать с серебром…

— Мы передаём его джентльменам, которые дают нам что-то в обмен, — пояснил дядя Томас. — Спрашивает ли торговка на Биллинсгейтском рынке, куда отправляется ее рыба?

— Общеизвестно, что серебро просачивается на Восток и оседает в сокровищнице Великого Могола либо китайского императора, — сказал Стерлинг. — По дороге оно может сотни раз перейти из рук в руки. Я ответил на твой вопрос?

— Я уже не верю в то, что увидел, — промолвил Даниель и пошёл назад в дом. Сквозь тонкие кожаные подошвы чувствовалась каждая неровность булыжной мостовой, пуританское платье висело жесткими складками, чугунные перила холодили ладонь. Он был пылинкою в грязной

луже и хотел одного: вернуться к огню, жару и цветному свечению.

Некоторое время он стоял в литейной и глядел, как плавят серебро. Больше всего ему нравилось, как жидкий металл собирается в носике наклоненного тигля, потом переливается через край и прочерчивает в воздухе светящуюся дугу.

— Ртуть есть первичный материал всех металлов, ибо все металлы при плавке превращаются в неё, и она их поглощает, ибо имеет одну с ними природу…

— Кто это сказал? — спросил Стерлинг, приглядывая за переменчивым младшим братцем.

— Какой-то чёртов алхимик, — отвечал Даниель. — Сегодня я оставил всякую надежду когда-нибудь уразуметь деньги.

— На самом деле это просто…

— И всё же не так просто, — сказал Даниель. — Они следуют простым правилам, подчиняются логике, следовательно, натурфилософия должна их охватывать и объяснять; я, знающий и разумеющий больше, чем почти все остальные члены Королевского общества, должен был бы их понимать. Но нет… мне этого не постичь. Если деньги — наука, то ещё более тёмная, чем алхимия. Она отделилась от натурфилософии

тысячелетия назад и с тех пор развивается по собственным законам.

— Алхимики учат, что рудные жилы в земле суть ветви огромного древа, ствол которого расположен в центре земли, и металлы поднимаются по ним, словно сок, — сказал Стерлинг. Отблески огня лежали на его задумчивом лице.

Даниель так устал, что сперва не понял аналогии; а может быть, недооценил брата. Ему подумалось, что тот просит подсказки, где искать золотые жилы. Только в карете Стерлинга по пути к Чаринг-Кросс он понял, что хотел сказать брат: рост денег и коммерции с позиций натурфилософии подобен разрастанию огромного подземного древа. Его можно подозревать, ощущать, иногда использовать практически, но никогда — постичь до конца.

* * *

Таверна «Голова короля» была темна, но не закрыта. Войдя, Даниель увидел там и тут — на стенах и на столах — островки зеленоватого света и услышал, как знатные люди говорят приглушёнными голосами и время от времени взрываются озорным смехом. Но вот свечение померкло, и служанки горящими лучинами зажгли

лампы. Теперь Даниель увидел Пеписа, Уилкинса и Комстока, а также герцога Ганфлитского, сэра Кристофера Рена, сэра Уинстона Черчилля и — за лучшим столом — графа Апнорского, одетого во что-то вроде трёхмерного персидского ковра, отороченного мехом и осыпанного бусинками цветного стекла; а может, это были драгоценные камни.

Апнор рассказывал про фосфор трём сухопарым дамам, обклеенным чёрными мушками:

— Адептам алхимии известно, что каждый металл создают лучи определённой планеты, проникающие в глубь Земли. Так, Солнце рождает золото, Луна — серебро, Меркурий — ртуть, Венера — медь, Марс — железо, Юпитер — олово и Сатурн — свинец. Открытая господином Роотом новая элементарная субстанция заставляет предположить, что есть неизвестная науке планета — возможно, зелёного цвета, — за орбитой Сатурна.

Даниель двинулся в сторону стола, за которым говорили, отрешённо глядя в пустоту, Черчилль и Рен.

— Он смотрит на восток и расположен довольно далеко на севере, ведь так? Быть может, король захочет назвать его Новым Эдинбургом?

— Да, чтобы пресвитериане возгордились! — колко произнёс Черчилль.

— Он не так далеко на севере, — подал голос Пепис из-за соседнего стола. — Бостон лежит севернее на полтора градуса широты.

— Мы не ошибемся, посоветовав ему назвать его в свою честь…

— Чарльстон? Это название уже использовано — опять-таки в Бостоне.

— Тогда в честь его брата? Однако Джемстаун уже есть в Виргинии.

— О чём речь? — спросил Даниель.

— О Новом Амстердаме. Наш монарх получил его в обмен на Суринам, — сказал Черчилль.

— Говорите, сэр, — ещё могут быть бродяги в Дорсете, которые вас не слышали! — захохотал Пепис.

— Король просил Королевское общество подыскать название для города, — очень тихо продолжал Черчилль.

— М-м-м… его брат ведь вроде как завоевал это место? — спросил Даниель. Он знал ответ, но не мог указывать таким людям.

— Да, — многозначительно произнёс Пепис. — Это была часть атлантической кампании Йорка — перво-наперво он отбил у голландцев

несколько гвинейских портов, богатых золотом и рабами, а затем с попутным пассатом отплыл к следующей добыче — Новому Амстердаму.

Даниель отвесил ему лёгкий поклон и продолжил:

— Если нельзя использовать имя «Джеймс», быть может, воспользоваться *титулом*? В конце концов, Йорк — город на севере *нашего* восточного побережья, но не *так* далеко к северу…

— Уже думали, — мрачно отвечал Пепис. — Есть Йорктаун в Виргинии.

— А может, Нью-Йорк? — предложил Даниель.

— Умно… однако слишком очевидное производное от «Новый Амстердам», — заметил Черчилль.

— Если мы назовём его Нью-Йорк, то получится, что в честь города Йорка, а нам надо в честь *герцога* Йоркского, — ехидно возразил Пепис.

Даниель сказал:

— Вы, разумеется, правы…

— Да полно вам! — Уилкинс хлопнул ладонью по столу, разбрызгивая пиво и фосфор во все стороны. — Не педантствуйте, мистер Пепис. Все поймут, что это означает.

— По крайней мере все, кто достаточно умён, — вставил Рен.

— Э… ясно… вы предлагаете более *тонкий* подход, — пробормотал сэр Уинстон Черчилль.

— Давайте занесём его в список, — предложил Уилкинс. — Чем больше мы придумаем названий с «Джеймс» и «Йорк», тем лучше.

Сэр Уинстон Черчилль одобрительно хмыкнул — а может, он просто прочищал горло или подзывал служанку.

— Как вам будет угодно… моё дело маленькое, — сказал Даниель. — Я так понимаю, что демонстрация господина Роота была принята благосклонно?

По какой-то причине все разом покосились на графа Апнорского.

— Она шла успешно, — отвечал Пепис, придвигаясь к Даниелю, — пока мистер Роот не пригрозил отшлёпать графа. Не смотрите на него, не смотрите на него.

Продолжая спокойно говорить, Пепис взял Даниеля под руку и развернул от Апнора. Очень некстати, потому что Даниель только что различил слова «Исаак Ньютон» и намеревался подслушать.

Пепис провел Даниеля мимо Уилкинса, который в этот момент добродушно шлёпал по задику служанку. Трактирщик позвонил в колокольчик,

и все задули свет; теперь в таверне светился лишь обретший новую силу фосфор. Все сказали «Ух ты!», и Пепис вытащил Даниеля на улицу.

— Вы знаете, что господин Роот получает фосфор из мочи?

— Ходят такие слухи, — отвечал Даниель. — Мистер Ньютон разбирается в алхимии лучше меня: он сказал, что Енох Красный пытался по старинному рецепту получить из урины философскую ртуть и случайно наткнулся на фосфор.

— Да, и рассказывает целую историю о том, как нашёл рецепт в Вавилонии. — Пепис закатил глаза. — Придворные слушали как зачарованные. Так или иначе, для сегодняшней демонстрации он собрал мочу из Уайт-холла и выпаривал её бесконечно на барже посреди Темзы. Не стану мучить вас подробностями, довольно сказать, что, когда он закончил и зрители перестали хлопать, все придворные как один начали сравнивать лучезарность короля с лучезарностью фосфора…

— Полагаю, это было обязательно…

Уилкинс, грохнув дверью, вышел из таверны, по-видимому, с единственной целью: *посмотреть*, как Даниелю будут пересказывать эту историю.

— Граф Апнорский высказался в том духе, что

причиной всему некая особая субстанция — королевский гумор, — пронизывающая тело монарха и выделяемая с мочой. Когда все придворные согласились и отвосхищались философскими познаниями графа, Енох Красный сказал: «По правде говоря, большая часть мочи принадлежала королевским гвардейцам и лошадям».

— Тут граф вскочил! Рука его потянулась к шпаге — разумеется, чтобы защитить честь короля, — вставил Уилкинс.

— А что его величество? — спросил Даниель.

Уилкинс изобразил руками весы и покачал ими вверх-вниз.

— И тут мистер Пепис перевесил чашу весов. Он рассказал историю времен Реставрации. В 1660 году он был на корабле с королём и некоторыми приближёнными, включая графа Апнорского, тогда двенадцати лет. Ещё на борту был любимый старый пёс короля. Пёс нагадил на палубу. Молодой граф пнул пса и хотел выбросить за борт, но король остановил его, сказав со смехом: «Видишь, по крайней мере в некоторых смыслах короли ничем не отличаются от простых смертных!»

— Он правда это сказал?! — вскричал Даниель и тут же почувствовал себя полным болваном.

— *Разумеется*, нет, — отвечал Пепис. — Я

просто пересказал историю таким образом, поскольку это казалось мне полезным.

— И помогло?

— Король рассмеялся, — сказал наконец Пепис.

— И Енох Красный спросил, не пришлось ли отшлёпать графа, чтобы научить его почтению к старшим.

— К старшим?

— Пёс был старше графа… слушайте внимательнее! — сурово нахмурился Пепис.

— Мне кажется, это были опрометчивые слова, — пробормотал Даниель.

— Король ответил: «Нет, нет, Апнор всегда был учтивым малым» или что-то в таком роде, и дуэли не произошло.

— Однако Апнор злопамятен…

— Енох отправлял в ад людей получше Апнора, за него не тревожьтесь. Займитесь собственными недостатками, молодой человек, — излишней серьёзностью, например…

— Склонностью к беспокойству, — вставил Пепис.

— Недолжной трезвенностью… Идёмте назад в таверну!

Он проснулся на следующий день в наёмном экипаже по пути в Кембридж — в замкнутом

пространстве вместе с Исааком Ньютоном и его разнообразными приобретениями: шестью томами «Theatrum Chemicum»[37], многочисленными ящичками, набитыми соломой, из которой торчали горлышки реторт и пахло чем-то незнакомым. Исаак говорил:

— Если будешь ещё блевать, то, пожалуйста, сюда, в миску: я собираю желчь.

Эту просьбу Даниель удовлетворил сразу.

— Думаешь преуспеть в том, что не удалось Еноху Красному?

— О чём ты?

— Хочешь получить философскую ртуть?

— А чем ещё можно заниматься?

— Королевское общество в восторге от твоего телескопа, — сказал Даниель. — Ольденбург просит тебя о нём написать.

— М-м-м… — рассеянно проговорил Исаак, сравнивая отрывки из трёх книг сразу. — Не подержишь на минуточку?

Так Даниель стал живой подставкой для книг; впрочем, сейчас он ни на что лучшее и не годился. Следующий час у него на коленях лежал фолиант четыре дюйма толщиной, оправленный в золото

---

[37] Примечания: 37

Огромный, мутный, невразумительный компендиум алхимических знаний.

и серебро и явно изготовленный за столетия до Гутенберга. Даниель едва не ляпнул: «Он небось обошёлся тебе в чёртову уйму денег», но при ближайшем рассмотрении обнаружил вклеенный экслибрис с гербом Апнора и дарственной надписью:

> Мистер Ньютон!
>
> Пусть этот том будет так же драгоценен для Вас, как для меня — воспоминания о нашей нечаянной встрече.
>
> ***АПНОР.***

На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс
Ноябрь, 1713 г.

Как только они выходят из Плимутской бухты в залив Кейп-Код, ван Крюйк снова становится капитаном и возвращается в свою каюту. Он несколько расстроен, застав её в беспорядке. Наверное, Даниель и впрямь горький старый атеист с мозгами набекрень, поскольку при взгляде на перекошенное лицо капитана с трудом сдерживает смех. «Минерва» — собрание досточек, удерживаемое вместе гвоздями, нагелями, найтовами и паклей и не тянущее даже на соринку в глазу мира, скорее на крохотный зародыш из тех, что Гук обнаружил под микроскопом. Она удерживается на плаву лишь потому, что матросы день-деньской качают помпы, не переворачивается лишь потому, что очень умные люди постоянно наблюдают за небом и за морем вокруг. Каждый парус и трос тают с заметной скоростью, словно снег под солнцем, и матросы должны постоянно тренцевать, клетневать, смолить и сплеснивать бесконечную паутину

пеньковых снастей, чтобы «Минерва» не рассыпалась посреди океана, как воображает Даниель, с внезапностью взрыва. Подобно змее, меняющей кожу, она сбрасывает истёртое и сломанное, заменяя новым из внутренних резервов, — эволюционирует. Единственный способ поддержать эту постоянную и насущную эволюцию — пополнять припасы в трюме, убывающие столь же неумолимо, как сочится в щели вода. Единственный способ делать *это* — доставлять товары из порта в порт, зарабатывая немного денег в каждом рейсе бесконечного плавания. Каждый день сталкивает их с ураганами и пиратами. Выйти в море и увидеть «Минерву» — все равно что в пустыне обнаружить пирамиду Хеопса, стоящую вверх тормашками. Она — дитя в корзине, книга в огне. И при том ван Крюйку хватило духу оснастить свою каюту, словно барскую гостиную, хрупкими барометрами, часами и оптическими приборами, приличной библиотекой, инкрустированным кабинетом с фарфоровой посудой, запасом портвейна и бренди. У него тут зеркала, скажите на милость! Мало того, войдя в каюту и обнаружив немного битого стекла на полу и ударные кратеры в переборках, он приходит в такую ярость, что Даниель и без слов Даппы понимает:

капитана лучше на время оставить одного.

— Итак, занавес над представлением опустился. Понимаю, человек в вашем положении может чувствовать себя ненужной ракушкой, приросшей к корабельному днищу, помехой морякам, однако на «Минерве» всем найдётся работа, — говорит Даппа, ведя его на батарейную палубу.

Даниель не слушает, захваченный зрелищем. Все преграды, загромождавшие палубу, убраны или выброшены за борт в угоду пушкам. Они были принайтовлены параллельно корпусу, но сейчас развернуты на девяносто градусов и нацелены в орудийные порты. Поскольку корабль идет заливом Кейп-Код, в милях от ближайшего неприятеля, порты закрыты. Однако матросы, словно рабочие за кулисами, суетятся с разными замысловатыми орудиями: фитильными пальниками, подъемными клиньями, правилами и такелажными лопатками. Один держит что-то похожее на большую лупу, только без стекла: пустое железное кольцо на рукоятке; он сидит верхом на ящике с ядрами и пропускает их в кольцо, сортируя по размеру. Другие выстругивают деревянные кругляшки, называемые поддонами, и привязывают их к ядрам. Однако возле пороховых бочонков люди с железным инструментом

не приветствуются — от железа бывают искры.

Матрос-ирландец разговаривает с плимутским пиратом, захваченным сегодня утром. Их разделяет пушка, а когда людей разделяет пушка, то и говорят обычно о ней.

— Это Вострушка Венди, или цаца, как мы иногда для краткости кличем её в разгар боя, хотя можно называть её «милка» или «зазноба», но ни в коем случае не Вертихвостка и не Ветреница Венди, как вот *они*, — суровый взгляд в сторону расчёта другой пушки, Мистера Фута, — пытаются её обозвать.

— А что, и впрямь ветрена?

— Как всякую барышню, её надо узнать поближе, и тогда в её непостоянстве становится видна последовательность — своего рода верность. Первое, что ты должен запомнить про нашу девоньку, что она обычно бьёт выше и левее центра. И ещё она очень неподатлива, наша целочка Венди, поэтому ядра надо брать поменьше и вставлять их понежнее…

Кто-то из расчёта Манильского Сюрприза на мгновение приоткрывает орудийный порт, и в него бьёт солнце. Однако Манильский Сюрприз на левом борту корабля.

— Мы плывём на юг?! — восклицает Даниель.

— Лучший курс при северном ветре, — отвечает Даппа.

— Но там всего в нескольких милях — мыс Кейп-Код! Как же мы выберемся?

— Как вы правильно поняли, чтобы обогнуть полуостров, нам некоторое время придётся идти в бейдевинд, — соглашается Даппа. — Тут-то флотилия Тича на нас и нападёт. Однако у его кораблей косое парусное вооружение, и они смогут держать круче к ветру, чем наша дорогая «Минерва» с её прямыми парусами. Преимущество на стороне Тича.

— Так не следует ли нам направиться к северу, покуда не поздно?

— Он настигнет нас через несколько минут — весь флот разом. Мы предпочли бы сражаться с каждым из его кораблей по отдельности. Посему пока на юг. На фордачок под всеми парусами мы идём быстрее. Тич знает, что может упустить нас, преследуя к югу. Однако знает он и другое: рано или поздно мы должны повернуть к северу, потому расставит корабли в цепь и будет нас дожидаться.

— Однако разве Тич не будет думать о том же самом и держать свою флотилию вместе?

— В дисциплинированном флоте, рвущемся

к победе, так бы оно и было. Мы же имеем дело с пиратским флотом, рвущимся к добыче, а по пиратским законам львиная доля достанется кораблю, взявшему приз.

— А… то есть каждый капитан постарается вырваться вперёд и напасть независимо.

— Именно так, доктор Уотерхауз.

— Но не безрассудно ли маленькому шлюпу атаковать такой корабль? — Даниель обводит рукой батарейную палубу: шумную ярмарку, по которой стремительно циркулируют ядра, поддоны, пороховые бочонки, враки, остроты и обещания.

— Отнюдь, если на корабле недостает команды, а капитан — выживший из ума трус. Теперь если вы соблаговолите спуститься со мной в трюм… не беспокойтесь, я зажгу фонарь, как только мы будем достаточно далеко от пороха… вот. Чистый корабль, вы согласны?

— Простите? Чистый? Да, думаю, для корабля… — говорит доктор Уотерхауз. Он не поспевает за быстрыми, как ртуть, мыслями Даппы.

— Благодарю вас, сэр. Однако это изъян, когда в бою дело доходит до мушкетонов. Мушкетоны, как вам, наверное, известно, хороши тем, что из них можно палить любыми гвоздями,

камешками, щепками и другим подручным мусором, — однако мы на «Минерве» взяли в привычку выметать весь сор за борт несколько раз на дню. В такие дни, как сегодняшний, мы сожалеем о своей чистоплотности.

— Я знаю о мушкетонах больше, нежели вы можете вообразить. Чего вы от меня хотите?

— Чуть позже один из наших людей научит вас делать зажигательные снаряды, но пока мы к этому не готовы, потому я попрошу вас спуститься в трюм и…

Доктор Уотерхауз не верит своим ушам. Он прежде не бывал в трюме и думал увидеть полную неразбериху, как в хранилище Королевского общества. Но нет: бочки и тюки расставлены аккуратно и тщательно принайтовлены; на переборке у трапа висит схема с точными указаниями, что когда и куда помещено. В самом низу, под словом «льяло», рукой ван Крюйка приписка: «устаревший фаянс — держать под рукой».

Даппа оторвал двух матросов от дела, которому те предавались последние полчаса: учёной беседе о приближающемся пиратском шлюпе. Матросы считали это достойным времяпрепровождением, Даппа — нет. Минуту они сверяются со схемой, и Даниель с умеренным изумлением осознает, что

оба умеют читать и понимают цифры. Матросы сходятся на том, что старый фаянс должен быть в носовой части трюма. Это самая красивая часть корабля: многочисленные шпангоуты отходят от изогнутого вверх киля, образуя перевернутый свод. Чувствуешь себя мухой, исследующей купол собора. Матросы отодвигают несколько ящиков, не умолкая ни на минуту — пытаются перещеголять друг друга леденящими кровь байками о жестокости знаменитых морских разбойников. Потом поднимают люк, ведущий в нижний отсек трюма, и в мгновение ока вытаскивают два ящика безобразнейшей фаянсовой посуды. Сами ящики — из отличного виргинского можжевельника, который не гниёт в сырости. Посуда ничем не переложена, так что часть работы за Даниеля уже сделана. Он благодарит матросов, те смотрят на него удивлённо и уходят наверх. Даниель расстилает на палубе старый гамак — два ярда парусины, — высыпает на него содержимое ящика и принимается орудовать молотком.

Каков оптимальный размер черепков (думает Даниель) для стрельбы из мушкетона? Когда во время Пожара королевский стражник выстрелил ему в спину, он получил синяки и порезы, но ни единой раны. Вероятно, чем больше, тем

лучше, что облегчает дело. Легко представить, как острый треугольник ярко глазурованного фаянса впивается в пирата, рассекая вену или артерию. Однако слишком большие осколки не влезут в дуло. Даниель решает остановиться на скромном диаметре в полдюйма и соответственно бьёт тарелки, ссыпая куски нужного размера в парусиновые мешочки, а более крупные оставляя для дальнейшей экзекуции. Занятие приятное: через некоторое время он ловит себя на том, что поёт песенку: те самые куплеты, что исполнял с Ольденбургом в Широкой Стрелковой башне. Он отбивает ритм молотком, подбирая ноты, с которыми резонирует трюм. Вокруг сочится в щели между досок вода и, весело журча, бежит в льяло; помпы откачивают её с мерным чмоканьем и присвистом, словно бьющееся сердце в систолу и диастолу.

Колледж Грешема, Бишопсгейт, Лондон
1672 г.

Инквизитор-иезуит Риччоли тщился семьюдесятью семью доводами опровергнуть учение Коперника… Думаю, это единственное открытие ответит на них на все и ещё на семьдесят семь, ежели кто-нибудь сумеет столько измыслить.

Роберт Гук

Добрую половину двух прошлых месяцев Даниель провёл на крыше Грешем-колледжа, трудясь над дырой — пробивая её, не чиня. Гук не мог этого делать из-за усилившихся головокружений; случись очередной приступ на крыше колледжа, он бы рухнул вниз, словно червивое яблоко с ветки — последний эксперимент в исследовании загадочной силы тяжести.

Для человека, который, по собственным словам, ненавидит разглядывать острые предметы под микроскопом, Гук проводил удивительно много времени, оттачивая колкие доводы против иезуитов. Покуда Даниель проделывал дыру в крыше,

Гук на безопасном уровне расхаживал взад-вперёд по галерее. В паху у него было закреплено жёсткое седло, от которого отходил прут к снабжённому циферблатом колесику: собственного изобретения шагомер, позволяющий определить, сколько он проходит, не уходя никуда. Цель (как объяснял он Даниелю и другим обескураженным членам Королевского общества) — не попасть из точки А в точку Б, а вспотеть. Каким-то образом с потом из организма выходит нечто, вызывающее мигрень, тошноту и головокружения. Время от времени Гук останавливался и, дабы освежиться, выпивал стакан чистой ртути. В одном из концов галереи он установил стол, на котором держал перья и модные снадобья из лавки мсье Лефевра. Перья были разные; одними он щекотал себе в горле, чтобы вызвать рвоту, другие затачивал, обмакивал в чернила и записывал ими показания шагомера, или изливал желчь на иезуитов, не признающих, что Земля вращается вокруг Солнца, или строчил филиппики против Ольденбурга, или просто выполнял рутинные обязанности городского землемера.

Инквизитор-иезуит Риччоли указал, что, будь небо усеяно звёздами, находящимися на разном расстоянии, и вращайся Земля вокруг Солнца по

огромному эллипсу, звёзды смещались бы одна относительно другой в течение года, как движутся деревья в глазах идущего по лесу наблюдателя. Однако такой параллакс не наблюдался, и это доказывало (по крайней мере для Риччоли), что Земля неподвижно закреплена в центре Вселенной. Для Гука это доказывало лишь, что не построены достаточно мощные телескопы и не сделаны достаточно точные замеры. Чтобы добиться нужного увеличения, он собирался построить телескоп тридцати двух футов длиной. Дабы свести к нулю преломляющее действие земной атмосферы (очевидное по тому, что Солнце на восходе и на закате кажется сплюснутым), телескоп необходимо нацелить точно вверх, а для того — пробурить вертикальную скважину в крыше Грешем-колледжа. Старинный особняк походил на мазанку, которую столько чинили, что теперь она вся состоит из перекрывающихся заплат — сплошная рубцовая ткань. Это придавало работе занимательность — по ходу дела Даниель узнал уйму всего нужного и ненужного о том, как дома воздвигаются и почему не разваливаются.

Цель была глядеть *вверх* на небо и вычислять расстояния до ближайших звезд. Однако, по-

скольку Даниель работал днём, он в минуты отдыха смотрел *вниз*, на Лондон. С Великого пожара прошло шесть лет, но восстановление только сейчас развернулось в полную меру.

Раньше колледж Грешема был зажат домами примерно такой же высоты, теперь же высился одинокой усадьбой среди разорённого поместья — Пожар остановился у самых его дверей. Когда Даниель стоял на краю крыши и глядел на юг, в сторону Лондонского моста, всё в поле его зрения несло следы огня или копоти. Предположим, что город — огромные гуковы часы, и Грешем-колледж — центральная ось, а Лондонский мост отмечает двенадцать часов. Тогда Бедлам точно позади Даниеля на шести часах, Тауэр — на десяти; восточный ветер и гласис спасли его от пожара. Сектор от Тауэра до Лондонского моста представлял собой лабиринт старых кривых улочек, над которыми там и тут высились чёрные остовы колоколен — буквально как вешки землемера. Для Гука, предложившего план рационального градоустройства, они были досадной помехой — противники требовали восстанавливать улицы на прежних местах (пусть не такие кривые и узкие), используя обугленные колокольни в качестве ориентиров. Незапол-

ненный фон между строительными участками («отрицательное пространство», как сказали бы живописцы) теперь обозначал новые улицы, лишь немногим шире и прямее старых. Точно в середине сектора зиял огороженный лунный кратер — место, где начался Пожар и где Рену с Гуком предстояло воздвигнуть монумент.

Прямо перед Даниелем, в секторе между полуднем и часом дня, лежала старая златокузнечная слобода, улицы Треднидл и Корнхилл — так близко, что Даниель слышал нескончаемую горячку покупок и продаж во дворе Биржи, подогреваемую последними вестями из-за границы; мог заглянуть в окно Томаса Хама, где Мейфлауэр (как матрона) взбивала подушки и (как школьница) играла в чехарду с Уильямом Хамом, своим младшеньким и любименьким.

Треднидл и Корнхилл, сливаясь, образовывали Чипсайд, который Гук значительно расширил, чем вызвал зубовный скрежет и почти апокалиптические вопли противников. По счастью, Гук, безразличный к тому, что о нём думают, как никто умел пропускать такие нападки мимо ушей. Чипсайд шёл так прямо, как Гук сумел его проложить, к собору Святого Павла, былому и грядущему. Сейчас он представлял собой

россыпь бурых камней, оплавленного кровельного свинца и человеческих костей из чумных захоронений. Рен по-прежнему работал над чертежами и моделями нового собора. На улочках, прилегающих к кладбищу, располагались типографии, в частности, та, где печатали почти все труды Королевского общества, поэтому прогулки вверх и вниз по Чипсайду вошли у Даниеля в привычку: он ходил туда забирать экземпляры «Микрографии» и вычитывать гранки уилкинсова «Всеобщего алфавита».

Чуть дальше за развалинами собора (примерно на двух часах) стоял Брайдуэлл, бывший королевский дворец, в котором шлюхи, актрисы и побродяжки щипали паклю, мяли пеньку и занимались другими душеполезными исправительными работами. Здесь впадала в Темзу река Флит — на самом деле вонючая сточная канава. Из-за неё-то монархи и покинули Брайдуэлл, уступив его беднякам. Огонь легко перекинулся через канаву и принялся дальше пожирать город, пока нехватка топлива и героическая подрывная кампания короля и лорд-мэра не стянули его петлёй. Куда Даниель ни смотрел, ему неизбежно приходилось отслеживать границу между сгоревшей и не сгоревшей частями города от реки,

через Флит-стрит и до самого Холборна (на трёх часах). За тем местом, где шесть лет назад взлетел на воздух его отец, лежал теперь обрамлённый домами и лавками квадрат садов, фонтанов и статуй. Такие же или похожие возникали вокруг, особенно близ новых домов на Пиккадилли, таких, как Комсток-хаус. Однако строительство и тот успех, который оно принесло Стерлингу и Релею, не были для Даниеля новостью, и он больше глазел на странные новые работы по окраинам города.

Если повернуться и посмотреть на север за остов старой римской стены, можно было заглянуть прямо в Бедлам, меньше чем в четверти мили от Грешем-колледжа. Он не сгорел, однако город поручил Гуку снести его и выстроить заново. Шутили, что Лондон и Бедлам поменялись ролями: на месте снесённого Бедлама раскинулся безмятежно-покойный сад камней, а Лондон (за исключением нескольких участков, таких, как площадка под монумент и собор Святого Павла) лихорадочно строился — телеги с камнем, брёвнами и кирпичом тянулись по улицам сплошным потоком, и казалось, будто смотришь, как колбасу набивают мясом. Обгоревшие дома сносили, рыли ямы, мешали раствор, с телег сбрасывали

плиты, камни и кирпичи обтёсывали по размеру, окованные колёса гремели по брусчатке, и всё сливалось в безумный неумолчный грохот, словно титан жуёт холм.

За Бедламом на севере, северо-востоке и дальше к востоку за Тауэром располагались несколько артиллерийских стрельбищ и военных лагерей. Последнее время из-за англо-голландской войны там царило оживление. Не той англо-голландской войны, к которой Исаак прислушивался из Вулсторпского сада шесть лет назад, — та закончилась в 1667-м. Теперь шла новая и совершенно иная англо-голландская война, третья за такое же число десятилетий. Англичане наконец-то смекнули объединиться с французами. Если не принимать во внимание реальные интересы страны и отбросить всякие соображения морального плана (а нынешнего короля Англии ни те, ни другие особо не занимали), это и впрямь было куда разумнее, чем воевать против Франции. Хлынувшее в страну французское золото склонило Парламент на сторону Людовика XIV и дало средства построить много новых кораблей. Франция обладала огромной армией и не особо нуждалась в английской помощи на суше; что Людовик покупал с потрохами, так это англий-

ский флот, его пушки и порох.

Даниель не мог взять в толк, какую цель преследуют земляные работы на северо-востоке Лондона. За несколько дней у него на глазах ровные плацдармы пошли морщинами, которые со временем стали насыпями и рвами, постепенно оформляясь (как если бы он фокусировал подзорную трубу) в чёткие укрепления. Даниель никогда не видел такого воочию, поскольку в Англии их прежде не возводили, но по книгам и картинам узнавал валы, бастион, люнеты и равелины. Если это была подготовка к голландскому вторжению, то крайне плохо продуманная, поскольку укрепления стояли на отшибе и обороняли лишь пастбище с обескураженными, но очень хорошо защищенными коровами. Тем не менее из Арсенала в Тауэре вытащили пушки, и воловьи упряжки, надсаживая пупок, втянули их на валы. Щёлканье бичей, фырканье и рёв животных доносились через Собачью канавку, Лондонскую стену и скат крыши до слуха Даниеля. Тому оставалось лишь смотреть и дивиться.

Ближе к реке, в пойме за Тауэром, армейская суета уступала место военно-морской: на верфях пилили светлое дерево из Массачусетса и Шотландии, доски складывались в изогнутые

корпуса, мёртвые ели восставали мачтами. Исполинские столбы чёрного дыма клубились над кузницами Комстока, где тонны чугуна переливали на пушки. На горизонте крутились крылья мельниц, вращая зубчатые передачи машин Комстока, сверлящих запальные отверстия в этих пушках.

Последняя мысль заставила Даниеля вновь поглядеть на Тауэр, с которого он и начал: центральную загадку, где золото с французских (как знала теперь вся Англия) судов перечеканивали на гинеи в уплату за пушки, корабли и за услуги Англии в ее новой роли флотского сателлита Франции.

* * *

Однажды днём, как только церковные колокола прозвонили два, Даниель спустился по лестнице в шахту телескопа. Гук отправился инспектировать какие-то мостовые, оставив по себе лишь металлический запах рвоты. Даниель перешёл улицу, ныряя между неучтивыми возами, забрался в карету Самюэля Пеписа и устроился поудобнее. Прошло несколько минут. Даниель смотрел в окно на идущий люд. В сотне ярдов отсюда улица бурлила маклерами, обязатель-

ства золотых дел мастеров и акции Ост-Индской компании переходили из рук в руки, но здесь, за Лондонской стеной, образовалась своего рода тихая заводь. Даниель наблюдал беспорядочное мельтешение флотских офицеров, диссидентских проповедников, членов Королевского общества, иностранцев и бродяг. Этот гордиев узел внезапно разрубила сцена погони: нечёсаный босоногий мальчишка выбежал с Брод-стрит, преследуемый бейлифом с дубинкой. Заметив проулок между голландской церковью и Военно-морским казначейством, мальчишка юркнул за угол, помедлил секунду, оценивая обстановку, и освободился от бремени, подбросив в воздух светлый кирпич. Тот рассыпался, ветер подхватил его и раздул в облако трепещущих прямоугольников. К тому времени, как Даниель или кто-то ещё снова взглянули на мальчишку, того уже и след простыл. Бейлиф раскорячился, словно сидя на невидимом пони, и принялся затаптывать памфлеты ногами, ловить в охапку, рассовывать по карманам. Несколько стражников подбежали, обменялись с ним короткими восклицаниями, взглянули на фасад голландской церкви и тоже принялись собирать листовки.

Самюэлю Пепису предшествовали парик и

запах кёльнской воды; сзади семенил клерк с огромным рулоном бумаг.

— Ловко он придумал, этот мальчишка, — сказал Пепис, влезая в карету и протягивая Даниелю памфлет.

— Старый трюк, — отвечал Даниель.

На лице Пеписа отразилось приятное изумление.

— Неужто Дрейк отправлял на улицу *вас*?

— Разумеется… обычный обряд инициации для всех мальчиков Уотерхаузов.

На листке был изображен король Людовик XIV: спустив штаны и отклячив волосатую задницу, он срал в рот английскому моряку.

— Давайте отвезём Уилкинсу! Ему понравится, — предложил Пепис и заколотил по крыше кареты. Кучер тронул вожжи. Даниель постарался обмякнуть всем телом, чтобы не изувечиться, когда карету начнёт бросать на камнях.

— То, о чём мы говорили, при вас?

— Я всегда ношу его с собой, — сказал Пепис, извлекая из кармана неправильной формы ком размером с теннисный мяч, — как вы — свои потроха.

— Напоминание о собственной смертности?

— Человек, которому удалили камень, знает о

ней без напоминаний.

— Тогда зачем?

— В качестве последнего средства оживить беседу. Он помогает разговорить кого угодно: немца, пуританина, краснокожего… — Пепис протянул Даниелю комок, тяжёлый, как камень.

— Не могу поверить, что его извлекли из вашего мочевого пузыря!

— Вот видите! Действует безотказно, — отвечал Пепис и больше разговаривать не стал, а развернул одну из больших бумаг, разделив карету пополам, словно ширмой. Даниель думал, что это — чертёж корабля, пока солнце не заглянуло в окно кареты и он не увидел на просвет столбцы цифр. Пепис что-то говорил клерку, тот записывал. Даниелю оставалось вертеть в руках камень и смотреть на город, который для седока выглядел совсем иначе, чем для пешехода. Проезжая мимо кладбища рядом с собором Святого Павла, он увидел содержимое целой типографии, вытащенное на улицу: несколько приставов и чиновник из ведомства сэра Роджера Лестрейнджа рылись в кипах несброшюрованных листов и подносили к зеркалу доски.

Через несколько минут карета остановилась перед домом Уилкинса. Пепис оставил писаря

в экипаже, а сам взлетел по лестнице, потрясая мочевым камнем, словно странствующий рыцарь — частицей Животворящего Креста.

Он помахал камнем перед лицом Уилкинса; тот только рассмеялся. Впрочем, даже этот смех был хоть какой-то отрадой, поскольку всё остальное внушало ужас. Тёмный цвет панталон не мог скрыть того, что Уилкинс мочится кровью, порой — не добравшись до стульчака. Он разом усох и раздался, если такое возможно; запах, идущий от него, наводил на мысль, что почки не справляются со своим делом.

Покуда Пепис убеждал епископа Честерского удалить камень, Даниель оглядел комнату и расстроился, но не удивился, увидев несколько пузырьков из аптеки мсье Лефевра. Он понюхал один — «Elixir Proprietalis LeFebure»[38], то же снадобье, какое Гук принимал, когда от мигрени ему хотелось наложить на себя руки. Эликсир этот Лефевр изобрёл, исследуя свойство мака; новое лекарство пользовалось огромной популярностью при дворе, даже среди тех, кто не страдал от камней или головной боли. Однако когда у Джона Уилкинса начался приступ почечной колики,

---

[38] Примечания: 38
«Патентованный эликсир Лефевра» (*лат.*).

на несколько минут превративший епископа Честерского и создателя Королевского общества в обезумевшее бессловесное животное, Даниель подумал, что, может быть, мсье Лефевр не такой уж и мерзавец.

Когда всё закончилось и Уилкинс снова сделался Уилкинсом, Даниель показал ему памфлет и упомянул налёт Лестрейнджа на типографию.

— Те же люди занимаются одним и тем же вот уже десять лет, — объявил Уилкинс.

Из слов «те же люди» Даниель понял, что автор памфлетов — Нотт Болструд и что именно на него охотится Лестрейндж.

— Вот почему я не могу бросить свои дела и вырезать камень, — сказал Уилкинс.

* * *

Даниель соорудил на крыше Грешем-колледжа систему блоков, Гук отвлёкся на день от забот по восстановлению Лондона, и они установили телескоп. Гук морщился и вскрикивал всякий раз, как инструмент за что-нибудь задевал, словно это — отросток его собственного глаза.

Даниель же никак не мог полностью сосредоточиться на небесах. Лондон отвлекал его и теребил — записки, подсунутые под дверь, за-

говорщицкие взгляды в кофейнях, странные события на улицах занимали его больше, нежели следовало. За городом на месте загадочных укреплений тем временем воздвигли помост и начали сколачивать скамьи.

В один прекрасный день Даниель, а также вся лондонская знать и немалая часть городских карманников заняли места на этих скамьях или на поле. Выехал герцог Монмутский в наряде, чьё великолепие опровергало все проповеди, когда-либо произнесённые кальвинистами; ибо будь эти проповеди верны, ревнивый Господь поразил бы Монмута на месте. За ним Джон Черчилль, единственный, быть может, мужчина в Англии, превосходящий Монмута красотой и потому в чуть менее блистательном туалете. Король Франции не смог присутствовать лично, поскольку был занят покорением Голландской республики; рослый актёр в горностаевой мантии выехал вместо него на холм, уселся на трон и приступил к государственным занятиям: смотреть в подзорную трубу и указывать пышно разодетым любовницам на происходящее, поднимать скипетр, отправляя войска на приступ, спускаться с трона и говорить несколько ласковых слов раненым офицерам, которых подносили к нему

на носилках, а в минуты опасности принимать величаво-гордые позы и мановением руки успокаивать трепетных *femmes*[39]. Ещё один актёр исполнял роль д'Артаньяна. Поскольку все знали, что с ним будет, ему при появлении хлопали громче всех, к досаде (настоящего) герцога Монмутского.

Так или иначе: пушки с валов «Маастрихта» дали впечатляющий залп, «голландцы» на укреплениях приняли картинные позы, чем вызвали негодующий гул зрителей (как эти наглецы смеют обороняться?!), быстро перешедший в патриотический рёв, когда по сигналу «Людовика XIV» Монмут и Черчилль бросились в атаку на люнет. После завораживающего звона клинков и обильного пролития бутафорской крови они установили английский и французский флаги по обе стороны парапета, пожали руку д'Артаньяну и обменялись разного рода учтивыми жестами с «королём» на холме.

Грянули рукоплескания. Ничего другого Даниель не слышал, но *видел* некую буффонаду прямо перед собой: молодой человек в строгой одежде, заслонявший ему вид своей пуританской

---

[39] Примечания: 39
Женщин (*фр.*).

шляпой, внезапно обернулся, раскинул руки, словно раздавленный жук, уронил голову на белый воротник, вывесил язык и закатил глаза. Он передразнивал «голландских» защитников крепости, которые теперь лежали на люнете *hors de combat*[40]. Выглядело это неприглядно: у молодого человека было что-то с лицом, какая-то ужасная кожная болезнь.

За его спиной разворачивались события: мёртвые защитники воскресли и убежали за укрепления, готовясь к следующему действию. Равным образом и молодой человек перед Даниелем поднял голову и оказался не мертвым голландцем, а вполне живым англичанином с постной физиономией. Одет он был не просто в унылое чёрное платье, а в такое унылое чёрное платье, какое в то время носили гавкеры. Впрочем (как с опозданием сообразил Даниель), оно очень походило на платье лжеголландских защитников «Маастрихта». Если задуматься, «голландцы» эти куда больше напоминали английских диссентеров, чем настоящих голландцев — те, если верить молве, давно закопали пилигримское платье (так и так навеянное испанским фасоном)

---

[40] Примечания: 40
Вышедшие из строя *(фр.)*.

и одевались теперь на общеевропейский манер. Соответственно, на поле не только представляли осаду Маастрихта, но и разыгрывали притчу, в которой пышно разодетые красавцы-щёголи побеждали скучных кальвинистов на улицах Лондона.

Медлительность, с какой это всё доходило до Даниеля, взбесила юного гавкера, у которого была большая круглая голова и могучая челюсть аутентичного Болструда.

— Гомер?! — вскричал Даниель, когда овации смолкли и сменились требованиями принести пива. Сын Нотта Болструда бывал в доме Дрейка маленьким мальчиком, однако за последние лет десять Даниель его ни разу не видел.

Гомер Болструд вместо ответа посмотрел ему прямо в лицо. На обеих щеках по бокам носа располагалась старая рана: комплекс красных траншей и кожных валов, складывающихся в грубые буквы S и L. Их выжгли калёным железом на дворе перед Олд-Бейли, через несколько минут после того, как суд признал Гомера подстрекателем и пасквилянтом.

Гомеру Болструду было никак не больше двадцати пяти, тем не менее круглая голова вкупе с клеймом придавали ему властный не по годам

вид. Он выразительно кивнул на пространство позади скамей.

Гомер Болструд, сын государственного секретаря Нотта, внук прагавкера Грегори, вывел Даниеля в становище из палаток и фургонов, доставивших реквизит и всё остальное. Некоторые палатки предназначались для актёров и актрис. Гомер провёл Даниеля между двумя такими палатками во встречном потоке «французских любовниц», возвращающихся от трона «Короля-Солнца». Как в чутких глазах Исаака надолго запечатлелся солнечный диск, так в сетчатку Даниеля врезались несколько декольте. Где-то над ними должны были располагаться лица, глаза и губы, но те единственные, которые Даниель *заметил*, что-то говорили товарке с французским акцентом, из чего он заключил (как стало известно задним числом, несколько простодушно), что актриса — француженка. Однако прежде чем Даниель окончательно погрузился в мечтательную задумчивость, Гомер Болструд схватил его за локоть и втащил в соседнюю палатку, где подавали пиво.

Пиво было из Голландии. Человек за столом — тоже. А вот вафли, которые он ел, были определённо бельгийские.

Даниель сел на указанный стул и некоторое время смотрел, как голландский господин жуёт вафлю. Хотя его взгляд был устремлён вперед, перед глазами по-прежнему стояли декольте и лицо «француженки». Однако постепенно этот образ, увы, померк и сменился вафлей на тарелке дельфтского фаянса, которую перед ним поставили. И не грубой пилигримской работы, а превосходнейшего экспортного качества.

Он чувствовал, что его приглашают разделить трапезу, поэтому отломил кусочек вафли, положил в рот и стал жевать. Вафля была вкусная. Глаза привыкли к полумраку, и Даниель различил стопки памфлетов в углу, аккуратно завёрнутые в старые гранки. Слова на гранках были какие угодно, только не английские, — памфлеты отпечатали в Амстердаме и доставили сюда на корабле с пивом или, быть может, с вафлями. Время от времени полог палатки приподнимался, и кто-нибудь из молчаливых голландцев, не вынимая изо рта трубку, просовывал туда пачку памфлетов. Иногда это делал Гомер Болструд.

— Чтоо ообщего между бельгийскими ваафлями и вырезами женского плаатья? — спросил голландский посол, ибо это был не кто иной, как он. Посол салфеткой промокнул масло с губ. Он

был белокурый и пирамидальный, как если бы потреблял большое количество пива и вафель. — Я видел, каак вы на них глаазели, — добавил он в качестве оправдания.

— Понятия не имею, сударь!

— Отрицаательное проостранство. — Посол растягивал гласные, как может делать только голландский тяжеловес. — Слыхаали о тааком? Это из живоописи. Мы знааем про отрицаательное проостранство, поскольку оочень любим каартины.

— Оно как-то соотносится с отрицательными числами?

— Это проомежуток между чем-либо, — сказал голландец и руками сдвинул жирные перси, создавая грубое подобие женских грудей. Даниель смотрел в учтивом недоумении, внутренне содрогаясь. Голландец взял с блюда новую вафлю и поднял двумя пальцами за уголок, словно тряпку, намоченную чем-то гадким. — Подобным ообразом и бельгийская ваафля определяется не сообственной изначальной природой, но раскаалёнными плаастинами, сжимающими её сверху и снизу.

— А, понял: вы говорите про Испанские Нидерланды.

Голландский посол закатил глаза и перебросил вафлю через плечо. Прежде чем она долетела до земли, толстая собака, удивительно похожая на обезьяну, подпрыгнула в воздух, схватила её и начала хрустеть — *буквально*, — ибо звук был такой, словно сидящий на полу гомункул бормочет: «Хрусть, хрусть, хрусть».

— Зажаатые между Фраанцией и Голлаандской Республикой Испанские Нидерлаанды быстро поглощаются Людовиком Четырнадцатым Бурбоном. Отлично. Однако когда *Le Roi du Soleil*[41] достиг Маастрихта, он коснулся… чего?

— Политического и военного эквивалента раскалённых пластин?

Голландский посол, облизнув палец, тронул отрицательное пространство, но отдёрнул руку и зашипел. Может, по голландскому счастью, а может, посол так здорово рассчитал, однако в этот самый миг воздушная волна ударила Даниеля в живот, палатка сжалась и тут же раздулась вновь. Вафельницы дребезжали и щёлкали в полутьме, как зубы скелета. Собакообезьяна забилась под стол.

Гомер Болструд поднял полог, и стал виден

---

[41] Примечания: 41
Король-Солнце (*фр.*).

люнет, разорванный надвое подземным взрывом большого количества пороха и похожий на разломанный дымящийся каравай. Воскресшие голландцы скакали наверху, топтали и жгли французские и английские флаги. Публика вопила.

Гомер опустил полог, и Даниель перевёл взгляд на голландского посла, который все это время не сводил с него глаз.

— Мооожет быть, Фрааанция заахватила Маастрихт, хоть и не без поотерь — она лишилась своего героя д'Артаньяна. Однако воойну выиграем мы.

— Рад слышать о ваших успехах в Голландии… Не думаете ли вы изменить свою тактику в Лондоне? — громко, чтобы слышал и Гомер, спросил Даниель.

— В кааком смысле?

— Вы знаете, что делает Лестрейндж.

— Я знаю, что Лестрейнджу не удается сделать! — хохотнул голландец.

— Уилкинс хочет превратить Лондон в Амстердам — я не про деревянные башмаки.

— Много церквей — ни одной государственной религии.

— Это труд его жизни. В последние годы он

забросил натурфилософию, чтобы направить все усилия к этой цели. Он стремится ко благу Англии, однако высокие англикане и криптокатолики при дворе возражают против всего, что отдаёт диссидентством. Задача Уилкинса и без того трудна, как же ему преуспеть, если в глазах общества диссиденты неразрывно связаны с нашими врагами-голландцами?

— Через год — когда сочтут мёртвых и осознают истинную цену войны — задача Уилкинса станет простой донельзя.

— Через год Уилкинса не будет. Он умрёт от мочекаменной болезни, если не согласится удалить камень.

— Могу порекомендовать цирюльника, весьма ловко орудующего ножом…

— Он считает, что не вправе потратить несколько месяцев на выздоровление, когда всё висит на волоске и ставки столь высоки. Он как никогда близок к успеху, господин посол, и если бы вы отступились…

— Мы отступимся, когда отступятся французы, — сказал посол и махнул рукою Гомеру. Тот поднял полог. Англо-французские войска, возглавляемые Монмутом, снова брали люнет. «Д'Артаньян» лежал раненный в бреши. Джон

Черчилль, уложив его голову себе на колени, поил старого мушкетёра из фляжки.

Полог оставался поднятым, и Даниель наконец понял, что ему указывают на дверь. Выходя, он поймал Гомера за локоть и потянул на грязную улицу.

— Брат Гомер, — сказал он, — голландцы обезумели. Их можно понять, тем не менее наша ситуация не настолько отчаянна.

— Напротив, — отвечал Гомер. — Я бы сказал, что *ты* в смертельной опасности, брат Даниель.

В устах другого человека это означало бы *физическую* опасность, однако Даниель довольно варился среди единоверцев Гомера (другими словами, собственных единоверцев), чтобы понять: Гомер говорит о духовной опасности.

— Надеюсь, не потому, что я недавно заглядывал хорошенькой девушке за декольте?

Гомеру шутка не понравилась. Более того, ещё не договорив, Даниель понял, что окончательно стал для Гомера если не погибшим, то быстро погибающим в грехах. Он решил испробовать другой подход.

— Твой отец — государственный секретарь!

— Так иди и поговори с моим отцом.

— Я о том, что не будет беды — или *опасности*,

если тебе угодно, — в том, чтобы применить тактику. Кромвель применял *тактику*, чтобы выигрывать сражения, это ведь не значит, что ему недоставало веры? Напротив, не использовать богоданные мозги и бросать все силы в лобовую атаку — грех, ибо сказано: не искушай Господа Бога твоего!

— У Джона Уилкинса камень, — отчеканил Гомер. — От дьявола это или от Бога, пусть спорят иезуиты. Так или иначе, он умрёт, если ты и твои коллеги не придумаете, как обратить камень в жидкость, которая выйдет с мочой. В страхе за его жизнь ты вообразил, что коли я, Гомер Болструд, перестану распространять на лондонских улицах возмутительные памфлеты, потянется некая цепочка последствий, и в итоге Уилкинс ляжет под нож, переживёт операцию, будет жить долго и счастливо, оставаясь тебе добрым отцом, какого у тебя никогда не было. И ты говоришь, что голландцы сошли с ума?

Даниель не мог ответить. Слова Гомера припечатали его с теми же силой, жаром и нестерпимой болью, что клеймо палача — самого Болструда.

— А коли ты воображаешь себя тактиком, подумай о паскудном балагане, который мы смотрим. — Гомер махнул рукой в сторону люнета.

На парапете Монмут вновь водружал английское и французское знамёна под оглушительный рёв зрителей, затянувших «Пики на плотинах». «Д'Артаньян» испустил последний вздох. Джон Черчилль на руках снёс его с крепостной стены и уложил на носилки, где героя тут же осыпали цветами.

— Узри мученика! — глумливо засмеялся Гомер. — Он отдал жизнь за идею и навсегда останется в сердцах знати!.. Вот тебе и тактика. Мне жаль Уилкинса. Я не стал бы причинять ему вред, ибо он нам друг. Однако я не в силах отвратить смерть от его дверей. А когда смерть придёт, он станет мучеником — не столь романтическим, как д'Артаньян, но за более правое дело. Не обессудь, брат Даниель. — И Гомер пошёл прочь, сдирая обертку с пачки памфлетов.

«Д'Артаньяна» несла перед трибунами процессия живописно растрёпанных кавалеров, зрители покупали букетики у цветочниц и забрасывали цветами героев живых и «мёртвых». Лепестки еще ложились на лжемушкетёра, а в воздухе над трибунами уже закружили подхваченные ветром листки. Даниель поймал один и увидел карикатуру, на которой несколько французских кавалеров зверски насиловали

голландскую молочницу. На другом мушкетёр в кружевном галстухе, силуэтом на фоне горящей протестантской церкви, ловил на острие шпаги подброшенного младенца. На трибунах вокруг Даниеля зрители передавали листовки из рук в руки; иные даже засовывали их в карманы или за обшлага.

Итак, всё было непросто. И сильно усложнилось десять минут спустя, когда при обстреле «Маастрихта» на виду у всех взорвалась пушка. Зрители подумали, что это сценический трюк, пока на них не посыпались окровавленные руки и ноги бомбардиров, мешаясь с непрекращающимся кружением памфлетов.

Даниель вернулся в Грешем-колледж и всю ночь работал с Гуком. Гук снизу смотрел на различные звёзды, а Даниель с крыши наблюдал новую, вспыхнувшую на восточном краю Лондона: чернь с факелами в руках бурлила на Сент-Джеймс-филдс, время от времени слышались мушкетные выстрелы. Позже он узнал, что толпа, разъярённая взрывом пушки, напала на дом Комстока.

Сам Джон Комсток заявился в Грешем-колледж на следующее утро. Даниель не с первой минуты его узнал: так изменили Комстока потрясение,

возмущение и даже стыд. Он потребовал, чтобы Гук и остальные, бросив все дела, изучили обломки пушки, с которой, по его уверениям, что-то сделали «мои недруги».

Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж 1672 г.

Имеются некоторые вещи, которые не могут быть представляемы на основе фикции.

Гоббс, «Левиафан»

СНОВА В ПОРТАХ

комедия

Действующие лица

Мужчины:

г-н ВАН УНДЕРДЕВАТЕР, *голландец*, основатель коммерческой империи по торговле *свиными ушами* и *картофельными глазками*.

НЗИНГА, негр-каннибал, бывший король Конго, ныне раб г-на УНДЕРДЕВАТЕРА.

ИОСАФАТ КУНШТЮК, граф ЖУПЕЛ, *энтузиаст*.

ТОМ БЕГГЛ, бывший солдат, бродяга.

Преподобный ИЕГОВА ТРЯСОГУЗ, пуританский *святоша*.

ЮДЖИН КУНШТЮК, сын лорда ЖУПЕЛА, капи-

тан пехотного полка.

ФРАНСИС АНДРОФИЛ, граф де ГЛУХОМАНЬ, *придворный вертопрах*.

ХВАТ и СТЫРЬ, подручные ТОМА БЕГГЛА.

Женщины:

мисс ЛИДИЯ ВАН УНДЕРДЕВАТЕР, дочь и единственная наследница г-на ВАН УНДЕРДЕВАТЕРА, недавно из венецианского пансиона.

Леди ЖУПЕЛ, супруга ИОСАФАТА КУНШТЮКА.

Мисс НОЖКИВРОЗЬ, сообщница ТОМА БЕГГЛА.

Место действия:

ГЛУХОМАНЬ, сельское поместье в Кенте.

Действие I. Сцена I

Каюта на корабле в море. Гремит гром, сверкают молнии. Входит г-н ван Ундердеватер в халате и с фонарём.

ВАН УНД: Боцман!

Входит Нзинга, мокрый, с мешком.

НЗИНГА: Я здесь, господин!

ВАН УНД: Лопни мои глаза! Вы что, искупались в чане со смолой, боцман?

НЗИНГА: Это я, господин, ваш раб, моё королевское величество, милостью древесного бога, горного бога, речного бога и других богов, кото-

рых я не упомню, король Конго.

ВАН УНД: А что у тебя в мешке?

НЗИНГА: Яйца.

ВАН УНД: Яйца! Чтоб тебе ни дна ни покрышки! Ты забыл уроки цивилизации!

НЗИНГА: Ледяные.

ВАН УНД: Благодарение небесам.

НЗИНГА: Я собрал их с палубы, когда шёл град с куриное яйцо, — вы за это благодарите небеса?

ВАН УНД: Да, ибо это означает, что у боцмана всё на месте. Боцман!

Входит Лидия, в халате, растрёпанная.

ЛИДИЯ: Папенька, почему вы так громко требуете боцмана?

ВАН УНД: Моя дорогая Лидия, я хочу попросить, чтобы он прекратил этот ужасный шторм.

ЛИДИЯ: Но, папенька, боцман не может укротить бурю.

НЗИНГА: Я знаю одного гвинейского божка, который заведует погодой и берёт по-божески — думаю, за несколько бочонков рома он согласится её укротить.

ВАН УНД: Рома!.. Я тебе что, дурной? Если твой божок в трезвом виде устраивает такую погоду, то что он учинит в пьяном?

НЗИНГА: Можно расплатиться с ним раковина-

ми каури. Если хозяин отрядит моё величество в ближайшей шлюпке на юг, моё величество с удовольствием выступит посредником…

ВАН УНД: Вижу, ты ловкий коммерсант. Мне вспомнилось, как я обменял миллион каннибальских ушей на миллион картофельных глазков и остался в приличном барыше.

Новый раскат грома.

ВАН УНД: Эй! Боцман!

Входит лорд Жупел.

ЛОРД ЖУПЕЛ: Что тут за крики?

ЛИДИЯ: Лорд Жупел, рада вас видеть.

ВАН УНД: Плата за окончание грозы слишком велика, рынок языческих божеств слишком далёк…

ЛОРД Ж.: Тогда зачем, сударь, вы зовёте боцмана?

ВАН УНД: Скажу ему, чтобы сохранял стойкость перед лицом опасности.

ЛИДИЯ: Поздно, отец!

ВАН УНД: О чём ты, дитя?

ЛИДИЯ: Услышав тебя, боцман утратил всякую стойкость и бежал в страхе.

ВАН УНД: Откуда ты знаешь?

ЛИДИЯ: Он опрокинул гамак и уронил меня на пол!

ВАН УНД: Лидия, Лидия, я издержал состояние, чтобы отправить тебя в венецианский пансион, где бы ты научилась быть добродетельной девицей…

ЛИДИЯ: Я старалась, отец, но это так трудно!

ВАН УНД: Так что, мои деньги пошли псу под хвост?

ЛИДИЯ: Ах нет, отец. От нашего учителя танцев, сеньора Дефлорацио, я научилась чудесным песенкам.

Поёт. [42]

ВАН УНД: Довольно! Боцман!

Входит леди Жупел.

ЛЕДИ ЖУПЕЛ: Милорд, вы узнали, кто так ужасно шумит?

ЛОРД Ж.: Миледи, вот этот *голландец*.

ЛЕДИ Ж.: Ну хорошо, а какие меры вы приняли, милорд?

ЛОРД Ж.: Никаких, миледи. Говорят, единственный способ заткнуть глотку голландцу — его утопить.

ЛЕДИ Ж.: Утопить… но, милорд, вы же не дума-

---

[42] Примечания: 42

Тут многие зрители (в основном кембриджские студенты) встали (если не стояли раньше) и захлопали. Надо признать, они бы бурно приветствовали практически любую особу женского пола на территории колледжа, но эту — особенно, поскольку Лидию играла Элеонора (Нелл) Гвин — любовница короля.

ете бросить его за борт?

ЛОРД Ж.: Все на корабле только об этом и думают, миледи. Однако в случае с голландцами задача куда проще, ибо они изначально живут ниже уровня моря. Надо лишь вернуть море туда, где ему определил быть Господь Бог.

ЛЕДИ Ж.: И как же вы предлагаете это сделать, милорд?

ЛОРД Ж.: Я ставлю эксперименты с новыми машинами, которые заставят мельницы вращаться в обратную сторону и качать воду вниз…

ЛЕДИ Ж.: Эксперименты! Машины! А я скажу: топить голландцев надо при помощи французского пороха и английской отваги!

Всё, что говорит актёр, играющий лорда Жупела, тонуло, словно плевки в реке Амазонке. Ибо истинной сценой этих событий был Невиллскорт[43] весенним вечером, а на полный список действующих лиц ушло бы много ярдов бумаги и не одна драхма чернил. Сценарий представлял собой мастерское хитросплетение университетских и придворных интриг, в которой более или менее остроумные реплики произносятся по преимуществу шёпотом. Общий эффект был

[43] Примечания: 43
Прямоугольная лужайка между зданиями Тринити-колледжа.

чрезвычайно сложен и недоступен для молодого Даниеля Уотерхауза. Он прежде гадал, зачем вообще эти люди ходят в театр, если каждый день в Уайт-холле — сам по себе спектакль, однако теперь понял истинную причину: истории, разыгрываемые на сцене, — просты и приходят к определённой развязке в течение часа-двух.

Главным актёром сегодняшнего спектакля был король Карл II Английский, сидящий на верхнем этаже жалкой библиотеки колледжа. Несколько окон распахнули, так что получились временные ложи. Королева, Екатерина Браганца, португальская принцесса, знаменитая своим бесплодием, сидела рядом с королём и, как всегда, притворялась, будто понимает английский. Почётный гость, герцог Монмутский (сын Карла от Люси Уолтер), сидел по другую руку. Окна, соседние с королевским, занимали придворные дамы и кавалеры. В одном центральной фигурой была Луиза де Керуаль, герцогиня Портсмутская, любовница короля. В другом — Барбара Вилльерс, она же леди Каслмейн, она же герцогиня Кливлендская, бывшая любовница Джона Черчилля, а ныне любовница короля.

Через окно от короля восседали Англси: Томас Мор Англси, его ничем не примечательный

сын Филипп, двадцати семи лет от роду, и Луи, двадцати четырех, но выглядящий куда моложе. Протокол требовал, чтобы граф Апнорский при посещении альма-матер облачался в академическую мантию. Хотя он нанял эскадрон французских портных, чтобы несколько её оживить, она осталась академической мантией, а в уродливой нахлобучке на его парике узнавалась квадратная университетская шапочка.

Окно, занимаемое Англси, уравновешивалось окном, в котором сидели Комстоки, конкретно — представители Серебряной ветви рода: Джон и его сыновья Ричард и Чарльз, все трое в мантиях и академических шапочках. В отличие от Апнора они нимало не тяготились своим нарядом, во всяком случае, пока не началась пьеса и не вышел Иосафат Кунштюк, граф Жупел, одетый в точности как они.

Королевские комедианты на временной сцене, возведённой посреди Невиллс-корта, вынуждены были продолжать спектакль, хотя никто не мог разобрать ни слова. Граф Жупел за что-то выговаривал жене: вероятно, за то, что она поставила французский порох выше английского. На другой планете это сошло бы за фигуру речи, но здесь сильно смахивало на камешек в огород Джона

Комстока. Тем временем остальные зрители (которые, если им посчастливилось сесть, сидели на скамейках и стульях под королевскими окнами) попытались затянуть первые строки «Пик на плотинах», развесёлых куплетов, объяснявших, какая это отличная мысль — вторгнуться в Голландию. Однако король остановил их движением руки. Не то чтобы он не разделял их воинственности, просто на сцене Лидия ван Ундердеватер произносила реплику, которая обещала оказаться смешной, а король не любил, когда гул интриг заглушает его любовницу.

Все комедианты внезапно попадали на сцену, впрочем, очень живописно и театрально, в особенности Нелл Гвин, которая распростёрлась на скамье, изящно откинув руку и явив взорам квадратный ярд безупречных белых подмышек и бюста. Зрители были сражены наповал. Боцман, до которого столько времени пытались докричаться, выбежал наконец на сцену и объявил, что корабль сел на мель возле замка Глухомань. Лорд Жупел велел Нзинге принести его сундук, что тот и выполнил с быстротой, возможной только в театре. Владелец принялся рыться в сундуке, вытаскивая поочередно старую одежду и странные предметы, как то: реторты, тигли, черепа

и микроскопы. Тем временем Лидия брезгливо приподнимала некоторые носильные вещи — крестьянские штаны или пастушьи башмаки — и кривила личико. Наконец лорд Жупел выпрямился, схватил под мышку бочонок с порохом и нахлобучил на голову выцветшую и пожёванную академическую шапочку.

ЛОРД Ж.: Порох — вот что сдвинет корабль с места!

Тем временем в партере — на скамейках и на траве — слышались недовольные шепотки; кисточки болтались из стороны в сторону: ученые в академических шапочках оборачивались друг к другу и спрашивали, кого здесь высмеивают, либо, склонив головы, молились о заблудших комедиантах, безвестном авторе пьесы и короле, который не мог сутки пробыть в Кембридже без развлечений.

Совсем иная сцена происходила в окнах-ложах. Герцогиня Портсмутская умирала со смеху. Её грудь раздувалась, как парус, голова запрокинулась, на белом оголённом горле тряслись драгоценности. От этого зрелища некоторые учёные в партере попадали со скамей. Герцогиню поддерживали двое молодых вертопрахов

в завитых, украшенных лентами париках; они хохотали до слёз и утирали глаза лайковыми перчатками, поскольку платки галантно одолжили герцогине.

Тем временем пороховой магнат Джон Комсток, который всегда противостоял усилиям герцогини Портсмутской ввести при английском дворе французскую моду, выдавил кривую улыбку. Король, до сего дня поддерживавший Комстока, улыбался, Англси веселились от всей души.

Кто-то толкнул Даниеля в бок. Он отвёл взгляд от герцогини, хохотавшей с риском порвать на себе корсет, и увидел зрелище куда более скромное: сидевшего рядом Ольденбурга. Тучного немца выпустили из Тауэра так же внезапно, как туда упекли. Ольденбург посмотрел на дальний конец Невиллс-корта и спросил: «Он здесь? Или хотя бы она?», имея в виду Исаака Ньютона и статью о касательных соответственно, потом повернулся и глянул из-под квадратной академической шапочки на ложу Англси, где Луи Англси, граф Апнорский, несколько умерил своё веселье и многозначительно подмигнул Ольденбургу.

Даниель был рад предлогу встать и уйти. С самого начала пьесы он пытался проникнуться действием, но почему-то не проникался. Даниель

встал, подобрал мантию и бочком двинулся вдоль рядов, наступая на ноги различным членам Королевского общества: сэру Уинстону Черчиллю: «Эк ваш сынок-то под Маастрихтом… мои поздравления, старина!», Кристоферу Рену: «Кончайте с собором, не тяните кота за хвост!», сэру Роберту Мори: «Давайте как-нибудь пообедаем и покалякаем об угрях». По счастью, Роберт Гук отважился не приехать, сославшись на занятость (он по-прежнему восстанавливал Лондон), и Даниелю не пришлось наступать на ноги ему. Наконец он вышел на открытое место. Строго говоря, это была работа для Уилкинса, но епископ Честерский лежал в Лондоне с мочекаменной болезнью.

Пробираясь за сценой, Даниель оказался среди фургонов, на которых театр приехал из Лондона. Между ними поставили палатки; верёвки были протянуты в темноте густо, словно корабельный такелаж, и привязаны к острым колышкам, вбитым в (доселе безупречный) университетский газон. Различные предметы одежды, которые могли быть только дамским неглиже (это определённо была одежда, но Даниель никогда такого не видел, Q.E.D.[44]), болтались на верёвках и вре-

[44] Примечания: 44
Quod erat demonstrandum — что и требовалось доказать (лат.).

мя от времени пугали его до полусмерти, мокро хлопая по лицу. Поэтому Даниелю пришлось проложить сложный курс и медленно ему следовать, чтобы выбраться из лабиринта. Так что по чистой случайности он набрёл на двух актрис, которые занимались тем, чем там женщины занимаются, когда, выразительно переглянувшись, парочками выходят из комнаты. Даниель застал самый конец процесса.

— Куда мне девать старую? — произнёс мелодичный голос с простонародным выговором.

— Брось в толпу — то-то крику будет, — предложила её подружка-ирландка.

Обе загоготали — их явно не учили хихикать, как светские барышни.

— Они даже не поймут, что это такое, — отвечала девушка с мелодичным голосом. — Мы — первые женщины в этих стенах.

— Тогда они ничего не поймут, даже если ты бросишь её прямо здесь, — заметила ирландка.

Её спутница отбросила деревенский акцент и заговорила в точности как кембриджский школяр из хорошего семейства:

— Ба! Что это лежит посреди моей лужайки для игры в шары? Похоже на… приманку для лис!

Снова гогот, который прервал мужской голос со

стороны фургонов:

— Тесс! Побереги свои шуточки для короля, тебя ждут на сцене!

Девушки подобрали юбки и упорхнули. Даниель увидел их в просвете между палатками и узнал в той, которую звали Тесс, актрису из «Осады Маастрихта». Тогда он принял её за француженку, потому что она грассировала и говорила в нос. Теперь он понял, что на самом деле она — англичанка, способная изображать разные голоса. Вполне обычное умение для актрисы, но для Даниеля оно было в новинку. Девушка его заинтриговала.

Даниель вышел из-за палатки, по другую сторону которой (скажем без обиняков) прятался, и — движимый исключительно любознательностью — шагнул к тому месту, где сладкоголосая имитаторша Тесс (скажем без обиняков) справляла нужду.

На крыше, водружённой над сценой, снова зажгли порох, изображая молнию, и на мгновение перед Даниелем возникло озерцо жёлтого света. На траве, зелёной, почти как фосфор (стояла весна), валялась свёрнутая тряпица, исходящая паром от тепла Тесс, алая от её крови.

…Ведь при помощи огня

Коптящих углей может превратить
Алхимик, или думает, что может,
Металл, рождённый шлаковой рудой,
В отменнейшее золото.

***Мильтон, «Потерянный рай»*[45]**

У короля выдался напряжённый день. А может быть, так наивно предполагал Даниель, и для короля день был совершенно обычный, а выдохлись лишь кембриджцы, старавшиеся изо всех сил от него не отставать. Кавалькада возникла на южном краю горизонта в середине утра. В целом (на взгляд Даниеля) это чем-то напоминало недавнее вторжение Людовика XIV в Голландскую республику: королевская свита взметала пыль, истребляла овёс и оставляла груды навоза, как любой полк, однако повозки были сплошь золочёные, всадники — вооружены придворными рапирами, фельдмаршалы носили юбки, повелевали мужчинами и казнили их взглядами. Так или иначе, Карлу II в Кембридже сопутствовал

---

[45] Примечания: 45
Перевод Арк. Штейнберга.

больший успех, нежели Людовику XIV в Нидерландах. Город был сметён, растоптан. Женские груди повсюду, голозадые придворные падают из окон, запах травы и папоротника заглушён духами — и не просто парижскими, а индийскими и арабскими. Король вылез из кареты и прошёл по улицам под приветственные крики учёных, выстроившихся у своих колледжей по рангам и степеням, как солдаты на смотре. Уходящий почётный ректор презентовал королю огромную Библию — уверяли, будто можно было видеть за милю, как его величество сморщил нос и закатил глаза. Позже король (вместе со сворою умопомешанных спаниелей) отобедал в коллегии Святой и Нераздельной Троицы под портретом её основателя, Генриха VIII, кисти великого Гольбейна. Исаак и Даниель как члены совета привыкли обедать за главным столом, однако сейчас город наводнили персоны куда более важные, так что им пришлось сдвинуться на середину трапезной; Исаак в алой мантии беседовал о чём-то с Бойлем и Локком, а Даниеля затёрли в угол вместе с несколькими викариями, которые вопреки евангельским заповедям явно друг друга не любили. Даниель пытался сквозь их бубнёж разобрать, что говорят за главным столом. Король отпустил

несколько реплик по поводу Генриха VIII, очевидно — шутливых.

Сперва насчёт старого греховодника и многоженства — настолько топорно, что даже смешно. Разумеется, всё было очень завуалировано, то есть он не сказал этого прямо, но смысл был таков: за что меня называют развратником? Я хотя бы не рублю им головы. Если бы Даниель (или другой учёный на его месте) желал себе немедленной смерти, он мог бы встать и выкрикнуть: «По крайней мере он в конечном счёте сумел зачать законного наследника!», однако ничего такого не произошло.

Осушив несколько бокалов, король пустился в рассуждения о том, насколько великолепен и богат Кембридж, и как примечательно, что Генрих VIII добился столь блистательных результатов, всего лишь порвав с Папой и разграбив несколько монастырей. Так, может быть, сокровища пуритан, квакеров, гавкеров и пресвитериан пойдут однажды на создание ещё более великолепного колледжа!.. Угроза была, само собой, шуточная; король тут же добавил, что речь идёт о добровольных пожертвованиях. Тем не менее присутствующие диссентеры озлобились, впрочем (как позже рассудил Даниель), не более, чем

были уже озлоблены. К тому же это был мастерский выпад в сторону католиков. Короче, король пролил бальзам на души и успокоил страхи высоких англикан (таких, как Джон Комсток). Королю часто приходилось их успокаивать, поскольку многие подозревали его в симпатиях (а иные и в принадлежности) к папистам.

Другими словами, Даниель только что увидел маленькую толику обычной придворной политики, и ничего существенного не произошло. Однако с тех пор, как Джон Уилкинс утратил способность мочиться, обязанностью Даниеля стало всё примечать и впоследствии ему докладывать.

Затем все отправились в церковь, где герцога Монмутского (героя, прославленного учёного и внебрачного королевского сына) назначили почётным ректором Кембриджа. После чего состоялось представление комедии.

Даниель помедлил под готической аркой и оглядел каменные ступени, ведущие в Большой двор Тринити-колледжа: пространство, раза в четыре превосходящее Невиллс-корт. Странным образом двор напомнил ему Лондонскую биржу, только если Биржа была светлая, вся в порхающих Меркуриях и золотых кузнечиках Томаса Грешема и наполнена зычно орущими

торговцами, то Большой двор Тринити-колледжа был воплощением готики, припорошенной голубоватым светом луны, а редкие обитатели, облачённые в мантии и/или длинные парики, тихо прогуливались по двое, по трое или секретничали в дверных проёмах. Если биржевики покупали акции кораблей или компаний и меняли ямайский сахар на испанское серебро, то эти люди обменивались мелкими заговорами или дворцовыми слухами. Приезд двора в Кембридж походил на Стаурбриджскую ярмарку — это был случай провернуть разного рода дела, по большей части тайного свойства. Простая прогулка через Большой двор к воротам не грозила Даниелю ничем плохим. Как член совета он имел право идти по траве, большая часть этих людей — нет. Не то чтобы они строго соблюдали педантичный устав колледжа, но придворный инстинкт заставлял их держаться тёмных углов. Даниель двинулся по широкому открытому пространству, чтобы никто не решил, будто он подслушивает. Линия, прочерченная от арки к воротам, прошла бы через нечто вроде бельведера в центре двора: восьмиугольное сооружение, окруженное несколькими ступенями, с фонтаном в форме кубка посередине. Луна косо освещала колонны, придавая им

пугающий вид: трупно-белый камень в потёках крови, бьющей из рассечённых артерий. Даниель решил было, что это видение папистского толка, и уже хотел оглядеть руки — не проступили ли стигматы, — но тут уловил запах и вспомнил, что фонтан наполнили кларетом в честь короля и нового ректора. Затея сомнительной остроты, однако о вкусах не спорят…

— Негры не могут размножаться, — произнёс знакомый голос неожиданно близко.

— О чём вы? Они могут размножаться не хуже других, — возразил другой знакомый голос. — И даже лучше!

— В отсутствие негритянок — не могут.

— Да что вы говорите!

— Помните, плантаторы близоруки и мечтают об одном — скорее выбраться с Ямайки; каждый день они просыпаются в страхе, что их — или детей — свалила какая-нибудь туземная лихорадка. Ввозить негритянок стоит почти столько же, сколько ввозить негров, но женщины не способны добывать столько же сахара, особенно если рожают.

Даниель узнал наконец голос — говорил сэр Ричард Апторп, второе *А* в *КАБАЛе*.

— Так они вовсе не ввозят женщин?

— Именно, сэр. А мужчины, как правило, живут не больше нескольких лет.

— Что ж, это отчасти объясняет тот вой, который в последнее время несётся с Биржи.

Два человека сидели на ступенях фонтана, лицом к воротам, и Даниель не видел их, пока не подошёл ближе и не услышал. Он уже собирался изменить курс и обойти фонтан стороной, когда второй из говоривших (тот, что не Апторп) встал, обернулся, зачерпнул бокалом из фонтана — и увидел Даниеля, который стоял перед ним, как пень. Теперь и Даниель узнал этого человека — как было не узнать его среди темного двора Тринити-колледжа, с руками, обагрёнными кровью!

— Ба! — воскликнул Джеффрис. — Здесь новая статуя? Пуританский святой? О, я ошибся, она движется — то, что выглядело столпом добродетели, оказалось Даниелем Уотерхаузом, как всегда, всё примечающим. Сейчас он подглядывал за нами, однако не тревожьтесь, сэр Ричард, мистер Уотерхауз видит всё и ничего не делает — образцовый член Королевского общества.

— Добрый вечер, мистер Уотерхауз, — произнёс Апторп, давая понять, что находит Джеффриса утомительным и несносным.

— Мистер Джеффрис. Сэр Ричард. Боже, храни короля.

— Боже, храни короля! — повторил Джеффрис, отпивая из мокрого бокала. — Ну-ка отвечайте без запинки, мистер Уотерхауз, как примерный учёный. Почему друзья сэра Ричарда на Бирже подняли такой шум?

— Адмирал де Рёйтер отплыл в Гвинею и захватил почти все невольничьи порты герцога Йоркского, — сказал Даниель.

Джеффрис (прикрывая рукой рот, театральным шёпотом):

— Которые герцог Йоркский похитил у голландцев несколько лет назад — но кто вдаётся в такие мелочи!

— В те годы, когда компания герцога контролировала Гвинею, на Ямайку доставляли множество рабов, они производили сахар, состояния наживались, и доходы были устойчивы, покуда новые завозы покрывали убыль рабов. Однако теперь голландцы перекрыли их поступление. Полагаю, многие клиенты сэра Ричарда на Бирже явно видят последствия, и на рынке заметно некоторое волнение.

Как жертва неспровоцированного оскорбления действием, озирающаяся в поисках свидетелей,

Джеффрис повернулся к Апторпу — тот поднял бровь и кивнул. Джеффрис уже несколько лет был лондонским барристером. Даниель полагал, что для него упомянутые события — всего лишь загадочная причина, по которой разоряются клиенты.

— Некоторое волнение, — театральным шёпотом повторил Джеффрис. — Пресный язык, не правда ли? Вообразите плантатора на Ямайке, который смотрит, как убывает рабочая сила и гибнет урожай… бьётся изо всех сил, силясь предотвратить разорение, желтую лихорадку, невольничий бунт… вглядывается в горизонт, молится о кораблях, которые станут его спасением… а вы говорите «некоторое волнение»?

Хотелось ответить: «Вообразите барристера, который видит, как худеет его кошель с каждой пропитой монетой, всматривается в Стренд, молится о состоятельном клиенте», однако Джеффрис был при шпаге и пьян, поэтому Даниель сказал:

— Если эти плантаторы в церкви и молятся, то они уже спасены. Добрый вечер, господа.

Он направился к воротам, держась подальше от фонтана, чтобы Джеффрису не вздумалось пырнуть его шпагой. Сэр Ричард Апторп вежливо

аплодировал. Джеффрис рычал, однако через несколько секунд ему удалось выдавить:

— Вы тот же человек, каким были — или *не были* — десять лет назад, Даниель Уотерхауз! Тогда вами правил страх — теперь вы хотите, чтобы он правил Англией! Благодарение Богу, что вы заперты в этих стенах и не в силах заразить Лондон своим отвратительным фарисейством!

И далее в том же духе, покуда Даниель не юркнул под своды Главных ворот Тринити-колледжа. Они представляли собой декоративную крепость с башенками по четырем углам — самое место, чтобы укрыться от атаки Джеффриса. Ворота отстояли от церкви примерно на бросок камня; брешь в оборонительном периметре колледжа залепили жилым строением, перед которым со стороны города был разбит крошечный садик. В разное время тут ютились разные члены совета, а сейчас проживали Даниель Уотерхауз и Исаак Ньютон. Когда два бакалавра перевезли сюда свою жалкую мебель, места осталось хоть отбавляй, и на нём разместили ведущую алхимическую лабораторию мира. Даниель знал, потому что сам помог её оборудовать — вернее будет сказать, помогал, поскольку она постоянно достраивалась.

Войдя в дом, Даниель подобрал мантию, чтобы та не вспыхнула, задев раскалённый купол отражательной печи, в которой жар пламени отражался от свода, нагревая вещество сверху, потом приподнял подол, чтобы не волочить его по груде угля, которая, он знал (в помещении было темно), лежала на полу справа. И заодно по куче конского навоза слева (при горении навоз даёт мягкое влажное тепло). Он протиснулся между деревянными ящиками, овальными склянками со ртутью, составленными одна в одну, и попал в соседнюю комнату.

Комната походила на миниатюрный город, выстроенный иноземными зодчими и охваченный пожаром: каждое «здание» имело особую форму, чтобы определённым образом втягивать воздух, направлять пламя и отводить дым. Некоторые дымились, от некоторых поднимался пар или странно пахнущие испарения. Невозможно описать все запахи; легче сказать, чем здесь не пахло. Слитки золота лежали на столах, словно масло в бакалейной лавке — среди алхимиков высшего разряда модно было демонстрировать презрение к золоту, дабы отвести упрёк в корыстных мотивах. Не для всех операций требовались печи; были ещё столы, обитые кованой медью. Горя-

щие на них масляные лампы бросали жёлтые отблески на круглые донышки колб и реторт.

К Даниелю обратились закопчённые лица; на сведённых бровях блестели капельки пота. Он сразу узнал Роберта Бойля и Джона Локка, членов Королевского общества. Однако были тут и некоторые господа, имевшие обыкновение заявляться в неурочное время, прячась под капюшоном — нелепая предосторожность в стране, где сам король практиковал алхимическое искусство. Глядя на их нетерпеливые лица в отблесках пламени, Даниель подумал, что лучше б им оставаться под капюшонами. Увы, это были не халдейские маги, не воинствующие монахи-иезуиты и не кудесники-друиды — всего лишь мелкие аптекари, скучающие дворяне и сумасшедшие с физиономиями либо тупыми, либо чересчур дерганными. Один из них выделялся своей молодостью — Даниель узнал Роджера Комстока из Золотых Комстоков; он учился вместе с Исааком, Даниелем, Апнором, Монмутом, и Джеффрисом. Исаак поставил его раздувать мехи; Роджер покраснел от натуги, но не жаловался. Еще был очень маленький и ладный седой старик с хищным орлиным профилем. Даниель узнал мсье Лефевра, который приобщил к алхимии

Джона Комстока, Томаса Мора Англси и других, включая короля, в сен-жерменском изгнании во времена Кромвеля.

Однако все они были сателлиты или (как луны Юпитера) спутники сателлитов. Солнце стояло за конторкой в центре лаборатории, с пером в руке, и спокойно делало пометки в огромной пожелтелой книге. На нём был прожжённый до дыр грязный халат, из-под которого, правда, выглядывала алая мантия, а на голове — что-то вроде кожаного мешка с окошком. На стекле лежал отблеск пламени из открытой дверцы печи, и вместо глаз навыкате Даниель видел дрожащую завесу огня. В мешок была вшита трубка — сегменты полого тростника, соединённые кишками какого-то животного. Исаак перекинул её через плечо; дальше она тянулась к Роджеру Комстоку, который мехами закачивал в неё свежий воздух. Исаак обнаружил, что ртуть, попадая в организм, действует на него как кофе или табак, если не хуже, поэтому пользовался дыхательным аппаратом, когда руки у него начинали дрожать особенно сильно.

На столе остывал продукт какого-то опыта: тигель тускло светился во тьме, словно планета Марс. Даниель решил, что сейчас вполне можно

вмешаться. Он вышел на середину комнаты и поднял окровавленную тряпицу.

— Менструальные выделения женщины, — объявил он, — всего лишь пятиминутной давности!

Несколько мелодраматично. Однако эти люди жили мелодрамой — иначе зачем бы они прятали лица под колдовскими капюшонами, а знания — за оккультными знаками? На некоторых, во всяком случае, слова произвели сильное впечатление. Ньютон повернулся и выразительно глянул на Роджера Комстока; тот, съежившись, принялся снова качать мехи. Мешок на голове Исаака раздулся и зашипел. Исаак глянул снова. Кто-то из мелкой сошки подбежал с лабораторным стаканом, Даниель опустил в него тряпицу. Мсье Лефевр подошёл и принялся отпускать какие-то спокойные замечания на смеси французского с латынью. Бойль и Локк вежливо слушали, алхимики рангом пониже образовали внешний круг и мучительно силились расшифровать слова королевского аптекаря.

Даниель повернулся к Исааку. Тот стянул с головы мокрый мешок и приподнял седые волосы, чтобы остудить шею. Разумеется, он знал, что тряпица — всего лишь отвлекающий манёвр, но

его это никак не затрагивало.

— Есть ещё время посмотреть второе действие пьесы, — сказал Даниель. — Мы оставили вам свободные места, хотя оборонять их пришлось практически пиками и мушкетами.

— Так ты полагаешь, что Господь отправил меня на землю и в Своей неизреченной мудрости наделил различными дарованиями, дабы я прерывал работу и тратил часы на мерзкое богопротивное зрелище?

— Разумеется, нет, Исаак, не приписывай мне таких взглядов даже наедине.

Они беседовали в соседней комнате, которая в доме поприличней звалась бы гостиной, но здесь была мастерской: на полу валялись опилки и стружки с верстака, хрустели стёкла от неудачно выдутой посуды — стеклодувная лаборатория располагалась на соседнем столе — и лежали разбросанные инструменты. Исаак молчал, только выжидательно смотрел на Даниеля.

— Время от времени — примерно раз в день — я уговариваю тебя что-нибудь съесть, — сказал тот. — Следует ли из этого, будто я думаю, что Господь отправил тебя на землю с целью набивать брюхо? Однако, чтобы исполнить труд, ради которого, полагаю, Господь тебя создал, ты должен

питаться.

— Ты правда считаешь, что смотреть «Снова в портах» равнозначно употреблению пищи?

— Для работы тебе потребны ресурсы, и еда — только один из них. Стипендия, мастерская, инструменты, утварь — откуда они у тебя?

— Смотри! — Исаак обвёл рукой царство орудий и печей. При движении край мантии выглянул из-под халата; заметив это, Исаак другой рукой отвернул засаленный рукав и продемонстрировал алое одеяние лукасовского профессора математики. Со стороны кого-то другого такой жест был бы невыносимым и ненужным бахвальством, однако Исаак лишь самым простым способом ответил на вопрос Даниеля.

— Членство в совете… жильё… лаборатория… Лукасовская кафедра — предел твоих мечтаний. У тебя есть всё потребное для работы — на сегодняшний день. Однако кто тебе всё это дал, Исаак?

— Промысел.

— Ты хочешь сказать, *Божественный* Промысел. Но как?

— Тебя интересует, как действует воля Божия в мире? Рад слышать, ибо такова и моя единственная цель. Ты мешаешь мне ей следовать — идём

в соседнюю комнату и вместе поищем ответ.

— Отвлекшись от тиглей — на несколько часов, — ты лучше поймёшь и полнее оценишь дарованное тебе Провидением. — Даниелю пришлось напрячь все силы, чтобы сочинить эту фразу, однако результат был налицо: ему по крайней мере удалось поставить Исаака в тупик.

— Если я просмотрел что-то важное, просвети меня.

— Вспомни конкурс в совет несколько лет назад. Ты усердно исполнял то, ради чего создал тебя Господь, пренебрегая тем, чего ждал от тебя колледж; соответственно, перспективы твои были отнюдь не радужными — ведь так?

— Я всегда уповал на…

— На Господа, разумеется. Только не говори, будто ты не тревожился, что придется уезжать восвояси и до конца дней возделывать землю в Вулсторпе. Были *другие* кандидаты. Люди, искавшие милости в высоких сферах и затвердившие всю ту средневековую дребедень, которую нам положено знать. Помнишь, Исаак, что сталось с твоими соперниками?

— Один повредился в уме, — отвечал Исаак тоном скучающего ученика. — Другой в сильном подпитии заснул на улице, простудился и умер.

Третий, будучи сильно нетрезв, упал с лестницы и вынужден был удалиться от дел по причине полученных увечий. Четвёртый… — Тут Исаак осёкся, что с ним случалось нечасто. Даниель воспользовался паузой, чтобы подойти ближе и сделать наивно-заинтересованное лицо.

Исаак отвёл глаза и промолвил:

— Четвёртый *тоже* в пьяном виде упал с лестницы и вынужден был удалиться от дел! Однако если ты хочешь сказать, что это *крайне невероятное* стечение обстоятельств, то я уже дал тебе мой ответ: Промысел.

— Однако *как именно* явил себя Промысел? Посредством неведомого действия на расстоянии? Или земной механикой соударяющихся тел?

— Я тебя не понимаю.

— Считаешь ли ты, что Господь простёр с небес длань и сбросил этих двоих с лестницы? Или Он отправил на землю кого-то, кто всё это устроил?

— Даниель… не мог же ты…

Даниель рассмеялся.

— Нет, я не сталкивал их с лестницы. Однако, кажется, знаю, кто это сделал. У тебя есть средства для работы, Исаак, благодаря кое-каким влиятельным силам. Не исключено, что Промысел действует через них. Однако из этого *следует*, что

ты должен время от времени оставлять труды и тратить несколько часов на поддержание дружбы с названными силами.

Покуда Даниель говорил, Исаак расхаживал по комнате со скептическим выражением на лице. Несколько раз он открывал рот, чтобы возразить. Однако к концу речи Исаак вроде бы что-то заметил. Даниель подумал, что это какая-то статья или черновая запись из множества разбросанных на столе. Так или иначе, Исаак резко изменил решение. Лицо его обмякло, как будто внутри притушили пламень. Он принялся снимать халат.

— Отлично. Скажи остальным, что мы идём.

Остальные уже выжали тряпицу в реторту и пытались возгонкой получить тот порождающий дух, который якобы присутствует в женском лоне. Роджер Комсток и другие прихлебатели пришли в отчаяние, узнав, что профессор Ньютон их покидает, однако Локк, Бойль и Лефевр и бровью не повели. Ньютон подготовился к выходу за несколько минут (вот потому-то учёные любили мантии, а щеголи — ненавидели). Пять членов Королевского общества — Бойль, Локк, Лефевр, Уотерхауз и Ньютон — двинулись через Большой двор Тринити-колледжа. Все были в длинных

чёрных мантиях и академических шапочках, за исключением Ньютона, который возглавлял процессию, словно кардинал, сопровождаемый свитой черноризцев, — яркое алое пятно на зелёном газоне Тринити.

* * *

— Я этой пьесы не видел, — сказал Локк, — однако присутствовал на одной или двух, из которых её герои и сюжет…

Ньютон:

— Украдены.

Бойль:

— Переняты.

Лефевр:

— Позаимствованы.

Локк:

— Приспособлены, и могу вам сообщить, что корабль в бурю сел на мель возле замка, принадлежащего придворному щеголю по имени Персиваль Форс или Реджинальд Буф.

— Франсис Андрофил, согласно программе, — вставил Даниель.

Исаак обернулся и строго посмотрел на него.

— Ещё лучше, — сказал Локк. — Однако, разумеется, щеголь в Лондоне и никогда не наезжает

в поместье. Поэтому бродяга по имени Роджер Наскок или Джудд Наггл…

— Том Беггл.

— И его подружка Мадлен Шерамур или…

— Мисс Ножкиврозь в данном случае.

— …незаконно поселились в замке. Увидев потерпевших крушение, бродяги переодеваются в хозяйское платье и представляются сэром Франсисом Андрофилом и его нынешней пассией — к большому изумлению вышедшего на сцену пуританского святоши…

— Преподобного Иеговы Трясогуза, — сказал Даниель.

— Остальное вы можете видеть сами.

— Почему этот старик весь чёрный? — спросил Бойль, глядя на одного из актеров.

— Это негр, — объяснил Даниель.

— Кстати, — вставил Локк. — Надо написать брокеру — кажется, пора продавать акции Гвинейской компании.

— Нет, нет! — воскликнул Бойль. — Я имел в виду чёрный, в смысле прокопчённый, и из волос у него валит дым.

— В версии, которую я видел, такого не было, — заметил Локк.

— В предыдущей сцене имело место забавное

происшествие с участием пороха, — сообщил Даниель.

— Э… комедия написана недавно?

— После… хм… событий?

— Можно только предполагать, — сказал Даниель.

Поглаживание подбородков и хмыканье со стороны нескольких членов Королевского общества (за исключением Ньютона), которые, усаживаясь на свои места, украдкой поглядывали на графа Эпсомского.

ЛИДИЯ: Нам предстоит идти или плыть?

ВАН УНД: Отличная грязь, отличный ураган. Добавить сюда дамбу, туда — ветряную мельницу, и я смогу присоединить это место к своим владениям в Нидерландах.

ЛИДИЯ: Но, папенька, оно не ваше.

ВАН УНД: Легко поправимо. Как оно зовётся?

ЛИДИЯ: Душка-боцман сказал, что мы сели на мель неподалёку от замка Глухомань.

ВАН УНД: Выбрось боцмана из головы — в таком месте наверняка обитают знатные люди… да вон они! Эгей!

ТОМ БЕГГЛ: Видишь, мисс Ножкиврозь, нас уже приняли за придворных. Несколько краденых тряпок ничем не хуже титула и родословной.

МИСС НОЖКИВРОЗЬ: Да, Том, верно, покамест мы на расстоянии выстрела. Однако мало хорошо начать, надо ещё хорошо кончить.

ТОМ (*глядя в подзорную трубу*): Это я завсегда. Вижу одну подходящую особу.

НОЖКИВРОЗЬ: Эта девица из воспитанных. Она запрезирает тебя, мой ветреный Том, как только услышит твой голос…

ТОМ: Я могу говорить что твой лорд.

НОЖКИВРОЗЬ: …и увидит твои мужицкие манеры.

ТОМ: Разве ты не знаешь, что грубость сейчас в моде?

НОЖКИВРОЗЬ: Ну уж!

ТОМ: Истинная правда: знатные люди оскорбляют друг друга с утра до вечера и зовут это остроумием! Потом тычут друг в друга шпагой и зовут это честью!

НОЖКИВРОЗЬ: Ну, коли у них такое остроумие и такая честь, сокровища с корабля, почитай, у нас в кармане.

ВАН УНД: Эй, сударь! Бросьте нам трос! Мы утопаем в вашем саду!

ТОМ: Вот деревянная башка! Принял болото за сад!

НОЖКИВРОЗЬ: Деревянная башка или деревян-

ный башмак?

ТОМ: Ты хочешь сказать, он голландец? Коли так, я ввожу сбор за карабканье по веревке.

НОЖКИВРОЗЬ: И что в таком случае о тебе подумает его дочь?

ТОМ: Тоже верно…

Бросает верёвку.

ЛОРД ЖУПЕЛ: Кто этот француз на пристани? Неужто Англия завоёвана? Храни нас Небеса!

ЛЕДИ Ж.: Никакой он не француз, милорд, а добрый английский джентльмен в *современном* наряде — скорее всего граф Глухомань, а его спутница — знатная куртизанка.

ЛОРД Ж.: Картезианка? (*мисс Ножкиврозь*): Мадам, мне сказали, вы картезианка?

НОЖКИВРОЗЬ: Кто-кто?

ЛОРД Ж.: Поклонница Декарта? Когито эрго сум?

НОЖКИВРОЗЬ: Что верно, то верно, до карт я большая охотница. И до сумм тоже, особенно до круглых. (*Тому*): Я правильно говорю?

ТОМ: Отлично сыграно, моя птичка.

ЛЕДИ Ж.: Эта шлюха весьма неучтива.

ЛОРД Ж.: Не будь вульгарной, дорогая, — это просто значит, что она признала в нас ровню.

С противоположной стороны сцены появляет-

ся преподобный Иегова Трясогуз. В руках у него Библия и лопата.

ТРЯСОГУЗ: Вот доказательство того, что пути Господни неисповедимы. Я ожидаю увидеть разбитый корабль и тела утопших, нуждающихся в захоронении, — услуга, которую я за небольшую мзду всегда готов оказать (оптом дешевле), и что вижу? Придворную сцену! Куда там Сент-Джеймскому парку в солнечное майское утро!

ТОМ: У голландского купца и английского лорда наверняка есть чем поживиться. Если ты отвлечёшь их в замке, я переговорю с нашими весёлыми дружками — они украдут шлюпку и похитят сокровища.

НОЖКИВРОЗЬ: А ты тем временем похитишь девственность голландской красотки?

ТОМ: Боюсь, её похитили до меня.

На сцене меняли декорации: теперь они должны были представлять замок Глухомань. Ольденбург тем временем наклонился к Даниелю и спросил:

— Это он?

— Да, это Исаак Ньютон.

— Отлично. Доволен будет не только Англси. Как вам удалось вытащить его на свет Божий?

— Сам с трудом понимаю.

— А что статья о касательных?

— Не всё сразу, сэр.

— Зачем такая скрытность!

— За всю жизнь он опубликовал только одну работу.

— О цветах?! Это было два года назад!

— Для вас — два года невыносимого ожидания. Для Исаака два года войны — с Гуком на одном фланге, с иезуитами на другом.

— Может быть, если бы вы только рассказали ему, как провели последние два месяца…

Даниель с трудом удержался, чтобы не рассмеяться Ольденбургу в лицо.

На сцене интрига закручивалась в тугую спираль. Мисс Ножкиврозь, которую играла Тесс, обольщала Юджина Кунштюка, примчавшегося из Лондона на выручку родителям. Том Беггл по меньшей мере один раз переспал с Лидией ван Ундердеватер. Сэр Франсис Андрофил прибыл инкогнито и теперь домогался Нзинги в надежде проверить слухи о необычайных достоинствах африканцев.

Исаак Ньютон пощипывал себя за переносицу и выказывал лёгкое отвращение. Ольденбург поглядывал на Даниеля, а некоторые высокопоставленные особы — на Ольденбурга.

Начался пятый акт. Скоро пьеса должна была завершиться, и вступал в действие план, задуманный Ольденбургом: представить Исаака Ньютона королю и Королевскому обществу в целом. Если статья о касательных не будет прочитана сегодня, его запомнят лишь как алхимика, который когда-то изобрёл телескоп. Поэтому Даниель встал и снова пошёл через двор.

Гуляющих там стало меньше, или он больше не обращал на них внимания — решимость дала ему свободу, впервые за несколько месяцев, поднять голову и посмотреть на звёзды.

Как выяснилось, Гук, затевая проект с телескопом, рассчитывал не только посрамить нескольких педантичных иезуитов. Сидя в темной дыре посреди Грешем-колледжа, он излагал Даниелю зачатки большой теории: во-первых, все небесные тела притягиваются к другим, находящимся в сфере их влияния, посредством гравитации; во-вторых, всякое тело, получив толчок, движется по прямой, если только на него не действует какая-либо сила, и, в-третьих, сила притяжения возрастает при приближении к центру тела, её порождающего.

Ольденбург не осознавал всех масштабов ньютонова дарования. Не по глупости — уж

глупцом-то Ольденбург не был. Просто Исаак в отличие, скажем, от Лейбница, наводнившего всю Европу своими письмами, или Гука, дневавшего и ночевавшего в Королевском обществе, не показывал своих результатов и не общался ни с кем, кроме полоумных алхимиков. Так что для Ольденбурга Ньютон был сообразительным, хоть и чудаковатым малым, который однажды написал мемуар о цветах и на этой почве схлестнулся с Гуком. Если бы Ньютон познакомился с Королевским обществом, считал Ольденбург, он бы понял, что Гук совершенно забыл про цвета и переключился на Всемирное Тяготение, которое уж точно не занимает молодого мистера Ньютона.

Короче, план изначально таил в себе семя грядущих бедствий. Однако могло пройти ещё много лет, прежде чем большая часть Королевского общества и король с его страстью к натурфилософии вновь остановятся на ночь в Кембридже, на расстоянии окрика от кровати, в которой Исаак спит, и стола, за которым он трудится. Исаака удастся вытащить на свет сегодня или никогда. Если это приведёт к открытой войне с Гуком, так, значит, тому и быть. Может статься, итог был предрешён вне зависимости от того, что Даниель собирался сделать в ближайшие несколько минут.

* * *

Даниель вернулся в своё жильё. Роджер Комсток, которого оставили, как Золушку, убираться и поддерживать огонь в печах, вероятно, улизнул в питейное заведение. Все свечи были погашены, комнату озаряли лишь алые отблески печей. Однако Даниель у себя дома легко ориентировался в темноте. Он взял с комода свечу, зажёг её от печи и пошёл в комнату, где раньше беседовал с Исааком. Ища среди бумаг статью о касательных — первый практический плод долгой работы над флюксиями, — он вспомнил, как что-то на столе смутило Исаака и заставило его пойти на мучительную пытку комедией. Впрочем, сколько Даниель ни высматривал, ему попадались только скучные алхимические заметки и рецепты. Многие были подписаны не «Исаак Ньютон», но «Jeova Sanctus Unus»[46] — псевдоним, который Исаак ставил под своими алхимическими трудами.

Так и не разрешив загадку, Даниель приметил статью о касательных на дальнем конце стола и

[46] Примечания: 46

Единственный святой Божий (*лат.*) — анаграмма латинизированного варианта имени и фамилии Isaacus Neutonus.

потянулся, чтобы её взять.

Помещение наполняли странные звуки — шипели и пыхали различные горючие вещества в печах, потрескивали деревянные стенные панели. Порой до слуха Даниеля доносился ещё один звук, но суровый страж, что стоит в воротах сознания и гонит прочь всё не важное и незначительное, счёл его мышиной возней и не впустил за порог. Теперь, впрочем, Даниель различил этот звук, поскольку он стал громче: скорее крыса, чем мышь. Статья о касательных была у Даниеля в руках, однако он замер, определяя, где возится крыса, чтобы при свете дня вернуться и провести расследование. Хрумканье доносилось из-за перегородки, отделяющей комнату от большой лаборатории, в которой имелось несколько ниш и альковов, устроенных во время оно бог весть для какой цели: может, чтобы разместить печную трубу или небольшую буфетную. Даниель хорошо представлял, что находится за стеной, из-за которой слышался хруст: небольшая ниша в углу лаборатории, где в бытность ее гостиной, вероятно, располагались слуги. Теперь там стояли шкафы с алхимическими припасами Исаака и стол с пестиками и ступками. Некоторые вещества, с которыми работал Исаак, имели

склонность быстро воспламеняться, потому он хранил их в этой конкретной нише, подальше от печей.

Даниель как можно тише вернулся в лабораторию. Статью о касательных он положил на стол и взял кочергу, лежащую рядом с печью. С крысами можно бороться по-разному, но иногда самое действенное — подкрасться и оглоушить. Даниель, сжимая кочергу, бесшумно прошел между печами. Нишу отделяла от остальной лаборатории ширма вроде тех, за которыми переодеваются, — деревянная рама с натянутой на неё тканью (довольно ветхою). Она должна была защищать от искр и сквозняков весы и порошки Исаака.

Даниель остановился, потому что хрупанье смолкло, словно крыса почуяла охотника. Впрочем, оно тут же раздалось вновь, ещё громче, и Даниель, шагнув вперёд, ногой отшвырнул ширму. Кочергу он занёс над головой, а свечу выставил перед собой, чтобы ослепить крысу, сидевшую, судя по всему, на столе.

Вместо этого он оказался в замкнутом пространстве с другим человеком. От изумления Даниель подпрыгнул на несколько дюймов и выронил кочергу; рука со свечой дёрнулась. Он едва не ткнул ею в лицо человеку, сидевшему за

ширмой: Роджеру Комстоку. Тот в темноте что-то растирал в ступке и при виде свечи не только перепугался до полусмерти, но и ослеп. В панике он выронил ступку с серым порошком, который как раз пересыпал в полотняный мешочек. Впрочем, «выронил» — не то слово, гравитация не дала бы такой скорости; он отшвырнул ступку вместе с мешочком и в то же мгновение откинулся назад.

На глазах у Даниеля пламя выросло до размеров бычьей головы и окутало его руку до локтя. Он выронил свечу. Пламя разлилось по полу, пыхнуло и опало. Наступила полнейшая тьма — не потому, что пламя совсем погасло (Даниель слышал его потрескивание), но из-за наполнившего комнату чёрного дыма. Даниель вдохнул и тут же в этом раскаялся: Роджер возился с порохом.

Роджер вылетел из дома в пять секунд, даром что на четвереньках. Даниель выбрался за ним и постоял на улице, прочищая лёгкие несколькими глотками свежего воздуха.

Роджер уже пробежал через сад и выскочил за калитку. Даниель пошёл её закрывать, но прежде огляделся. Двое привратников под сводами Больших ворот смотрели на него с умеренным любопытством. Их не удивляло, что из дома лукасовского профессора математики исходят

странные звуки и свет. То, что оттуда выскочил человек в дымящейся одежде, было если и происшествием, то незначительным. Разумеется, не закрыть калитку — прискорбное упущение, однако его Даниель исправил.

Потом, задержав дыхание, он вернулся в лабораторию, ощупью нашёл и распахнул окна. Огонь охватил упавшую ширму, тем не менее дальше не распространился, поскольку Исаак старался ничего горючего в комнате не держать. Даниель довольно быстро затоптал пламя.

Более изысканной обстановке дым бы, разумеется, повредил, однако здесь и так всё давно прокоптилось и провоняло гарью.

Порох, собственно, не взорвался (поскольку, по счастью, находился не в замкнутом объёме), а лишь вспыхнул. Шкафы в нише почернели. Весы упали со стола и, вероятно, испортились. Ступка, которую Роджер выронил, лежала грудой толстых осколков; Даниелю вспомнился взрыв пушки при «Осаде Маастрихта» и другие подобные инциденты, которые, он слышал, произошли за последнее время на кораблях Королевского флота. Вокруг валялись обугленные клочья — то, что осталось от мешка, в который Роджер пересыпал порох. Короче, мешок с порохом, вспыхнув в

жилом доме, едва ли мог бы причинить меньший ущерб. Угол лаборатории предстояло убрать и вымыть, но Даниель знал, что эта обязанность так и так ляжет на Комстока. Если, разумеется, Исаак не прогонит его взашей.

Казалось бы, такой эпизод способен надолго выбить человека из колеи и смешать его планы. Однако всё произошло так быстро, что Даниель не видел причин отказываться от намеченной цели. Более того: тягостные проблемы, одолевавшие его по пути через двор, померкли рядом с приключениями последних нескольких минут. Руки и в меньшей степени лицо покраснели и горели от ожогов; Даниель подозревал, что ближайшие несколько недель ему предстоит ходить без бровей. Не мешало умыться и переодеться, что не составило труда, поскольку он жил на втором этаже.

Спустившись, Даниель взял статью о касательных, стряхнул с неё чёрный пепел и направился к дверям. Статья содержала не более десятой доли того, чего Исаак добился, работая над флюксиями, но это было хоть какое-то свидетельство — лучше, чем ничего. Членам Королевского общества будет чем помучить мозги в ближайшие несколько недель. Ночь была ясная, вид — превосходный,

загадки Вселенной распростерлись над Тринити-колледжем. Однако Даниель опустил глаза и быстро зашагал к конусу влажного света, где дожидались остальные.

Лондонский мост 1673 г.

Как только будут получены численные определения для большей части понятий, род человеческий обретет орудие нового типа, орудие, которое увеличит силу ума много больше, нежели оптические линзы помогают глазу, орудие, которое будет настолько же превосходить микроскопы и телескопы, насколько разум превосходит зрение.

Лейбниц, «Философские опыты»

Почти посредине Лондонского моста, чуть ближе к Сити, чем к Саутуорку, дыркой от выбитого зуба зиял промежуток между зданиями, оставленный для того, чтобы пожар не мог перекинуться через реку. Если вы плыли по Темзе в лодке и видели все девятнадцать быков, удерживающих мост, и все двадцать каменных арок вместе с разводным мостом, вы различали это открытое пространство — «пятачок» — над самой широкой (тридцать четыре фута) аркой.

Приближаясь к мосту, вы всё яснее осознавали

грозящую опасность, и ваш мозг сосредоточивался на вещах практических, посему вы замечали нечто куда более важное, а именно: расстояние между островками здесь тоже шире. Соответственно, течение под этой аркой меньше напоминало грохочущий водопад и больше — горную реку в паводок. Если лодка еще слушалась руля, вы направляли её в этот пролёт. Если же вы были пассажиром этой гипотетической лодки и ценили свою жизнь, то просили лодочника вас высадить, перебирались через нагромождение более или менее древних свай и склизких камней, поднимались по лестнице, перебегали через проезжую часть (не забывая уворачиваться от несущихся экипажей), спускались по другой лестнице и спешили, прыгая и скользя, на дальний край островка, где вас дожидались лодочник и лодка, коли им посчастливилось уцелеть.

Впрочем, это объясняло некоторую особенность части Лондонского моста, называемой пятачком. Пассажиры, следующие в наёмных лодках на восток или на запад по Темзе, были в среднем значительнее и богаче пешеходов, идущих по мосту на север или на юг, а те, что, ценя свою жизнь, здоровье и состояние, преодолевали его через верх, — ещё богаче и значительнее.

Соответственно здания по обе стороны пятачка были самым лакомым куском для трактирщиков и торговцев модным товаром.

В то утро Даниель Уотерхауз часа два болтался в окрестностях пятачка, ожидая определённого человека в определённой лодке. Впрочем, лодка, которую он ждал, должна была подойти не по течению, а против, со стороны моря.

Он сидел в кофейне и забавлялся, глядя, как потные запыхавшиеся пассажиры возникают на лестнице, словно спонтанно самозародились в зловонной Темзе. Они забегали в ближайшую таверну, чтобы пропустить пинту пива для храбрости, прежде чем пересечь двенадцатифутовую проезжую часть, на которой кого-нибудь давили несколько раз в неделю. Если им удавалось благополучно её миновать, они заскакивали в галантерейную лавочку — прикупить какую-нибудь мелочь для успокоения нервов, или в кофейню — проглотить на бегу чашечку кофею. Остальные торговцы на Лондонском мосту хирели из-за конкуренции с более модными магазинами, которые Стерлинг и ему подобные понастроили в других частях города, однако из-за постоянной угрозы перевернуться вместе с лодкой и утонуть жизнь на пятачке по-прежнему

била ключом.

Особенно оживленно здесь было в те дни, когда корабли из-за Ла-Манша бросали якорь в лондонской гавани, и пассажиры из Европы прибывали сюда на лодках.

Одна из таких лодок приближалась сейчас к мосту. Даниель допил кофе, расплатился и вышел. Толпа пешеходов запрудила улицы, создавая помехи гужевому транспорту. Все разом хотели спуститься на островок, так что образовали пробку не только на лестнице, но и на проезжей части. Видя, что это по большей части дельцы, а не бродяги, положившие глаз на его кошелёк, Даниель ввинтился в толпу и вместе с ней оказался на островке. Сперва он думал, что все эти хорошо одетые люди встречают каких-то конкретных пассажиров. Однако, когда лодка приблизилась на расстояние окрика, послышались не дружеские приветствия, а вопросы (на разных языках) о войне.

— Будучи, как и вы, протестантом, хоть и лютеранином, я надеюсь, что Англия и Голландия скоро замирятся, и войне, о которой вы говорите, придёт конец.

Молодой немец, одетый на французский лад, стоял в лодке, однако при приближении к буру-

нам у моста одумался и сел.

— Надежды надеждами, а что вы *видели*, сударь? — выкрикнул кто-то из дельцов.

Несколько десятков человек толпились на островке, силясь подобраться как можно ближе к лодкам и при этом не рухнуть в губительную стремнину. Другие свесились с моста наподобие горгулий, третьи, в лодках, двигались наперерез, словно буканьеры в Карибском море. Никого не занимала всякая там лютеранская дипломатия. Ни один из встречающих даже не знал, кто таков этот молодой немец, — для них он был просто разговорчивый иностранец. В лодке сидели ещё несколько пассажиров, но все они не обращали внимания на крики лондонцев. Если вновь прибывшие и владели информацией, то намеревались донести ее до Биржи, пересказать серебром и распространить по хтоническим каналам рынка.

— На каком корабле вы прибыли, сударь? — крикнул кто-то.

— На «Святой Екатерине», сударь.

— Откуда вышел ваш корабль, сударь?

— Из Кале.

— Вы беседовали с кем-нибудь из флотских офицеров?

— Немного.

— Слышно ли о взрывах пушек на английских кораблях?

— О, порой такое случается. Это бывает видно со всех кораблей, участвующих в сражении, поскольку взрывом разносит полкорпуса, и люди взлетают на воздух, по крайней мере так мне говорили. Для всех моряков, своих и вражеских, это служит напоминанием о собственной смертности. Отсюда и разговоры. Однако полагаю, в нынешнюю войну такое происходит не чаще обычного.

— Были ли то пушки Комстока?

До молодого немца наконец дошло, что он, не успев вступить на английскую почву, уже наговорил лишнего.

— Сударь! Пушки графа Эпсомского считаются лучшими в мире.

Однако это никому было не интересно. Тема разговора сменилась.

— Откуда вы прибыли в Кале?

— Из Парижа.

— Видели ли вы войска на марше по пути через Францию?

— Несколько полков, усталые, направляющиеся на юг.

Джентльмены некоторое время гудели и вибрировали, усваивая услышанное. Один протолкался к лестнице, и его тут же окружила орава подпрыгивающих босоногих мальчишек. Джентльмен что-то быстро написал на бумажке и отдал её мальчишке, который прыгал выше других. Тот пробился через толпу товарищей, через три ступеньки взлетел по лестнице, перепрыгнул через телегу, отпихнул торговку рыбой и припустил по мосту. Отсюда до берега было сто с чем-то ярдов и ещё примерно шестьсот до Биржи — таким темпом примерно минуты три. Расспросы тем временем продолжались:

— Видели ли вы военные корабли в Ла-Манше, майн герр? Английские, французские, голландские?

— Там был… — Здесь ему не хватило английского. Он беспомощно развёл руками.

— Туман!

— Туман, — повторил немец.

— Вы слышали выстрелы?

— Редкие. Скорее всего это были сигналы. Шифрованные *сведения* распространялись через *туман*, столь непроницаемый для света и столь прозрачный для звука… — И тут иностранца понесло. Он принялся вслух размышлять на смеси

французского и латыни, как можно передавать шифрованные данные при помощи взрывов. Система основывалась на идеях из уилкинсова «Криптономикона» и предполагала столь значительный расход пороха, что наверняка пришлась бы по душе Джону Комстоку. Другими словами, молодой немец отождествил себя (по крайней мере для Даниеля Уотерхауза) с доктором Готфридом Вильгельмом Лейбницем. Наблюдатели утратили интерес и обратили расспросы к другим лодкам.

Лейбниц сошёл на английский берег. За ним следовали два других немца, постарше, не такие словоохотливые и (предположил Даниель) более значительные. За ними, в свою очередь, следовал старший слуга, возглавляющий целую колонну носильщиков с сундуками. Однако свой деревянный ящичек Лейбниц никому не доверил.

Даниель шагнул вперёд, но какой-то шустрый малый оттёр его плечом, вручил одному из старших господ запечатанный конверт и быстро зашептал на нижненемецком.

Даниель раздражённо выпрямился. Так случилось, что при этом взгляд его упал в сторону Сити и остановился на набережной ниже моста — груде чёрных камней, оставшихся после

Пожара. Этот участок могли бы восстановить годы назад, но не восстановили, сочтя другие более важными. Несколько человек занимались там высокоинтеллектуальной работой — провешивали линии и делали зарисовки. Один из них — удивительно! — оказался Робертом Гуком, которого Даниель тихонько оставил в Грешем-колледже час назад. Менее удивительно, что Гук (при своей зоркости) узнал Даниеля на островке посреди реки, где тот встречал явно заграничную делегацию, а потому помрачнел и нахмурился.

Лейбниц и его спутники что-то обсуждали на верхненемецком. Шустрый малый взглянул на Даниеля. Это был один из посыльных (и по совместительству — лазутчиков) голландского посла. Немцы составили некий план, по которому им, видимо, предстояло разойтись. Даниель шагнул вперёд и представился.

Другие немцы, представляясь в ответ, называли свои *фамилии*, однако значение имели их *родословные*: один доводился племянником архиепископу Майнцскому, другой был сыном премьер-министра барона фон Бойнебурга. Другими словами, *очень* важные люди в Майнце, соответственно *довольно* значительные в Священной Римской империи, которая сохраняла

относительный нейтралитет во франко-английско-голландской сваре. Судя по всему, они прибыли в качестве посредников в мирных переговорах. Лейбниц знал, кто такой Даниель, и спросил:

— Уилкинс ещё жив?

— Да…

— Благодарение Богу.

— Хотя очень болен. Если вы намерены его посетить, я бы посоветовал сделать это прямо сейчас. Охотно вас провожу, доктор Лейбниц… окажите честь, позвольте мне понести ящичек.

— Вы очень любезны, — отвечал Лейбниц, — однако я понесу его сам.

— Коли внутри золото или драгоценности, советую держать его крепко.

— Улицы Лондона небезопасны?

— Скажем так: мировые судьи заняты по большей части диссентерами и голландцами, и наши воришки не преминули этим воспользоваться.

— Содержимое ящичка много ценнее золота, — молвил Лейбниц, вступая на лестницу, — однако его невозможно украсть.

Он ничуть не походил на монстра.

По словам Ольденбурга, французы из академии Монмора, которая была для Франции примерно

тем же, что Лондонское Королевское общество — для Англии, в последнее время называли Лейбница латинским словом *monstro*. И это люди, лично знавшие Ферма и Декарта!.. Поскольку в таких кругах преувеличения считались недопустимой вульгарностью, члены Королевского общества ударились в этимологические изыскания: следует ли понимать, что Лейбниц — урод? Неестественный гибрид человека с кем-то ещё? Божественное предзнаменование?

— Он живёт в той стороне, не так ли?

— Епископ вынужден был переехать из-за болезни — он в доме своей падчерицы на Чансери-лейн.

— Тогда нам всё равно в ту сторону, затем налево.

— Вы бывали в Лондоне, доктор Лейбниц?

— Я изучал его по картинам.

— Боюсь, после Пожара они превратились в антикварный курьёз — вроде карт Атлантиды.

— Всё же рассматривать виды пусть даже и воображаемого города в определенном смысле полезно, — сказал Лейбниц. — В конкретный момент времени художник видит город только с одной точки и потому перемещается: пишет сперва с холма на одной его стороне, затем с

башни на другой и с перекрёстка в центре, всё на одном холсте. Значит, глядя на полотно, мы в некой малой степени постигаем, как Господь видит Вселенную, ибо Он зрит её со всех точек зрения *одновременно*. Населив мир столькими мыслящими созданиями, каждое из которых смотрит с собственной точки зрения, Он дает нам понять, что значит быть вездесущим.

Даниель решил промолчать, чтобы слова Лейбница повисли в воздухе, как звуки органа в лютеранской церкви. Тем временем они добрались до северной оконечности моста, где грохот водяных колёс под каменным сводом шлюза так и так заглушил бы разговор. Только начав подъём по Фиш-стрит, Даниель спросил:

— Я видел, что вы уже вступили в сношения с голландским послом. Можно ли заключить, что вы здесь с миссией не чисто натурфилософского свойства?

— Вопрос разумный — в определённой степени, — проворчал Лейбниц. — Мы ведь ровесники, вы и я? — Он быстро оглядел Даниеля. Глаза у него были как стеклянные бусинки или как буравчики, в зависимости от того, какого рода монстром его считать.

— Мне двадцать шесть.

— Мне тоже. Значит, мы оба родились в тысяча шестьсот сорок шестом. В тот год шведы захватили Прагу и вторглись в Баварию. Инквизиция жгла евреев в Мексике. Полагаю, подобные ужасы творились и в Англии?

— Кромвель разбил королевскую армию под Ньюарком… король бежал… Джон Комсток был ранен…

— Мы говорим лишь о королях и дворянах. Вообразите страдания простых крестьян и бродяг, которые не менее драгоценны в очах Господа. А вы спрашиваете, прибыл я с дипломатическими или с философскими целями, как будто эти два понятия можно разделить.

— Знаю, вопрос был бестактен и груб, однако моя обязанность — поддерживать разговор. Вы сказали, что цель всех натурфилософов — восстанавливать мир и гармонию среди людей. С этим я спорить не могу.

Лейбниц смягчился.

— Наша цель — не дать голландской войне перекинуться на всю Европу. Пусть вас не оскорбляет моя прямота: архиепископ и барон — члены Королевского общества, и я тоже. Они алхимики; я — нет, если не считать политики. Они надеются, что через натурфилософию я смогу войти в

сношение с важными людьми, к которым нелегко было бы подобраться по *дипломатическим* каналам.

— Десять лет назад я, может быть, оскорбился бы, — сказал Даниель. — Однако теперь меня уже ничем не удивишь.

— Однако в стремлении увидеть епископа Честерского я руководствуюсь самыми чистыми из всех возможных мотивов.

— Он это почувствует и обрадуется, — заверил Даниель. — Последние несколько лет жизни Уилкинс целиком принёс в жертву политике — он пытается разрушить здание теократии, предупредить её возрождение в случае, если на английский престол взойдёт папист…

— Или уже взошёл, — вставил Лейбниц.

Лёгкость, с какой Лейбниц предположил, будто Карл II — тайный католик, подсказала Даниелю, что на Континенте это ни для кого не секрет. Он почувствовал себя жалким и наивным провинциалом. В каких бы преступлениях и обманах ни подозревал он короля, ему и в голову не приходило, что тот дерзко лжёт всей стране о своей вере.

У Даниеля было много времени, чтобы скрыть досаду, пока они шагали через центр города, превращенный в одну нескончаемую стройку, что,

впрочем, не мешало деловой жизни златокузнечных лавок и Биржи. Булыжники свистели между Даниелем и Лейбницем, словно пушечные ядра, лопаты абордажными саблями рассекали воздух, тачки с золотом, серебром, кирпичами и глиной сновали, словно повозки с боеприпасами, по временным настилам из досок и утоптанной грязи.

Быть может, приметив озабоченность на лице Даниеля, Лейбниц сказал:

— Совсем как на рю Вивьен в Париже. Я часто хожу туда читать рукописи в *Biblioteque du Roi*[47].

— Я слышал, туда отправляют экземпляр каждой отпечатанной во Франции книги.

— Да.

— Однако она основана в год нашего Пожара, так что, полагаю, ещё очень мала — ведь ей всего несколько лет от роду.

— Эти годы были весьма плодотворны для математики; кроме того, в ней хранятся некоторые неопубликованные рукописи Декарта и Паскаля.

— Но не классические труды?

— Мне посчастливилось возрастать — или взращивать себя — в отцовской библиотеке, где

---

[47] Примечания: 47
Королевская библиотека (*фр.*).

все эти труды были.

— Ваш отец имел склонность к математике?

— Трудно сказать. Как путешественник, узнающий город по картинам, написанным с разных точек, я знаю отца лишь по книгам, которые он читал.

— Теперь я понял ваше сравнение, доктор. *Biblioteque du Roi* для вас — ближайшее на сегодняшний день приближение к тому, как Господь видит мир.

— И всё же более обширная библиотека дала бы лучшее приближение.

— При всем уважении, доктор, чем эта улица похожа на рю Вивьен? У нас в Англии нет подобной библиотеки.

— *Biblioteque du Roi* — всего лишь *здание*, дом, который Кольбер приобрёл на рю Вивьен, вероятно, в качестве вложения в недвижимость, ибо на этой улице расположены златокузнечные лавки. Каждые десять дней, с десяти утра до полудня, все парижские торговцы отправляют свои деньги на рю Вивьен для пересчёта. Я сижу в доме Кольбера, силясь постичь Декарта или работая над математическими доказательствами, которые поручил мне мой наставник Гюйгенс, и гляжу на улицу, по которой бредут носильщики, сгибаясь под

тяжестью золота и серебра. Теперь вы начинаете понимать мою загадку?

— Какую?

— Этот ящичек! Я сказал, что лежащее в нем ценнее золота, и всё же его невозможно украсть. Куда нам сейчас поворачивать?

Они достигли урагана, в котором сталкивались улицы Треднидл, Корнхилл, Полтри и Ломбард. Мальчишки-посыльные стремглав неслись через перекрёсток, словно стрелы из арбалета или (подозревал Даниель) словно прозрачные намёки, которые ему никак не удавалось взять в толк.

* * *

Добрая сотня лондонских епископов, лордов, проповедников и джентльменов-философов охотно приютили бы у себя болящего Уилкинса, однако он осел в доме своей падчерицы на Чансери-лейн, неподалёку от того места, где жил Уотерхауз. Вход в дом и улица были запружены толпою придворных — не лощёных царедворцев высшего уровня, но побитых и потрёпанных, чересчур старых или чересчур неказистых, короче, тех, на ком по-настоящему держалась

государственная машина[48]. Они теснились вокруг кареты, украшенной гербом графа Пенистонского. Дом был старый (пожар остановился в нескольких ярдах от него), крытый соломой, фахверковый, прямиком из «Кентерберийских рассказов» — самый неподходящий фон для роскошного экипажа и тонюсеньких рапир.

— Видите, несмотря на чистоту своих мотивов, вы уже увязли в политике, — сказал Даниель. — Хозяйка этого дома — племянница Кромвеля.

— Кромвеля?!

— Того самого, чья голова смотрит на Вестминстер с пики. Далее, эта великолепная карета принадлежит Нотту Болструду, графу Пенистонскому, — его отец основал секту гавкеров, как правило, объединяемую с другими под уничижительной кличкою «пуритане». Впрочем, гавкеры всегда выделялись своей радикальностью: например, они считают, что правительство и церковь не должны иметь между собой ничего общего и что всех рабов в мире надо освободить.

— Однако люди перед входом одеты как придворные! Они хотят взять пуританский дом штурмом?

---

[48] Примечания: 48

Хороший пример такого придворного — Пепис; однако его здесь не было.

— Это клевреты Болструда. Понимаете, граф Пенистонский — государственный секретарь его величества.

— Я слышал, что король Карл Второй назначил фанатика государственным секретарём, но затруднялся поверить.

— Подумайте, возможны ли гавкеры в какой-то другой стране? За исключением Амстердама, конечно.

— Разумеется, нет! — с легким негодованием отвечал Лейбниц. — Их бы давно истребили.

— Посему, несмотря на своё отношение к королю, Нотт Болструд вынужден поддерживать свободную и независимую Англию, и когда диссентеры обвиняют короля в чрезмерной близости к Франции, его величество может просто указать на Болструда как на живое свидетельство независимой международной политики.

— Но это же фарс! — пробормотал Лейбниц. — Весь Париж знает, что Англия у Франции в кармане.

— Весь Лондон тоже это знает. Разница в том, что у нас тут три дюжины театров, а в Париже — только один.

Наконец и ему удалось поставить Лейбница в тупик.

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что мы *любим* фарсы.

— А почему Болструд навещает племянницу Кромвеля?

— Вероятно, он навещает Уилкинса.

Лейбниц в задумчивости остановился.

— Соблазнительно. Однако невозможно по протоколу. Я не могу войти в этот дом.

— Конечно, можете — со мной, — объявил Даниель.

— Я должен вернуться и пригласить своих спутников. Мой ранг не позволяет мне беспокоить государственного секретаря.

— А мне мой — позволяет, — сказал Даниель. — Одно из первых моих воспоминаний, как он кувалдой крушит церковный орган. Мой приход напомнит ему о приятном.

Лейбниц в ужасе замер. Даниель почти видел отражённые в его зрачках витражи и органные трубы уютной лютеранской кирхи.

— Почему он совершил такой вандализм?

— Потому что это была англиканская церковь. Ему едва исполнилось двадцать — возраст юношеской горячности.

— Ваши родные были последователями Кромвеля?

— Вернее сказать, что Кромвель был последователем моего отца — да упокоит Господь их души.

Вокруг уже сомкнулась толпа придворных, так что Лейбниц не мог подчиниться инстинкту и убежать.

Несколько минут они проталкивались через толпу всё более высокопоставленных и хорошо одетых людей, затем поднялись по лестнице и оказались в крохотной комнатёнке с низким сводчатым потолком. Пахло так, словно Уилкинс уже умер, однако большая его часть была ещё жива; он сидел, опершись на подушки и примостив на коленях доску с каким-то документом. Нотт Болструд — сорока двух лет — стоял на коленях рядом с кроватью. Когда Даниель вошёл, он обернулся. За десять лет в Ньюгейтской тюрьме, среди убийц и безумцев, у него выработалась привычка смотреть, кто подходит сзади, полезная для государственного секретаря, как была в своё время полезна для фанатика-разрушителя.

— Брат Даниель!

— Милорд.

— Вы сгодитесь не хуже любого другого и даже лучше многих.

— Для чего, сэр?

— Чтобы засвидетельствовать подпись епи-

скопа.

Болструд обмакнул перо в чернила, Даниель вложил его в пухлые пальцы Уилкинса. Несколько раз вздохнув, епископ Честерский принялся водить рукой, и на бумаге начали возникать закорючки, похожие на подпись Уилкинса, как призрак — на человека. Короче, хорошо, что в комнате было кому её засвидетельствовать. Даниель не знал, о чём документ, но по виду предположил, что он предназначен для короля.

Сразу после этого граф Пенистонский заторопился. Однако прежде чем выйти, он сказал Даниелю:

— Если у вас есть доля в Гвинейской компании герцога Йоркского, продайте её, ибо скоро этот папист-работорговец пожнёт бурю. — И тут, может быть, второй или третий раз в жизни Нотт Болструд улыбнулся.

— Покажите мне её, доктор Лейбниц, — сказал Уилкинс, пропуская все предварительные формальности. Он не мочился уже три дня и знал, что время поджимает.

Лейбниц осторожно присел на краешек кровати и открыл ящичек.

Даниель увидел шестерни, валы, ручки. В первый миг он подумал, что это новая конструкция

часов, но циферблата и стрелок не было — только несколько колесиков с цифрами.

— Разумеется, она во многом восходит к машине мсье Паскаля, — сказал Лейбниц, — однако может не только складывать и вычитать числа, но и умножать.

— Покажите, как она работает, доктор.

— Должен признаться, она ещё не закончена. — Лейбниц нахмурился, повернул машинку к свету и резко дунул. Изнутри вылетел таракан, описал дугу и, коснувшись пола, убежал под кровать. — Это только демонстрационный образец. Законченная, она будет *великолепна*.

— Не важно, — сказал Уилкинс. — В ней используются десятичные числа?

— Да, как у Паскаля, хотя двоичные были бы лучше.

— *Мне* можете не рассказывать, — проговорил Уилкинс и пустился в получасовое рассуждение, целыми страницами цитируя соответствующие главы «Криптономикона».

Наконец Лейбниц деликатно кашлянул.

— Есть и механические причины: трение и проскальзывание всё портят.

— Гук! Гук бы её построил, — сказал Уилкинс. — Однако довольно о машинах. Давайте поговорим

о пансофизме. Добились ли вы успеха в Вене?

— Я несколько раз писал императору, рассказывал ему о *Biblioteque du Roi*…

— Надеясь возбудить его зависть?

— Да… увы, в иерархии его пороков безраздельно царит леность. А как ваши успехи, милорд?

— Сэр Элиас Ашмол создает порядочную библиотеку, однако он разбрасывается и одержим алхимией. Мне пришлось заняться более фундаментальными вопросами. — Уилкинс слабым движением руки указал на дверь, через которую только что вышел Болструд. — Я верю, что двоичные арифметические машины будут очень важны. Ольденбург тоже преисполнен самого горячего интереса.

— Сочту за честь продолжить ваш труд, сударь.

— У меня нет времени на вежливые слова. Уотерхауз!

— Милорд? — только и смог выдавить Даниель. Дрейк был его родителем, Уилкинс — повелителем, наставником и духовным отцом.

— Отныне на вас ложится обязанность всё это осуществить.

— Что осуществить, милорд?

Однако Уилкинс то ли умер, то ли заснул.

* * *

Они прошли через тёмную кухоньку и далее через лабиринт подворотен и проулков, где на них обращали внимание главным образом петухи и собаки. Преследуемые лаем и кукареканьем мистер Уотерхауз и доктор Лейбниц оказались в квартале театров и кофеен. Сгодилась бы любая из этих кофеен, однако они были почти на Квинстрит, ещё одной улице, которую перестраивал Гук. Даниель ощущал себя блохой под Великим Микроскопом. Гук, словно хорда, стянул собой чуть ли не половину космоса: Даниелю казалось, будто он прыгает из укрытия в укрытие, хоть ему и нечего скрывать. Лейбниц держался бодро и был явно не прочь прогуляться по городу, поэтому Даниель снова повёл его к реке. Он пытался понять, что за обязанность возложил на него Уилкинс, и потому плохо развлекал гостя. Примерно через четверть часа до него дошло, что у Лейбница могут быть соображения на сей счёт.

— Вы сказали, что хотели бы продолжить труды Уилкинса. Какие именно? Полёт на Луну или?..

— Философский язык, — произнёс Лейбниц, словно другого ответа и быть не может.

Он знал, что Даниель участвовал в проекте,

и воспринял вопрос как знак, что тот не очень этим гордится (что было верно). Теперь у Даниеля закралось подозрение: может быть, философский язык обладает какими-то достоинствами, которые он по тупости не разглядел?

— Что ещё с ним делать? — спросил Даниель. — Вы хотите предложить какие-то усовершенствования? Дополнения? Перевести работу на немецкий?.. Вы качаете головой, доктор, — так что же?

— Я учился на законника. Не пугайтесь так, мистер Уотерхауз, в Германии это вполне уважаемая профессия. Помните, что у нас нет Королевского общества. Получив степень доктора юриспруденции, я поступил на службу к архиепископу Майнцскому, и тот поручил мне привести в порядок законодательство. Это настоящая Вавилонская башня — смешение римского, германского и местного права. Я решил, что нет смысла подлатывать его на скорую руку; надо свести всё к неким основным концепциям и начать с первопринципов.

— Я понимаю, как философский язык поможет разобрать всё до основания, — проговорил Даниель, — но чтобы отстроить здание заново, вам потребуется нечто иное…

— Логика, — сказал Лейбниц.

— У высших приматов, составляющих Королевское общество, логика не в чести.

— Потому что они ассоциируют её со схоластами, мучившими их в университете, — терпеливо произнёс Лейбниц. — Я о другом! Под логикой я разумею евклидову логику.

— Начать с неких аксиом и объединить их по определённым правилам…

— Да… и выстроить систему законов, столь же доказуемую и непротиворечивую, как теория конических сечений.

— Однако вы недавно перебрались в Париж, если я не ошибаюсь?

Лейбниц кивнул.

— Часть того же проекта. По очевидным причинам мне следовало усовершенствоваться в математике, а где это делать, как не в Париже? — Он нахмурился. — Вообще-то была и другая причина — архиепископ отправил меня с некоторыми предложениями к Людовику XIV.

— Так вы не в первый раз соединяете натурфилософию с дипломатией?

— И, боюсь, не в последний.

— Что же за предложения вы изложили королю?

— Вообще-то я добрался только до Кольбера. А предложение было такое: чем воевать с *соседями*, Франция могла бы предпринять поход на Египет и основать там империю, грозя туркам с левого фланга — из Африки, — что заставило бы тех оттянуть войска с правого фланга…

— Христианского мира.

— Да. — Лейбниц вздохнул.

— Мысль… э… дерзкая, — проговорил Даниель, тоже становясь дипломатом.

— К тому времени, как я прибыл в Париж и добился аудиенции у Кольбера, Людовик уже вторгся в пределы Голландии и Германии.

— А замысел хорош.

— Быть может, его воскресит какой-нибудь грядущий французский монарх, — пожал плечами Лейбниц. — Для голландцев последствия были ужасны, для меня — благотворны. Я мог, не отцеживая более *дипломатических* комаров, отправиться в дом Кольбера на рю Вивьен, чтобы потягаться с *философскими* исполинами.

— Я уже отчаялся с ними тягаться, — вздохнул Даниель, — и теперь лишь плетусь у них в хвосте.

Они прошли весь Стренд и сели в кофейне, выходящей окнами на юг. Даниель развернул

арифметическую машину к свету и осмотрел колесики.

— Простите, доктор, это *исключительно* для разговора или?..

— Пожалуй, вам стоит вернуться и спросить Уилкинса.

— Упрёк принят.

Они пригубили кофе.

— Епископ Честерский был в определённой степени прав, говоря, что её мог бы построить Гук, — сказал Даниель. — Несколько лет назад он беззаветно служил Королевскому обществу и тогда *построил бы*. Теперь он беззаветно служит Лондону, и почти все его часы собирают ремесленники, за исключением тех, что предназначаются королю, герцогу Йоркскому и другим высокопоставленным лицам.

— Если бы я объяснил мистеру Гуку важность этой машины, уверен, он бы за неё взялся.

— Вы не знаете Гука, — возразил Даниель. — Из-за того, что вы немец и у вас обширные связи за границей, Гук решит, что вы принадлежите к клике ГРУБЕНДОЛЯ, которая в его воображении столь непомерно велика, что французское вторжение в Египет — лишь малейшая из её задач.

— ГРУБЕНДОЛЬ? — переспросил Лейбниц и,

раньше чем Даниель успел объяснить, продолжал: — А, ясно, анаграмма фамилии «Ольденбург».

Даниель стиснул зубы, вспомнив, сколько времени потребовалось ему, чтобы разрешить эту головоломку.

— Гук убеждён, что Ольденбург крадёт его изобретения — пересылает за границу в шифрованных письмах. Что хуже, он видел, как вы сошли с лодки и получили письмо от небезызвестного голландца. Он захочет знать, в какие континентальные интриги вы замешаны.

— Я не скрываю, что мой покровитель — архиепископ Майнцский, — запротестовал Лейбниц.

— Мне казалось, вы назвали себя лютеранином.

— Я и есть лютеранин. Одна из целей архиепископа — примирить две церкви.

— Здесь бы мы сказали: более чем две, — напомнил Даниель.

— Гук религиозен?

— Если вы спрашиваете: «ходит ли он в церковь», то ответ — нет, — сказал Даниель. — Однако если вы хотите узнать, верит ли он в Бога, то я бы ответил: «да»: микроскоп и телескоп — его церковные витражи, анималькули в капле

собственной спермы и тени Сатурнова кольца — небесные видения.

— Так он вроде Спинозы?

— Вы хотите сказать, из тех, для кого Бог — не более чем Природа? Сомневаюсь.

— Чего хочет Гук?

— Он день и ночь занят проектированием зданий и прокладкой улиц…

— Да, а я занимаюсь реформированием немецкого законодательства, однако это не то, чего я хочу.

— Мистер Гук строит различные козни против Ольденбурга.

— Но не потому, что *хочет*?

— Он пишет статьи и читает лекции…

Лейбниц фыркнул.

— Менее десятой части того, что он знает, изложено на бумаге, не так ли?

— Гука плохо понимают, отчасти из-за странностей, отчасти из-за скверного характера. В мире, где многие отказываются верить в гипотезу Коперника, некоторые самые передовые идеи Гука, будучи обнародованы, могли бы привести его в Бедлам.

Лейбниц сощурился.

— Алхимия?

— Мистер Гук презирает алхимию.

— Отлично! — выпалил Лейбниц, позабыв про дипломатию, — и ужасно смутился, испугавшись, что Даниель сам окажется алхимиком.

Даниель успокоил его, процитировав из Гука:

— «Зачем искать загадки там, где их нет? Уподобляться раввинам-каббалистам, ищущим энигмы в числах и расположении букв, ничего такого не содержащих, тем временем как в природных формах… чем более мы увеличиваем предмет, тем восхитительнейшие тайны раскрываем и тем более постигаем несовершенство собственных чувств и всемогущество нашего Создателя».

— Итак, Гук верит, что тайны мироздания можно открыть под микроскопом.

— Да. Снежинки, например. Коли каждая не похожа на другую, почему все шесть лучиков конкретной снежинки одинаковы?

— Если мы полагаем, что лучи растут из центра, значит, в центре есть нечто, придающее каждому из шести лучей общий организующий принцип — как все дубы и все липы имеют общую природу и вырастают примерно одинаковой формы.

— Человек, говорящий о некой загадочной

природе, подобен схоласту — этакий Аристотель в камзоле.

— Или в мантии алхимика, — добавил Лейбниц.

— Согласен. Ньютон бы сказал…

— Это который изобрёл телескоп?

— Да. Он бы сказал, что, если поймать снежинку, расплавить и перегнать воду, можно получить дистиллят — сущность, которая воплощает её природу в физическом мире и определяет форму.

— Да, это точный дистиллят алхимического мышления — веры в то, что всё непонятное нам имеет некую физическую сущность, которую в принципе можно выделить из грубого вещества.

— Мистер Гук, напротив, убежден, что пути Природы созвучны человеческому разумению. Как биение мушиных крыл созвучно колебаниям струны и может войти с ним в резонанс — так и каждый феномен в мире может в принципе быть познан человеческим разумом.

— И обладая достаточно мощным микроскопом, — добавил Лейбниц, — Гук мог бы, заглянув внутрь снежинки при её рождении, увидеть, как сцепляются внутренние части, словно шестерни в творимых Богом часах.

— Именно так, сударь.

— И этого-то он *хочет*?

— Такова неназванная цель его исследований — в *это* он должен верить и к *этому* стремиться, ибо такова его внутренняя природа.

— Теперь вы говорите как аристотельянец, — пошутил Лейбниц. Он потянулся через стол и положил руку на ящичек. — Что часы для *времени*, то эта машина для *мысли*.

— Сударь! Вы показали мне, как несколько шестерён складывают и умножают числа, — превосходно. Но это не значит *мыслить*!

— Что есть число, мистер Уотерхауз?

Даниель застонал.

— Как вы можете задавать такие вопросы?

— Как можете вы их не задавать? Вы ведь философ?

— Натурфилософ.

— Тогда вы должны согласиться, что в современном мире математика — сердце натурфилософии. Она подобна загадочной сущности в центре снежинки. Когда мне было пятнадцать, мистер Уотерхауз, я бродил по Розенталю — это сад на краю Лейпцига — и определил свой путь к натурфилософии: отбросить старую доктрину субстанциальных форм и положиться в объяснении мира на механику. Сие неизбежно привело

меня к математике.

— В свои пятнадцать я раздавал пуританские памфлеты на соседней улице и бегал от городской стражи — но со временем, доктор, когда мы с Ньютоном изучали Декарта в Кембридже, я пришёл к тому же, что и вы, заключению о ведущей роли математики.

— Тогда повторю свой вопрос: что есть число? И что значит перемножить два числа?

— В любом случае не то же, что *мыслить*.

— Бэкон сказал: «Всё, обладающее заметным различием, по природе своей способно обозначать мысль». Нельзя отрицать, что числа в этом смысле способны…

— *Обозначать* мысль, да! Но обозначить мысль не значит *мыслить* — иначе перья и печатные прессы сами бы писали стихи.

— Может ли ваш разум манипулировать этой ложкой непосредственно? — Лейбниц взял серебряную ложечку и положил её на стол между ними.

— Без помощи рук — нет.

— И когда вы думаете о ложке, манипулирует ли ею ваш разум?

— Нет. Когда я о ней думаю, с ложкой ничего не происходит.

— Поскольку наш разум не может манипулировать физическими предметами — чашкой, блюдцем, ложкой, — он манипулирует *их символами*, хранящимися в нашем мозгу.

— Тут я соглашусь.

— Вы сами помогали епископу Честерскому придумать философский язык, который — и в этом главное его достоинство — приписывает каждой вещи положение в определённой таблице. Это положение может быть обозначено числом.

— Опять-таки соглашусь. Числа могут обозначать мысль, пусть и своего рода шифром. Но *мысль* — совершенно другое дело!

— Почему? Мы складываем, вычитаем и умножаем числа.

— Положим, число «три» обозначает курицу, а число «двенадцать» — кольца Сатурна. Сколько будет трижды двенадцать?

— Ну, нельзя делать это *произвольно*, — сказал Лейбниц, — как Евклид не мог бы, проведя произвольные окружности и прямые, получить теорему. Должна быть строгая система правил, по которым производятся действия над числами.

— И вы предлагаете построить для этого машину?

— *Pourquoi non*?[49] При помощи машины истину удастся запечатлеть, как на бумаге.

— И всё равно это не мысль. Способность мыслить дал человеку Господь.

— И как, по-вашему, Господь её нам даёт?

— Не знаю, сударь!

— Если подвергнуть перегонке человеческий мозг, удастся ли извлечь таинственную сущность — присутствие Божие на земле?

— Алхимики зовут её философской ртутью.

— Или, если Гук посмотрит на человеческий мозг в микроскоп, увидит ли он крошечные зубчатые колёса?

Даниель молчал. В голове все смешалось. Зубчатые колёса застопорились, философская ртуть капала из ушей.

— Вы уже объединились с Гуком против Ньютона касательно снежинок, могу ли я предположить, что вы придерживаетесь таких же взглядов касательно мозга? — с преувеличенной вежливостью продолжал Лейбниц.

Даниель некоторое время смотрел через окно в какую-то далёкую точку. Постепенно его мысль вернулась в кофейню. Он покосился на арифме-

---

[49] Примечания: 49
Почему бы нет? (*фр.*)

тическую машину.

— В одной из глав «Микрографии» Гук описывает, как мухи вьются над мясом, бабочки — над цветком, комары — над водой, создавая *видимость* разумного поведения. Однако он считает, что пары, исходящие от мяса, цветов и прочего, включают некий внутренний механизм. Другими словами, он считает, что эти твари не разумней ловушки, в которой животное, хватая приманку, тянет за нить, привязанную к мушкету. Дикарь, видя, как ловушка убивает зверя, сочтёт её разумной. Однако ловушка не разумна, разумен человек, который её придумал. Так вот если вы, изобретательный доктор Лейбниц, создадите машину, которая будет *якобы* мыслить, — будет ли она мыслить *на самом деле* или только отражать ваш гений?

— С тем же успехом вы могли бы спросить: мыслим ли мы? Или только отражаем Божий гений?

— Предположим, я бы задал этот вопрос — что бы вы ответили, доктор?

— Я бы ответил: и то, и другое.

— И то, и другое? Невозможно. Должно быть либо то, либо это.

— Не согласен с вами, мистер Уотерхауз.

— Если мы всего лишь механизмы, работающие

по правилам, которые положил Господь, то все наши действия предопределены, и мы на самом деле не мыслим.

— Однако, мистер Уотерхауз, вас воспитали пуритане, верящие в предопределение…

— Воспитали, да… — Он не договорил фразу.

— Вы больше не верите в предопределение?

— Оно не созвучно моим наблюдениям, как пристало хорошей гипотезе. — Даниель вздохнул. — Теперь я вижу, почему Ньютон избрал путь алхимии.

— Когда вы говорите «избрал», вы подразумеваете, что он *отринул* другой путь. Значит ли это, что ваш друг Ньютон исследовал идею механически детерминированного разума и отверг её?

— Если он исследовал её, то лишь в страшных снах.

Лейбниц поднял брови и некоторое время смотрел на чашки.

— Таков один из двух великих лабиринтов, в которые увлекается человеческая мысль: свободная воля или предопределённость. Вас учили верить в последнюю. Вы отвергли её — вероятно, в ходе мучительной душевной борьбы, — и стали мыслителем. Вы приняли современную, механистическую философию. И теперь эта самая

философия вроде бы ведёт вас назад к предопределенности. Тяжело.

— Однако вы утверждаете, что знаете третий путь, доктор. Расскажите о нём.

— Охотно бы, — промолвил Лейбниц, — но должен сейчас с вами расстаться и встретиться с моими спутниками. Можем ли мы продолжить беседу в другой раз?

На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс
Ноябрь, 1713 г.

В бытность свою молодым членом Королевского общества Даниель не раз препарировал человеческие головы и знает: череп, точно корпус корабля, сплошь опутан мокрым такелажем — внизу галсы сухожилий и брасы связок крепятся на кофель-планках нижней челюсти и височной кости, вверху, словно парус, растянуто широкое полотнище соединительной ткани. Покуда Даниель рысцой поднимается из трюма «Минервы», таща за собою мешок с боеприпасом, он чувствует, как все эти снасти неумолимо выбираются втугую. Каждая ступенька — щёлканье палов, как будто невидимые матросы вращают кабестан в его голове. Последний час он провёл ниже ватерлинии, не в самой уютной части корабля, зато вне опасности от летящих ядер, — разбивал тарелки молотком и горланил старые песни. Никогда в жизни он так не отдыхал душой. Однако сейчас он взбирается по трапу в самой середине корпуса: как раз в такое массивное «яблочко» будут це-

лить пираты, не уверенные в своей способности навести фальконеты на более мелкую мишень.

Посредине «Минервы», сразу за огромным стволом грот-мачты, начинается шахта, идущая до самого трюма; два винтовых трапа закручены в противоположные стороны, чтобы те, кто спускается, не мешали тем, кто поднимается; или чтобы дряхлые доктора с мешками битой посуды не путались под ногами у юнг, бегущих из трюма… с чем? Свет тусклый. Вроде бы это полотняные мешочки: тяжёлые раздутые многогранники с торчащими из углов ржавыми гвоздями. Даниель рад, что поднимается по другому трапу. Не хотелось бы напороться на такой мешок — верная смерть от столбняка.

На батарейной палубе происходит какая-то важная операция. Все орудийные порты закрыты, за исключением одного, приоткрытого на ширину ладони, в правом борту, то есть недалеко от того места, где появляется с трапа Даниель. Несколько относительно важных офицеров стоят у этого порта полукругом, как на крестинах. Сквозь доски сверху доносятся глухие удары. Это может быть обстрел; а если может быть, значит, он самый и есть. Кто-то выхватывает у Даниеля мешок и тащит к центру батарейной палубы. Матросы с

пустыми мушкетонами набрасываются на него, как шакалы на кость.

Даниеля резко отодвигает локтем человек, тянущий трос, пропущенный через маленькое отверстие над орудийным портом. В итоге: (1) Даниель падает на костлявый зад; (2) указанный порт раскрывается, являя квадрат внезапного света. В нём прорисован такелаж маленького судёнышка: так близко, что кто-нибудь помоложе мог бы на него перепрыгнуть. Человек — пират — с этого корабля направляет мушкет в сторону Даниеля, но его настигает яркий сноп старого фаянса с верхней палубы «Минервы». «Ежи бросай!» — кричит кто-то. Юнги с мешочками подбегают к орудийному порту и обрушивают лязгающий космос на палубу пиратского судёнышка. Через минуту та же процедура повторяется у левого борта — значит там тоже есть пиратский корабль. Орудийные порты снова закрываются, так что никто не успевает полюбоваться красочным зрелищем: выпущенными по ним созвездиями крупных свинцовых шариков.

Соотношение вопли/крики заметно возрастает. Даниель (помогая себе встать и бочком перебираясь в безопасный уголок поближе к грот-мачте, чтобы на досуге составить список жа-

лоб) предполагает, что вопят босоногие пираты, напарываясь на ржавые гвозди. Тут он слышит: «Пожар! Горим!» и видит, как через приоткрытый порт, клубясь в солнечном луче, вползает облако дыма. Какой-то инстинкт заставляет Даниеля позабыть ушибы вместе с растяжениями — он с проворством восьмилетнего юнги преодолевает последний отрезок трапа и оказывается в кружевной тени парусов. Уж лучше мушкетные пули, чем пожар внутри корабля.

Однако горит не «Минерва», а пиратский шлюп. Вдоль половины правого борта провисают концы. Каждый из них привязан к ржавому абордажному крюку, закрепленному за фальшборт или за выбленку. Пираты рубят абордажные тросы!

Теперь моряки бросаются к левому борту, где по-прежнему остаётся пиратский вельбот. «Минерва» кренится влево. Показывается вельбот, и в тот же миг по нему выпаливают два десятка мушкетов и мушкетонов. Даниель едва успевает увидеть результат — ужасающий, — как «Минерва» снова кренится вправо и закрывает вельбот.

Матросы бросают оружие в ящики и лезут по вантам. Ван Крюйк на юте отдает команды в блестящий медный рупор. Внизу много матросов, которые могли бы подсобить в работе, но они

не показываются. Даниель уже немного разобрался в тактике пиратской войны и понимает, что ван Крюйк хочет скрыть от Тича истинный размер команды.

Они больше часа шли с попутным северным ветром (хотя сейчас он, кажется, стал чуть западнее). Южная оконечность мыса Кейп-Код прямо впереди. Однако задолго до берега «Минерва» села бы днищем на грубый бурый песок. Поэтому она поворачивает и берёт курс круто к ветру. Простые слова — например, «поворачивает», — означают процедуру столь же сложную и разработанную в деталях, как избрание нового Папы. Рослые крепыши-матросы бегут к брасам и шкотам фока-рея и кливера; они занимают позиции на баке и на бушприте, но вежливо сторонятся, пропуская марсовых, которые взбираются по вантам, чтобы развернуть фок и что там ещё на фок-мачте выше. Это дремучий лес флотских частностей, наблюдать за ним — всё равно что смотреть, как пятьдесят врачей режут разом пятьдесят разных животных. Полвека назад Даниель восхитился бы, увлёкся такой жизнью, стал капитаном. Однако сейчас, как шкипер, спешащий зарифить или убрать паруса, пока чересчур свежий ветер не бросил корабль

на мель, он старается пропустить всё, без чего может обойтись, и понять главное: «Минерва» берёт круче к ветру. В ее кильватерной струе беспомощно дрейфует шлюп, паруса полощутся, матросы пытаются мокрой парусиной сбить пламя, не наступая при этом на «ежи». В нескольких милях севернее, на выходе из залива, поджидают ещё четыре корабля.

Дрожь пробегает по снастям «Минервы»: паруса вступают в новые отношения с ветром, всё натягивается втугую, как и положено. Она идёт в самый крутой бейдевинд, курсом норд-ост. Через несколько минут судно снова рядом с пиратским шлюпом, от которого поднимается уже не столько дым, сколько пар. Пираты пытаются поднять паруса. Очевидно, фаянсовый бой и ржавые гвозди полностью их деморализовали; никто уже толком не понимает, что и когда делать. Движения шлюпа неубедительны.

Тем удивительней, что ван Крюйк, без всякой надобности, снова даёт команду к повороту. «Минерва» разворачивается и встаёт на дыбы, тараня шлюп в середину корпуса, потом вздрагивает, вдавливая килем в воду его обломки. Дюжие баковые матросы абордажными саблями и топорами срубают с бушприта паутину чужого

такелажа. Ван Крюйк с юта наводит пистоль за борт и, распустившись внезапной лилией дыма, ускоряет тонущим пиратам дорогу в ад.

Собрание Королевского общества, Ганфлит-хаус
1673 г.

— Вновь заявляю протест, — сказал Роберт Бойль. — Неуважительно инвентаризовать внутренности нашего основателя, словно носильные вещи, оставленные им в сундуке.

— Отклоняется, — произнёс Джон Комсток, всё ещё председатель Королевского общества, пусть и уходящий. — Впрочем, из уважения к нашему исключительно щедрому хозяину я предоставлю решение ему.

Томас Мор Англси, герцог Ганфлитский, сидел во главе вызывающе нового стола в пышном барочном стиле. Другие большие шишки вроде Джона Комстока расположились вокруг стола в соответствии со столь же барочными правилами этикета. Англси вытащил из кармана часы и поднёс их к свету, льющемуся из огромного, в пол-акра, оконного стекла, исключительно чистого, бесцветного и недавно установленного.

— Сумеем ли мы уложиться в *пятьдесят секунд*? — спросил он.

Общий вздох. Краем глаза Даниель видел, как несколько членов Общества торопливо прячут часы в выцветшие, затёртые до лоска кармашки. Однако граф Апнорский и — кто бы мог подумать? — Роджер Комсток (сидящий рядом с Даниелем) полезли в новёхонькие карманы и вытащили новёхонькие часы, причем исхитрились повернуть их так, чтобы все увидели не *две*, а *три* стрелки. Третья двигалась с заметной скоростью — она отсчитывала секунды!

Многие украдкой покосились на Роберта Гука, Гефеста точных механизмов. Гук сидел с безучастным видом — вероятно, ему и впрямь было всё равно. Даниель взглянул на Лейбница; тот держал на коленях ящичек и отрешённо глядел вдаль.

Роджер Комсток тоже это приметил.

— Так немцы выглядят перед тем, как разрыдаться?

Апнор, перехватив взгляд Роджера:

— Или перед тем, как выхватить палаши и врубиться в ряды турок.

— Мы должны быть благодарны за то, что он вообще с нами, — пробормотал Даниель, заворожённый секундной стрелкой на часах Роджера. — Вчера пришло известие: в Майнце

скончался его покровитель.

— От смущения, надо полагать, — прошипел граф Апнорский.

Врач, явно чувствуя себя не в своей тарелке, выступил на середину комнаты. Она была большая, и герцог Ганфлитский называл её Гранд-Салон. По-французски это значит всего лишь большая-пребольшая комната, однако, названная по-заграничному, она казалась чуть больше и даже чуть грандиознее.

Для врача она была чересчур велика и чересчур грандиозна даже в качестве просто большой-пребольшой комнаты.

— Пятьдесят секунд? — переспросил он.

Последовавшая неловкая сцена заняла куда больше пятидесяти секунд. Члены Общества пытались втолковать врачу, что такое секунда, а у того прочно засело в голове, что речь о второй ступени диатонической гаммы.

— Вспомните минуту долготы, — крикнул кто-то из дальнего конца большой-пребольшой комнаты. — Как зовется ее шестидесятая часть?

— Секунда долготы, — отвечал врач.

— Тогда по аналогии одна шестидесятая часть от минуты времени…

— Секунда… времени, — проговорил врач и

что-то быстро просчитал в уме. Лицо у него вытянулось.

— Одна триста шестидесятая часа, — подсказал скучающий голос с французским акцентом.

— Время вышло! — выкрикнул Бойль. — Давайте перейдём к…

— Даем доктору ещё пятьдесят секунд, — объявил Англси.

— Благодарю, милорд. — Врач прочистил горло. — Может быть, джентльмены, покровительствовавшие изысканиям мистера Гука и теперь располагающие его остроумным прибором, соблаговолят информировать меня о ходе времени, покуда я зачитываю результаты посмертного вскрытия епископа Честерского…

— Идёт. Вы уже потратили двадцать секунд, — сказал граф Апнорский.

— Прошу тебя, Луи, давай проявим уважение к нашему покойному основателю и присутствующему здесь доктору.

— Первому, полагаю, наше уважение уже ни к чему, но ради второго соглашусь.

— Тишина! — потребовал Бойль.

— Большая часть органов епископа Честерского нормальна для человека его возраста, — сказал врач. — В одной почке я нашёл два маленьких

камня. В мочеточнике — песок.

Он сел с поспешностью пехотинца, только что заметившего белые дымки над полками неприятельских мушкетов. Комната загудела, словно была стеклянным пчельником Уилкинса, и врач разворошил её палкой. Однако пчелиная царица умерла, и пчёлы не могли сойтись во мнении, кого жалить.

— Как я и подозревал: прекращения оттока мочи не было, — объявил наконец Гук. — Только боль от почечного камня. Боль, понудившая епископа Честерского искать облегчения в опиатах.

Это было всё равно что выплеснуть стакан воды в лицо мсье Лефевру. Королевский аптекарь встал.

— Я горжусь тем, что помог епископу Честерскому умерить страдания последних месяцев, — сказал он.

Снова гул, хотя в другой тональности. Роджер Комсток встал и прочистил горло.

— Если бы мистер Пепис любезно показал нам *свой* камень…

Пепис с готовностью вскочил и сунул руку в карман.

Джон Комсток чугунным взглядом усадил обоих на место.

— Любезность излишняя, мистер… э… Комсток, поскольку мы все его видели.

Черёд Даниеля.

— Камень мистера Пеписа *огромен*, и все же ему удавалось немного мочиться. Учитывая узость просвета мочевыводящих путей, не может ли *маленький* камень закупорить его так же и даже основательней, чем *большой*?

Уже не гул, но общий одобрительный рокот. Даниель сел, Роджер Комсток осыпал его комплиментами.

— У меня были камни в почке, — сообщил Англси. — Готов засвидетельствовать, что это невыносимая пытка.

Джон Комсток:

— Как те, что применяет *папская инквизиция*?

— Не разберусь, что происходит, — шепнул Даниель соседу.

— Вам стоит разобраться, прежде чем вы что-нибудь ещё скажете, — отвечал Роджер.

— Сперва Англси и Комсток сообща марают память Уилкинса — и через мгновение вцепляются друг другу в глотки из-за религии.

— И что это означает, Даниель? — спросил Роджер.

Англси, не поведя бровью:

— Уверен, что выражу мнение всего Королевского общества, если в самых искренних выражениях поблагодарю мсье Лефевра, облегчившего епископу Честерскому муки последних месяцев.

— «Elixir Proprietalis LeFebure» пользуется большим успехом при дворе, в том числе среди юных дам, *не* страдающих изощрённо-мучительными заболеваниями, — сказал Комсток. — Некоторые так к нему пристрастились, что завели новую моду: засыпать и не просыпаться.

Разговор принял характер теннисной партии, в которой игроки перебрасываются шипящей гранатой. Заскрипели стулья: члены Королевского общества ерзали и тянули шеи, чтобы не пропустить зрелище.

Мсье Лефевр, не дрогнув, отбил мяч:

— С древних времён известно, что настой мака, даже в малых дозах, ослабляет здравость суждений *днём* и вызывает кошмары *ночью*. Вы не согласны?

Джон Комсток, чувствуя ловушку, промолчал. Однако Гук ответил:

— Это я могу подтвердить.

— Ваша приверженность истине, мистер Гук, пример для всех нас. Разумеется, в *больших* дозах

лекарство убивает. *Первое следствие* — ослабление умственных способностей — способно привести *ко второму*: смерти от избыточной дозы. Вот почему «Elixir Proprietalis LeFebure» следует принимать лишь под *моим* наблюдением; и вот почему я самолично навещал епископа Честерского каждые несколько дней в течение тех месяцев, что разум его был ослаблен лекарством.

Комстока раздражало упрямство Лефевра. Однако (как с опозданием осознал Даниель) Комсток преследовал и другую цель — не только замарать Лефевра — и в этой цели был един с Томасом Мором Англси, своим всегдашним соперником и врагом. Они переглянулись.

Даниель встал. Роджер схватил его за рукав, но не мог схватить за язык.

— В последние недели я неоднократно навещал епископа Честерского и не видел, чтобы его умственные способности ослабели! Напротив…

— Дабы кому-нибудь не пришла в голову вздорная мысль, будто мы несправедливы к покойному, — проговорил Англси, бросая на Даниеля яростный взгляд, — ответьте, мсье Лефевр: считал ли епископ ослабление умственных способностей приемлемой платой за то, чтобы провести последние несколько месяцев с близ-

кими?

— О, он платил её с охотой, — сказал аптекарь.

— Вероятно, потому-то в последнее время он так мало сделал на ниве натурфилософии, — произнёс Комсток.

— Да, и вот почему стоит оставить без внимания его последние…

— Просчёты?

— Поползновения?

— Опрометчивые вылазки в низменную область политики…

— Его ум ослабел… сердце оставалось, как всегда, чистым… он искал утешения в прекраснодушных жестах.

Этих отравленных панегириков Даниель не снёс — через мгновение он был уже в саду Ганфлит-хауса перед белой мраморной нимфой, которую бесконечно тошнило в прудик струёй чистой воды. Роджер Комсток вышел следом.

Всюду стояли мраморные скамьи, но Даниель не мог сидеть. Его душила ярость. Даниель не был особенно подвержен этой страсти, однако сейчас понимал, почему греки считали фурий своего рода быстрокрылыми ангелами с бичами и факелами, которые вырываются из Эреба и доводят смертных до умоисступления. Роджер,

глядя, как мечется Даниель, легко бы поверил, что того хлещут невидимыми бичами, а лицо его опалено факелами.

— О, мне бы меч! — вскричал Даниель.

— А вы не думаете, что тут бы вам сразу и конец?

— Знаю, Роджер. Иные сказали бы, что есть вещи похуже смерти. Слава Богу, здесь не было Джеффриса, и он не видел, как я сбежал словно вор! — Его голос сорвался, глаза наполнились слезами. Ибо это было самое страшное: в конечном итоге он *ничего* не сделал, только выбежал из Гранд-Салона.

— Вы умны, но не знаете, что делать, — сказал Роджер. — Со мной всё наоборот. Мы друг друга дополняем.

Даниель готов был вспылить, но потом рассудил, что дополнять Роджера Комстока — при его-то изъянах! — большая честь. Он оглядел бывшего однокашника с ног до головы, возможно, обдумывая, не дать ли тому в рожу. Роджер не столько *носил* парик, сколько *пребывал* в его просторах, и сам парик был великолепен. Даже будь Даниель человеком иного склада, у него бы не поднялась рука испортить такое великолепие.

— Вы умаляете себя, Роджер, — очевидно, вы

провернули что-то исключительно умное.

— О, вы приметили мой наряд! Надеюсь, вы не находите его излишне щегольским.

— Я нахожу его очень *дорогим*.

— Вы хотите сказать, для Золотого Комстока.

Роджер подошёл ближе. Даниель нарочно говорил неприятные слова, чтобы Роджер его оставил, но тот воспринимал их как прямоту — знак близкой дружбы.

— Во всяком случае, вы выглядите куда лучше, чем при нашей последней встрече. — Даниель имел в виду случай в лаборатории, теперь уже давний — и у него, и у Роджера брови успели отрасти. С тех пор он Роджера не видел: Исаак, вернувшись и увидев следы взрыва, выставил того не только из лаборатории, но и вообще из Кембриджа. Таков был конец научной карьеры, которую и без того, вероятно, следовало пресечь из жалости. Даниель не знал, куда сбежала их Золушка, но, судя по всему, Роджер сумел неплохо устроиться.

Сейчас он явно не понимал, о чём речь.

— Не припомню… вы видели меня на улице перед отъездом в Амстердам? Тогда я впрямь выглядел довольно жалко.

Даниель проделал лейбницевский опыт: по-

пытался взглянуть на события той ночи глазами Роджера.

Роджер работал в темноте: обычная предосторожность, чтобы порох не вспыхнул от огня. И не большая помеха, поскольку дело было самое простое: растирать порох в ступке и ссыпать в мешок. По звуку и по ощущению пестика под рукой он мог определить, что порох истёрт до какой уж там ему нужно кондиции. Соответственно, он работал вслепую, менее всего желая увидеть свет, то есть искру и неминуемый взрыв. Поглощённый опасной работой Роджер не знал, что Даниель вернулся — да и с какой стати тому было возвращаться? Роджер не слышал рукоплесканий и далёкого гула голосов, означавших бы конец пьесы. Шагов он тоже не слышал: Даниель, полагая, что подкрадывается к крысе, старался ступать бесшумно. Плотная ширма заслоняла свечу — куда менее яркую, чем отблески печей. Внезапно пламя оказалось перед самым лицом Роджера. В других обстоятельствах он бы смекнул что к чему, однако, стоя с мешком пороха в руках, предположил худшее — искру, поэтому отбросил мешок и ступку, а сам упал навзничь. В следующее мгновение грянул взрыв. Роджер не видел и не слышал ничего, пока не выбежал из

дома. У него не было ни малейших оснований подозревать, что Даниель заходил в лабораторию. С тех пор они не виделись.

Даниель мог сказать Роджеру правду, а мог соврать, что действительно видел его перед отъездом в Амстердам. Правда представлялась безопасной, ложь могла завести в ловушку — вдруг Роджер на самом деле его испытывает?

— Я думал, вы знаете, — произнес Даниель. — Я был в лаборатории, когда это случилось. Зашёл взять Исаакову статью о касательных. Чуть сам на воздух не взлетел.

Наконец до Роджера дошло; лицо его осветилось как будто молнией. Однако, будь у Даниеля гуковы часы, он бы засёк лишь несколько секунд до того, как оно приняло прежнее глуповатое выражение. Так колпачок для тушения свеч опускается на горящий фитиль; трепетный свет, наполнявший взор, гаснет, остаётся лишь знакомый скучный блеск старого серебра.

— Мне казалось, что я слышал чьи-то шаги! — воскликнул Роджер. Это была очевидная ложь, однако она облегчила дальнейший разговор.

Даниелю хотелось спросить, чего ради Роджер возился с порохом, затем решил подождать, пока тот сам скажет.

— Итак, вы поехали в Амстердам, чтобы оправиться от пережитого волнения.

— Сначала туда.

— Затем в Лондон?

— Затем к Англси. Милейшее семейство. Общение с ними принесло свои выгоды. — Роджер потянулся было к парику, но не отважился его тронуть.

— Что?! Вы же не поступили к ним *на службу*?

— Нет, нет! Всё куда лучше. Я располагаю *сведениями*. В прошлом столетии некоторые Золотые Комстоки эмигрировали — ладно, ладно, кое-кто сказал бы *сбежали* в Голландию. Осели в Амстердаме. Я нанёс им визит. От них я узнал, что де Рёйтер направил свой флот в Гвинею, чтобы захватить невольничьи порты герцога Йоркского. Поэтому я продал акции Гвинейской компании, покуда они были ещё в цене. От Англси я узнал, что король Луи намерен вторгнуться в Голландию, но не может начать кампанию, пока не купит зерно — ни за что не угадаете, *у кого*.

— Не может быть!

— Именно так — голландцы продали Франции зерно, необходимое Людовику для вторжения в Голландию! Так или иначе, на деньги от продажи акций Гвинейской компании я закупил в

Амстердаме изрядное количество зерна до того, как король Луи взвинтил цены! Вуаля! И теперь у меня гуковы часы, роскошный парик и участок земли на Уотерхауз-сквер!

— Вы купили… — Даниель уже собирался сказать: «Участок нашей семейной земли», когда увидел, что через клумбу идет Лейбниц, прижимая к груди мозг-в-ящике.

— Господин Лейбниц… Королевское общество потрясено вашей арифметической машиной! — воскликнул Роджер.

— Но не моими математическими доказательствами, — произнёс удручённый немецкий натурфилософ.

— Напротив, их признали необычайно изящными! — возразил Даниель.

— Мало чести в 1672 году *изящно* доказать теорему, которую какой-то шотландец *варварски* доказал в 1671-м!

— Вы никак не могли этого знать, — заметил Даниель.

— Такое случается сплошь и рядом, — объявил Роджер с видом знатока.

— Господин Гюйгенс должен был знать, когда давал мне эти задачи для упражнения, — пробурчал Лейбниц.

— И, вероятно, знал, — кивнул Даниель. — Ольденбург пишет ему раз в неделю.

— Всем известно, что ГРУБЕНДОЛЬ продает нас иностранцам! — Роберт Гук проломился через лавровый куст и направился к мраморной скамье, шатаясь от очередного приступа головокружения. Даниель стиснул зубы, ожидая драки, но Лейбниц оставил выпад в сторону Ольденбурга без внимания, как будто Гук просто испортил воздух.

— Можно выразиться иначе: господин Ольденбург держит господина Гюйгенса в курсе последних достижений английской науки, — сказал Роджер.

Даниель подхватил:

— Гюйгенс, вероятно, знал от него, что эти теоремы доказаны, и дал их вам, доктор Лейбниц, чтобы испытать ваши силы!

— Не предвидя, — заключил Роджер, — что превратности войны и дипломатии приведут вас на британские берега, где вы, ничтоже сумняшеся, представите эти результаты Королевскому обществу!

— А все Ольденбург — это он крадёт идеи моих часов и переправляет Гюйгенсу! — добавил Гук.

— И все же каково моё положение: представить

теоремы Королевскому обществу, только чтобы какой-то джентльмен в килте поднялся с последних рядов и объявил, что доказал год назад…

— Все серьёзные люди понимают, что вашей вины тут нет.

— Это удар по моей репутации.

— Не страшитесь за свою репутацию. Когда арифметическая машина будет завершена, вы затмите всех! — объявил Ольденбург, катясь по дорожке, как капелька ртути по желобу.

— Всех *на Континенте*, возможно, — фыркнул Гук.

— Однако все французы, способные оценить мою мысль, увязли в тщетных попытках угнаться за мистером Гуком! — сказал Лейбниц. Это была вполне профессиональная лесть — такие вещи облегчают жизнь и создают репутации при маленьких европейских дворах.

Ольденбург закатил глаза и тут же резко выпрямился, перебарывая отрыжку.

Гук сказал:

— У меня есть замысел собственной арифметической машины, хотя нет *времени*, чтобы его завершить.

— Да, но придумали ли вы, на что её употребить, когда она будет завершена? — с жаром

спросил Лейбниц.

— Рассчитывать логарифмы, полагаю, и заменить палочки Непера.

— Зачем утруждать себя такой скучной материей, как логарифмы?!

— Они — *орудие*, ничего больше.

— И для чего вы хотите употребить это орудие? — так же пылко спросил Лейбниц.

— Если бы я верил, что мои слова останутся в этих четырёх стенах, доктор, я бы ответил на ваш вопрос, да опасаюсь, что они будут переправлены в Париж с *быстротой*, пусть и не с *грацией* легконогого вестника богов. — Глядя прямо в глаза Ольденбургу.

Лейбниц сник. Ольденбург подошёл и начал его подбадривать — к ещё большему огорчению Лейбница, понимавшего, что дружба Ольденбурга навсегда опорочит его в глазах Гука.

Гук вытащил из нагрудного кармана длинный замшевый футляр и раскрыл его на коленях. Внутри были ровно уложены всевозможные перья и палочки. Гук вытащил тонкий китовый ус, отложил футляр, раздвинул колени, наклонился вперёд, вставил китовый ус глубоко в горло, пошерудил им и тут же принялся блевать желчью. Даниель наблюдал взглядом эмпирика, покуда

не убедился, что в рвоте нет крови или глистов, то бишь оснований для серьёзной тревоги.

Ольденбург что-то говорил Лейбницу на верхненемецком, на котором Даниель не понимал ни слова — вероятно, потому-то Ольденбург на него и перешёл. Однако Даниель разобрал несколько фамилий — сперва покойного курфюрста Майнцского, затем нескольких парижан, таких как Кольбер.

Он обернулся, намереваясь продолжить разговор с Роджером, но тот посторонился, давая дорогу своему дальнему родичу. Граф Эпсомский надвигался на Даниеля с таким видом, будто не прочь столкнуться с ним лбами.

— Мистер Уотерхауз.

— Милорд.

— Вы любили Джона Уилкинса.

— Почти как отца, милорд.

— И вы хотите, чтобы будущие поколения англичан чтили его имя.

— Молю Бога, чтобы англичанам хватило ума отдать Уилкинсу должное.

— Отвечу вам: эти англичане будут жить в стране с одной государственной церковью. Если, с Божьей помощью, верх одержу я, это будет англиканская церковь. Если герцог Ганфлит-

ский — римская. Возможно, чтобы разрешить наш спор, потребуется гражданская война, или две, или три. Возможно, я убью Ганфлита или Ганфлит — меня, возможно, моим сыновьям и внукам предстоит сражаться с его потомками. И все же, несмотря на роковые отличия, мы с ним *едины* в убеждении, что не может быть страны без государственной церкви. Неужто вы вообразили, будто горстка фанатиков в силах победить объединённых ганфлитов и эпсомов всего мира?

— Я не склонен тешить себя фантазиями, милорд.

— Так вы признаёте, что в Англии будет одна государственная церковь?

— Я признаю, что это весьма вероятно.

— И кем будут те, кто противодействовал государственной церкви?

— Не знаю, милорд… чудаковатыми епископами?

— Отнюдь. Они будут еретиками и предателями, мистер Уотерхауз. Превратить еретика и предателя в чудаковатого епископа — задача не из простых. Такого рода трансмутация требует тайной работы множества алхимиков; недоставало лишь, чтобы ученик чародея, забредя ненароком, принялся всё ронять.

— Прошу извинить мою недогадливость, милорд. Я действовал под влиянием порыва, ибо мне показалось, что на него нападают.

— Нападали не на *него*, мистер Уотерхауз. Нападали на *вас*.

* * *

Даниель шёл куда глаза глядят и, очнувшись перед Комсток-хаусом, торопливо свернул на Сент-Джеймские поля, разделённые теперь на аккуратные участки, где трава пробивалась через строительную грязь. Он сел на дощатую скамью и внезапно осознал, что Роджер Комсток всю дорогу шёл с ним и (вероятно) говорил без умолку. Однако тот решительно отказался вводить свои панталоны в соприкосновение с занозистой скамьей, усыпанной хлебными крошками, табачным пеплом из трубок и крысиным дерьмом.

— О чём говорили Лейбниц и Ольденбург? Входит ли немецкий в число ваших многочисленных познаний, Даниель?

— Думаю, они говорили о том, что Лейбниц лишился патрона и ему хорошо бы найти нового — по возможности, в Париже.

— О, трудно такому человеку пробиться без покровителя!

— Да.

— Мне показалось, Джон Комсток на вас зол.

— Очень.

— Его сын командует одним из наших боевых кораблей. Он нервничает, раздражён — не в себе.

— Напротив, я убеждён, что видел настоящего Джона Комстока. Можно смело сказать, что моей карьере в Королевском обществе конец — покуда он остаётся председателем.

— Знающие люди говорят, что на следующих выборах председателем станет герцог Ганфлитский.

— Ничуть не лучше. В ненависти ко мне Ганфлит и Эпсом единодушны.

— Сдаётся, и вам не помешал бы покровитель. Кто-то, кто бы вам сочувствовал.

— И кто же мне сочувствует?

— Я.

Мгновение спустя Даниель осознал, что это не просто смешно. Оба некоторое время сидели молча.

Что-то вроде праздничного шествия двигалось в сторону Чаринг-Кросс под барабанный бой и то ли дурное пение, то ли мелодичные выкрики. Даниель с Роджером встали и пошли к Пэлл-

Мэлл — взглянуть, что творится.

— Вы делаете мне какое-то предложение? — спросил наконец Даниель.

— За этот год я кое-что заработал, и всё же я далеко не Эпсом и не Ганфлит! Я вложил почти все свободные средства в участок, купленный у ваших братьев.

— Который?

— Большой, сразу за углом от дома, что выстроил себе мистер Релей Уотерхауз… Кстати, что вы о нём думаете?

— О доме? Ну… он очень большой.

— Хотите его затмить?

— О чём вы?

— Я хочу возвести дом ещё больше. Однако я плохо учил математику в Тринити-колледже, не то что вы, Даниель. Я прошу вас спроектировать дом и руководить строительством.

— Но я не архитектор!

— Гук тоже не был архитектором, пока не взялся строить Бедлам и другие важные здания. Ручаюсь, вы поставите дом не хуже него и уж точно лучше того остолопа, которого подрядил ваш брат.

Они вышли на Пэлл-Мэлл, уставленную красавцами-особняками. Даниель уже рассматривал

окна и очертания крыш, приглядывая идеи. Однако Роджер смотрел на шествие: несколько сотен более или менее типичных лондонцев, но с необычно высокой долей диссидентских и даже англиканских проповедников. Они несли чучело на длинном шесте: соломенного человека в длинном церковном облачении, непотребно ярком и украшенном, с тиарой на голове и епископским жезлом в руке. Папа. Даниель с Роджером отступили к краю дороги и сто тридцать четыре секунды (по часам Роджера) смотрели, как толпа течёт мимо и выплескивается в Сент-Джеймский парк. Выбрав место, одинаково хорошо видное из Уайт-холла и Сент-Джеймского дворца, участники процессии воткнули шест в землю.

Со стороны конногвардейских казарм к ним уже двигались солдаты: несколько верховых, но по большей части пехотинцы, выведенные так быстро, что не успели даже построиться в правильные шеренги. Они были в чудных, иноземного вида мундирах и островерхих шапках, смутно напоминающих польские[50]. Даниель сперва принял их за драгун, потом различил ядра

[50] Примечания: 50

Король Людовик XIV нарядил своих гвардейцев в хорватов; Карлу II логично было нарядить своих поляками — народ этот жил в вечной войне с турками и по сию пору славится неукротимой отвагой.

с ручками — гранаты! — свисающие с ремней и вздрагивающие при каждом шаге.

Участники шествия также это приметили. Быстро посовещавшись, они факелами подожгли край папского одеяния и брызнули в стороны, словно осколки гранаты. К тому времени, как подоспели гренадеры, участники шествия уже растворились в городской толпе. Солдатам осталось только свалить горящее чучело и затоптать его ногами — следя, разумеется, чтобы пламя не коснулось гранат.

— Умно просчитано, — был вердикт Роджера. — Это королевские гвардейцы — новый полк герцога Йоркского. Да, ими командует Джон Черчилль, но не обольщайтесь, на самом деле они — люди Йорка.

— Что значит «умно просчитано»? Вы говорите так, словно смакуете хороший портвейн.

— Ну, можно было сжечь чучело где угодно, так ведь? Однако решили жечь именно здесь. Почему? Опаснее места не сыскать — рядом гренадеры. Ответ очевиден. Герцогу Йоркскому намекают: если он не откажется от папистских замашек, следующим сожгут его чучело… если не его *лично*.

— Даже я понял тогда в Кембридже, что теперь

в фаворе Ганфлит и младшие Англси, — сказал Даниель. — Эпсома же высмеивают в пьесах, и толпа осаждает его дом.

— Ничего удивительного, если вспомнить слухи.

— Какие слухи? — Даниель едва не добавил: «Мне нет дела до глупых слухов», однако любопытство взяло верх над желанием покрасоваться.

— Что причины наших военных неуспехов — в дурных пушках и порохе.

До сих пор Даниель не слышал, чтобы кто-нибудь вслух жаловался на ход войны. Самая мысль, что Англия и Франция вместе не могут разбить горстку голландцев, представлялась полнейшей нелепицей. Однако сейчас он задним числом вспомнил, что давненько не было победных реляций. Немудрено, что чернь ищет козла отпущения.

— Пушка, которая взорвалась при «Осаде Маастрихта», — спросил Даниель, — была ли она дурного качества? Или всё подстроили враги Эпсома?

— Враги у него есть, — только и отвечал Роджер.

— *Это* я вижу, — сказал Даниель, — как и то,

что герцог Ганфлитский — один из них. Вижу, что он вместе с герцогом Йоркским и другими папистами забирает всё больше власти. Не могу взять в толк другого: почему два недруга, Эпсом и Ганфлит, несколько минут назад в один голос чернили память Джона Уилкинса?

— Эпсом и Ганфлит — как два капитана, спорящие за власть на корабле. Каждый зовёт другого бунтовщиком, — объяснил Роджер. — В этом сравнении корабль — страна, в которой господствует одна церковь — англиканская или католическая, в зависимости от того, кто из них возьмёт верх. Есть и третья партия — в кубрике, опасные головорезы, плохо вооружённые и неорганизованные. Что хуже всего, у них сейчас нет определённого вожака. Когда диссиденты, как их называют, кричат: «Долой Папу!», это музыка для англикан, чья церковь построена на ненависти ко всему римскому. Когда они кричат: «Долой принудительное единоверие! Да здравствует свобода совести!», это бальзам на душу католиков, которые не могут открыто исповедовать свою веру. Вот почему в разное время то одна, то другая партия считает диссидентов своими союзниками. Однако когда диссиденты хотят упразднить государственную церковь и превратить всю Ан-

глию в один большой Амстердам, вождям обеих партий кажется, что обезумевшие диссентеры подносят зажженный фитиль к пороховой бочке, чтобы *взорвать весь* корабль. Тогда они объединяются, дабы их раздавить.

— Вы хотите сказать, что наследие Уилкинса, декларация религиозной терпимости, для них — пороховая бочка?

— Запал, ведущий к пороховой бочке. Они должны его затоптать.

— И заодно растоптать меня.

— Потому что вы, не сочтите за обиду, подставили себя самым неумным образом.

— А что мне было делать, когда они на него нападали?

— Прикусить язык и выжидать, — сказал Роджер. — Всё может перемениться в *секунду*. Вспомните, что мы сейчас видели! Диссентеры жгут чучело Папы, угрожая папистам! Если бы вы, Даниель, шли во главе шествия, Эпсом числил бы вас своим союзником в борьбе с Англси.

— Этого мне как раз и недоставало — герцога Ганфлитского в качестве личного врага!

— Тогда болтайте о свободе совести! В этом превосходство вашей позиции, Даниель, если только вы захотите раскрыть глаза. Лавируя так тонко,

чтобы в любой момент можно было с легкостью откреститься от прошлого манёвра, вы будете иметь на своей стороне то Эпсома, то Ганфлита.

— Попахивает малодушным вилянием, — заметил Даниель, вызывая в памяти таблицы философского языка.

Не опровергая его слов, Роджер сказал:

— Это способ добиться того, о чём мечтал Дрейк.

— Как?! Если вся власть у Англси и Серебряных Комстоков!

— Очень скоро вы убедитесь, что глубоко заблуждаетесь.

— Н-да? Есть ещё сила, о которой мне ничего не известно?

— Да, — отвечал Роджер. — Ею полны подвалы вашего дяди Томаса.

— Золото ему не принадлежит. Это сумма его обязательств.

— Вот именно! Вы попали в самую точку! Здесь ваша надежда. — Роджер сделал шаг, чтобы идти. — Надеюсь, вы обдумаете мое предложение. Сэр.

— Считайте, что уже обдумываю. Сэр.

— Даже если в вашей жизни нет времени на дома, может быть, я выпрошу у вас несколько

часов для моего театра…

— Театра?!

— Я прикупил долю в «Королевских комедиантах»; мы поставили «Любовь в ванной» и «Похотливого врача». Время от времени нам нужна помощь в устройстве громов и молний, явлении демонов, посещении ангелов, отсечении голов, смены пола, повешениях, родах и проч.

— Ну, не знаю, что скажут мои родные, если я займусь такими вещами, Роджер.

— Пфу! Гляньте, чем они сами заняты! Теперь, когда Апокалипсис не случился, вам придётся искать новое приложение своим многочисленным дарованиям.

— По крайней мере я могу следить, чтобы вы не взорвали себя на куски.

— От вас ничего не скроется, Даниель. Да, вы правильно угадали. Той ночью в лаборатории я готовил порох для театральных эффектов. Если истереть его потоньше, он горит быстрее — ярче вспышка, больше впечатление.

— Я заметил, — кивнул Даниель.

От этих слов Роджер рассмеялся, и от его смеха у Даниеля потеплело на сердце — таким образом они вошли в своего рода спираль.

— У меня встреча с доктором Лейбницем в

кофейне неподалёку от театрального квартала. Почему бы нам не пройтись вместе?

* * *

— Возможно, вам попадался мой недавний труд — «О Боговоплощении».

— Ольденбург упоминал его, но, признаюсь, мне не хватило духу прочесть.

— В последней беседе мы коснулись того, как трудно примирить механистическую философию со свободной волей. Эта проблема во многом созвучна теологическому вопросу о воплощении.

— В обоих случаях духовная субстанция пронизывает тело, по сути, механическое, — согласился Даниель. Щеголи и театралы, косясь на них, садились за столики подальше, так что в людной кофейне вокруг Лейбница с Даниелем образовалось вдоволь свободного места.

— Загадка Троицы — в таинственном единстве божественной и человеческой природ Христа. Равным образом, споря о том, *думает* ли механизм — скажем, муха, летящая на запах мяса, ловушка либо арифметическая машина — или только *демонстрирует гений* своего творца, мы спрашиваем: наделены ли эти машины *бестелесным принципом* или, вульгарно говоря, *духом*,

который, подобно Богу и ангелам, обладает свободной волей.

— И вновь мне слышатся отзвуки схоластики.

— Мистер Уотерхауз, вы делаете общую ошибку! Вы считаете, что может быть *либо* Аристотель, *либо* Декарт, что две эти философии несовместимы. Напротив! Мы можем принять современное механистическое объяснение в физике и сохранить аристотелеву концепцию самодостаточности.

— Извините мой скепсис…

— Проявлять скепсис — ваша обязанность, мистер Уотерхауз, тут нечего извинять. Объяснять, как согласуются эти учения, было бы долго, скажу одно: я сумел их примирить, допустив, что всякое тело содержит бестелесный принцип, который я отождествляю с *cogitatio*.

— Мыслью.

— Да!

— И где же она помещается? Картезианцы считают, что в шишковидной железе.

— Бестелесный принцип не имеет местоположения в столь вульгарном смысле, однако его *организующее действие* проявляется в теле, и мы можем узнать о его существовании по этому проявлению. В чём разница между человеком, который только что умер, и тем, что умрёт через

несколько секунд, отмеренных часами мистера Гука?

— Христианин должен ответить: один обладает душой, другой — нет.

— Превосходный ответ! Нужно лишь перевести его на новый философский язык.

— Вы бы перевели его, доктор, сказав, что живое тело пронизано организующим принципом, который есть зримый признак того, что механические тела, по крайней мере до поры до времени, едины с нематериальным принципом, именуемым Мыслью.

— Верно. Помните наш разговор о символах? Вы признали, что ваш разум не может манипулировать ложкою непосредственно и манипулирует её символом внутри себя. Бог может манипулировать ложкою непосредственно — мы зовём это чудом. Однако *тварные* разумы не могут — им нужен пассивный элемент, посредством которого действовать.

— Тело.

— Да.

— Однако вы сказали, что *cogitatio* и вычисление — одно и то же. В философском языке им бы соответствовало одно слово.

— Я пришёл к выводу, что они суть одно.

— Тем не менее ваша машина производит вычисления. Потому вынужден спросить: в какой момент она наполняется бестелесным принципом Мысли? Вы сказали, что *cogitatio* пронизывает тело и каким-то образом преобразует его в механическую систему, способную к действию. Пока соглашусь. В случае арифметической системы вы заходите с другого конца: создаете механическую систему в надежде, что она воспримет в себя дух свыше, как Пресвятая Дева. Когда происходит Благовещение? Когда вы вставляете последнее колесико? Когда поворачиваете ручку?

— Вы мыслите чересчур буквально, — отвечал Лейбниц.

— Однако вы сами сказали, что не видите противоречия между учениями о разуме как о механическом устройстве и о свободной воле. В таком случае должен наступить миг, когда ваша арифметическая машина будет уже не набором шестерён, но телом, в котором воплощен некий ангельский дух.

— Противопоставление ложное! — возразил Лейбниц. — Бестелесный принцип сам по себе не даёт нам свободы воли. Если мы признаём — а мы должны признавать, — что Бог вездесущ и

знает будущее, то Ему ведомы наши поступки до того, как мы их совершим — даже если мы ангелы, — и нельзя сказать, что мы обладаем свободной волей.

— Этому меня с детства учили в церкви. Так что перспективы вашей философии безрадостны, доктор, — свободная воля не согласуется ни с богословием, ни с натурфилософией.

— Так вы говорите, мистер Уотерхауз, и тем не менее вы согласны с мистером Гуком, что есть загадочное созвучие между Природой и работой человеческого мозга. Откуда оно берётся?

— Не имею ни малейшего представления, доктор. Разве что правы алхимики: вся материя — и Природа, и наш мозг — пропитана одной философской ртутью.

— И гипотеза эта нам обоим не по душе.

— В чём состоит *ваша* гипотеза, доктор?

— Подобно двум лучикам снежинки, Материя и Разум растут из общего центра, и хотя они растут независимо и несвязанно, развиваясь сообразно собственным правилам, тем не менее вырастают в полной гармонии и обладают одинаковой формой.

— Это всё метафизика, — только и смог ответить Даниель. — Что есть общий центр? Бог?

— Бог изначально устроил так, чтобы Разум мог постигать Материю. Однако Он делает это не постоянным вмешательством в работу Разума и развитие Вселенной… скорее Он с самого начала создал гармоничной природу Разума и Натуры.

— Итак, я обладаю полной свободой действий… но Бог заранее знает, что я сделаю, поскольку в моей природе действовать в гармонии с миром, и Бог — соучастник этой гармонии?

— Да.

— Странно, что у нас произошёл этот разговор, доктор, поскольку в последние несколько дней, впервые в жизни, я увидел, что передо мной открываются различные возможности, которыми я могу воспользоваться, коли захочу.

— Вы говорите так, словно нашли себе покровителя.

При упоминании Роджера в качестве покровителя у Даниеля дёрнулся кадык. Однако он не мог отрицать догадливости Лейбница.

— Может статься.

— Рад за вас. Смерть моего покровителя оставила мне очень мало возможностей.

— Наверняка в Париже есть знатные люди, которые вас ценят.

— Вообще-то я подумываю отправиться в Лей-

ден к Спинозе.

— Голландия скоро падёт… худшего места вам не сыскать.

— В Голландской республике хватит кораблей, чтобы перевезти двести тысяч человек из Европы, вокруг мыса Доброй Надежды, к самым дальним островам Азии, до которых Франция не дотянется.

— Мне это представляется чистейшей фантазией.

— Поверьте. Голландцы уже составляют планы. Вспомните, они создали половину своей страны трудом собственных рук! То, что сделано в Европе, можно повторить в Азии. Если Соединённые провинции окажутся под пятой Людовика, я хочу быть там, взойти на корабль, отправиться в Азию и вместе со всеми строить новую республику, подобную Новой Атлантиде, которую описал Фрэнсис Бэкон.

— Возможно, для вас, сударь, такие приключения — вещь статочная. Для меня — не более чем романтическая выдумка, — сказал Даниель. — До сегодня я всегда делал что должен, и это вполне согласовывалось с предопределением, в которое меня научили верить. Теперь, возможно, у меня есть выбор, и выбор практический.

— Что бы ни вызывало поступки, результат их бесповоротен, — заявил доктор.

Даниель вышел из кофейни и до конца дня бродил по Лондону. Он двигался, как комета, описывая длинные петли, тяготеющие тем не менее к нескольким неподвижным полюсам: Грешем-колледжу, Уотерхауз-скверу, голове Кромвеля и развалинам собора Святого Павла.

Гук — больше него как натурфилософ, но Гук занят восстановлением города и полуневменяем из-за воображаемых козней врагов. Ньютон — ещё более велик, но увяз в алхимии и толкованиях к Апокалипсису. Даниель надеялся, что сумеет проскользнуть меж двух исполинов и сделать себе имя. И тут явился *третий* исполин. Подобно двум другим, сейчас он отвлечён смертью патрона и мечтами о свободной азиатской республике. Однако он не будет отвлекаться вечно.

Смешно до слёз. Господь вложил в него желание стать великим натурфилософом — и отправил в мир вместе с Ньютоном, Гуком и Лейбницем.

У Даниеля было образование, чтобы стать пастором, и связи, чтобы получить место проповедника в Англии или в Массачусетсе. Он мог бы вступить на этот путь легко, как войти в кофейню.

Однако ноги вновь и вновь выносили его к развалинам собора — трупу посреди весёлой пирушки, — и не только потому, что они находились в центре.

На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс
Ноябрь, 1713 г.

Вот эти-то частицы, что огнём
Насыщены подспудным, нам достать
Потребно из глубоких, мрачных недр,
Забить потуже в длинные стволы,
Округлые и полые, поджечь
С отверстия другого, и тогда,
От малой искры, вещество частиц,
Мгновенно вспыхнув и загрохотав,
Расширится и, развивая мощь
Огромную, метнёт издалека
Снаряды, полные такого зла,
Что, всё сметая на своем пути,

Повергнут недругов и разорвут
На клочья.

Мильтон, «Потерянный рай» [51]

Во время короткой передышки между стычками Даниель сидит у себя в каюте и напряжён до предела. Это не холодная собранность человека, вовлечённого в убийство других людей (бой идёт с утра, так что чего уж теперь), а сосредоточенность игрока, поставившего на кон свою жизнь. Вернее, чью жизнь поставил на кон капитан, у которого — мягко выражаясь — богатый и сложный внутренний мир. Разумеется, всходя на корабль, вы вверяете свою жизнь капитану, *но…*

Кто-то смеётся на юте. Неуместное веселье расходится с мрачным настроением Даниеля и потому злит. Смех презрительный и несколько злорадный, но вполне искренний. Даниель уже ищет, чем бы стукнуть в палубу над головой, потом осознаёт, что смеётся ван Крюйк и что развеселила капитана некая техническая подробность, которая по-голландски зовётся «зог».

---

[51] Примечания: 51
Перевод Арк. Штейнберга.

Грохот на верхней палубе[52], и «Минерва» вновь превращается в совершенно иное судно; она сильнее кренится, боковая качка заметно усиливается. Даниель догадывается, что переместили какой-то груз. Он встает, выходит на шканцы и убеждается, что так и есть: здесь стоят короткие пузатые каронады, по сути — многотонные мушкетоны с малой дальностью и низкой точностью стрельбы. Однако с широкими жерлами, в которые канониры забивают всевозможные железяки: ядра, соединённые попарно цепями, гвозди, гроздья крупной картечи, уложенные в деревянные поддоны и закреплённые знаменитыми морскими узлами. Заряженные каронады подкатывают к фальшборту, что меняет момент инерции корабля и объясняет изменение периода качки…

— Подсчитываете шансы на успех, доктор Уотерхауз? — спрашивает Даппа, сбегая с юта.

— Что значит «зог», Даппа, и почему это так смешно?

Даппа делает серьёзное лицо, как будто ничего смешного тут нет, и указывает через полмили открытого моря на шхуну под чёрным флагом с

---

[52] Примечания: 52

Которая, не забывайте, следующий «этаж» под ютом — так что Даниель оставляет всякую надежду отдохнуть.

белыми песочными часами. Шхуна с наветренной скулы[53] и движется параллельным курсом, но с явным намерением скоро сблизиться и взять «Минерву» на абордаж.

— Видите, как медленно она движется. Мы их обгоняем, хотя ещё не поставили грот.

— Да, я собирался спросить — почему мы его не поставили? Это самый большой парус на корабле, а мы пытаемся идти быстро, разве не так?

— Грот традиционно ставят и поворачивают артиллеристы. Не поставив грот, мы заставим Тича поверить, что нам не хватает людей и на паруса, и на пушки.

— Не стоит ли раскрыть карты ради того, чтобы обогнать шхуну?

— Мы обгоним её в *любом случае*.

— Но пираты *хотят*, чтобы мы с ними поравнялись, и потому, наверное, спустили плавучий якорь или что там ещё — отсюда уменьшение скорости.

— Им незачем спускать плавучий якорь — шхуну тормозит «зог».

— Вот опять! Что означает сие слово?

— Ее кильватер, взгляните на её кильватер! —

---

[53] Примечания: 53

То есть впереди них и сбоку, там, откуда дует ветер, — примерно на десяти часах.

Даппа с досадой машет рукой.

— Да, сейчас, когда мы… э… пугающе близко, я вижу, что её кильватерная струя могла бы опрокинуть вельбот.

— Чёртовы пираты взяли на борт такое число пушек, что шхуна осела, и у неё огромный отвратительный «зог».

— Вы хотите меня этим успокоить?

— Это ответ на ваш вопрос.

— Так «зог» по-голландски «кильватер»?

Полиглот Даппа утвердительно улыбается. Половина зубов у него свои, белые, половина — золотые.

— Да, и это куда более удачное слово, поскольку происходит от глагола «зёйген», то есть «сосать».

— Не понимаю.

— Любой моряк вам скажет, что кильватер засасывает корабельную корму: чем больше кильватер, тем сильнее он засасывает и тем меньше скорость. Эта шхуна сосёт, доктор Уотерхауз.

Капитан ван Крюйк что-то сердито кричит. Даппа взбегает на ют, дабы завершить дело, которому помешал Уотерхауз. Даниель поднимается за ним, проходит на корму, огибает шпиль и спускается по узкому трапу в кормовую часть

орудийной палубы. Отсюда он входит в каюту, из которой обычно брал замеры температуры, и начинает опасный путь к нависающим над водой окнам. Сухопутному наблюдателю каюта показалась бы приятно просторной; на взгляд Даниеля в ней решительно не хватает, за что держаться. То есть, когда корабль кренится, Даниель пролетает большее расстояние и развивает большую скорость, прежде чем на что-нибудь наткнётся и сумеет её погасить. Однако в конечном счете он добирается до окон и смотрит на «Минервин» зог. Тот, несомненно, присутствует, но в сравнении со шхуной «Минерва» практически не тормозится кильватерной струей. Бернулли следовало бы провести здесь день-два…

С подветренной стороны их нагоняет пиратский кеч, и Даниель почти уверен, что у того с кильватерной струей всё в порядке. Явственно виден плавучий якорь. «Минерва» идёт в самый крутой бейдевинд: она может идти полнее, но не может идти круче. Поскольку кеч с подветренной стороны, «Минерва», увалившись, немедленно подставит себя под мушкетный огонь и абордажные крючья, наверняка приготовленные на палубах. Однако кеч, с его косым парусным вооружением, легко может привестись к ветру.

Так что даже если «Минерва» будет сохранять прежний курс, кеч запросто зайдет ей наперерез и тем облегчит задачу медлительной шхуне.

Это вполне объясняет вторую причину, по которой Даниель убрался в каюту: дальше от сражения он мог бы укрыться, только выпрыгнув за борт. Однако и здесь он не находит желанного успокоения, поскольку видит ещё два пиратских корабля, нагоняющих их сзади; оба больше, чем предыдущие.

Взрыв, затем второй, затем сразу несколько; очевидно, что-то преднамеренное, потому что Даниель ещё жив, и «Минерва» на плаву. Он распахивает дверь на орудийную палубу; там темно и тихо: все канониры у пушек левого борта, и ни одна из них не стреляла. Очевидно, палили каронады верхней палубы.

Даниель оборачивается и видит, что кеч остался позади, с подветренной раковины[54]. Впрочем, в нём уже трудно узнать кеч: это корпус, покрытый грудой провисшего такелажа и ломаной древесины. Одна из пушек окутывается дымом, и что-то ужасное несётся прямо на Даниеля, увеличиваясь в размерах. Он начинает падать, скорее

---

[54] Примечания: 54
Примерно на пяти часах, если стоять лицом к носу судна.

от головокружения, чем с какой-то сознательной мыслью. Стена картечи достигает окон, стёкла вылетают разом. Лишь несколько осколков попадают в лицо и ни одного — в глаза; везение, труднообъяснимое с точки зрения натурфилософии.

Дверь снова распахивается, то ли от силы выстрела, то ли от того, что Даниель на неё упал, так что теперь он лежит головою на батарейной палубе. Внезапно плотно сжатые веки обдает светом и теплом. Может, это ангельский хор, а может, легионы огненных демонов, но он в такое не верит. Или на «Минерве» взорвался пороховой погреб, однако это сопровождалось бы громким звуком, а он слышит лишь скрип выкатываемых орудийных станков. Ноздрей касается освежающий морской бриз. Даниель отваживается рискнуть и открыть глаза.

Все орудийные порты левого борта распахнуты, все пушки выдвинуты. Артиллеристы тянут тали, наводя орудия на цель, другие правилами поднимают казённые части пушек и подставляют под них клинья: короче, идут лихорадочные приготовления, как к бракосочетанию короля. Держа в руках зажжённые пальники, артиллеристы выбирают нужный момент, а Даниель… бедный

Даниель не догадывается зажать уши руками. Он слышит один или два выстрела, после чего глохнет. Одна за другой четырёхтонные махины пушек отскакивают назад легко, как воланы.

Он почти убеждён, что умер.

Вокруг другие мертвецы.

Они лежат на верхней палубе.

Двое матросов сидят на трупе Даниеля, третий мучает его мёртвую плоть иглой. Пришивает оторванные части тела, штопает живот, чтобы не вывалились кишки. Так вот что чувствовали бродячие псы в лапах Королевского общества!

Даниель лежит на спине, поэтому видит в основном небо, хотя, если повернуть голову — немалый подвиг для покойника! — он может разглядеть ван Крюйка на юте. Тот кричит в рупор, направленный почти прямо за борт.

— Что он кричит? — спрашивает Даниель.

— Мои извинения, доктор; я не видел, что вы очнулись, — произносит высокая смутная тень голосом Даппы, подходя и заслоняя Даниелю солнце. — Он ведёт переговоры с пиратами, которые подошли в шлюпке с флагмана Тича под белым флагом.

— Что им нужно? — спрашивает Даниель.

— Им нужны вы, доктор.

— Не понимаю.

— Вы слишком напряжённо думаете. Тут нечего понимать, всё исключительно просто, — говорит Даппа. — Они подошли на вёслах и сказали: «Отдайте нам доктора Уотерхауза, и разойдёмся с миром».

Теоретически доктор Уотерхауз должен надолго утратить дар речи, однако он обретает голос довольно скоро. Ощущение прочной шёлковой нити, протягиваемой через свежие дыры в мясе, исключает серьёзные размышления. «Разумеется, так вы и сделаете», — всё, что он может выдавить.

— Любой другой капитан так и поступил бы — но тот, кто отправлял вас на этом корабле, вероятно, знал отношение капитана ван Крюйка к пиратам. Смотрите! — Даппа отступает в сторону, открывая Даниелю зрелище, за которое удавились бы зеваки на Варфоломеевской ярмарке: по вантам карабкается человек с рукой-молотом. То есть на конце его руки не кулак и даже не крюк, а самый настоящий молоток. Ван Крюйк взбирается на самый верх бизань-мачты, туда, где плещутся флаги: голландский, а под ним второй, с изображением эгиды. Утвердившись на вантах — вплетя в них свое тело, — он по одному

вынимает изо рта гвозди и приколачивает флаги к мачте.

Все матросы, которые не сидят на Даниеле, в мгновение ока взлетают по вантам и разворачивают неимоверное количество парусов. Даниель с одобрением отмечает, что грот наконец-то поставлен — с шарадой покончено. Тем временем «Минерва» чудесным образом растёт ввысь: асимптотическая прогрессия убывающих трапеций распускается на стеньгах всё более высокого порядка.

— Великолепный жест со стороны капитана — особенно после того, как он потопил половину Тичева флота, — говорит Даниель.

— Верно, доктор, — но не лучшую половину, — отвечает Даппа.

Сити
1673 г.

Пятое учение, ведущее к распаду государства, заключается в положении, что каждый человек обладает абсолютным правом собственности на своё имущество, исключающим право суверена.

Гоббс, «Левиафан»

Даниель, разумеется, сам никогда не играл на сцене, но когда смотрел пьесы в театре Роджера Комстока (особенно по пятому или шестому разу), то неизменно удивлялся: как эти мужчины (и женщины!) на подмостках в сотый раз повторяют ту же самую реплику и при этом пытаются вести себя так, будто на них не таращится из зала добрая сотня зрителей. Всё выглядело каким-то деланным, пустым и фальшивым; всем хотелось лишь поскорей завершить спектакль и заняться чем-то другим. Таков был Лондон во время Третьей Голландской войны в ожидании известия, что Голландия завоёвана.

Пока суд да дело, горожане довольствовались менее значительными известиями, которые вре-

мя от времени просачивались из-за моря. Весь Лондон передавал и с большой помпой обсуждал слухи, как актёры на сцене рассказывают о якобы наблюдаемых событиях.

Странно — а может, и не очень, — но единственным утешением для лондонцев стало посещение театров, где можно было сидеть в темноте и смотреть, как актёры на сцене представляют их собственное поведение. Пьеса «Снова в портах» после кембриджского дебюта шла с огромным успехом. Когда два театра сгорели от пиротехнических просчётов, её стали давать у Роджера Комстока. Даниель должен был обеспечивать молнии, громы и взрывы лорда Кунштюка таким образом, чтобы не пострадала собственность Роджера. Он изобрёл новую громовую машину, в которой пушечное ядро скатывалось по архимедову винту в деревянной бочке, и злоупотребил своей вхожестью в ведущую алхимическую лабораторию мира, дабы составить новую формулу пороха, которая давала большую вспышку и меньшую детонацию. Пиротехнические эффекты занимали всего несколько минут в начале спектакля. Остальное время Даниель сидел за сценой и смотрел на Тэсс. Та всякий раз ослепляла его, как вспыхнувшая перед лицом пригоршня пороха;

сердце принималось стучать, словно пушечное ядро, катящееся по бесконечному полому винту. Король Карл часто приходил послушать, как его Нелли исполняет свои куплеты, и Даниель утешался — или по крайней мере забавлялся, — что они с королём скрашивают томительное ожидание одним способом: пялясь на хорошеньких девушек.

Мелкие новости, приходившие в ожидании большой, поначалу принимали разные формы, однако в последнее время это всё чаще были извещения о смерти. Не как во времена Чумы; однако несколько раз Даниелю приходилось выбирать между двумя похоронами, идущими в один час. Первым скончался Уилкинс. Другие последовали за ним, как будто епископ Честерский ввёл новую моду.

Ричард Комсток, старший сын Джона и прототип отважного, хоть и глуповатого Юджина Кунштюка в «Портах», был на корабле, который в числе других попал под пушки де Рёйтера в Саутуолдском сражении. Вместе с тысячами других англичан он упокоился на морском дне. Выжившие участники боя ковыляли по Лондону на окровавленных культях или просили подаяния на улицах. Даниель очень удивился, получив

приглашение на заупокойную службу. Не от Джона, а от Чарльза, четвёртого, ныне единственного его сына (ещё двое умерли в детстве от оспы). После окончания Чумы тот поступил в Кембридж, где Даниель был у него наставником. Чарльз обещал вырасти в толкового натурфилософа, однако теперь он остался единственным отпрыском великого рода и уже не мог быть никем иным, разве что род перестанет быть великим или сам он перестанет быть его частью.

Джон Комсток встал посреди церкви и сказал:

— Голландцы превосходят нас во всём, кроме зависти.

В один прекрасный день король Карл закрыл Казначейство, то есть признал государство несостоятельным: это значило, что корона отказывается выплачивать не только долги, но и проценты по ним. Через неделю скончался Даниелев дядя Томас Хам, виконт Уолбрук. Сердце его разорвалось от горя, или он сам наложил на себя руки, знала только тётя Мейфлауэр, да это и ничего, и сущности, не меняло. Итогом стала самая театральная сцена из всех, что Даниель видел за последний год в Лондоне (исключая, возможно, «Осаду Маастрихта»): открытие Крипты.

Государственные чиновники опечатали под-

вал Томаса Хама сразу после смерти владельца; вокруг поставили мушкетёров, чтобы так вкладчики, которые в последние несколько недель образовали плотную, никогда не расходящуюся толпу перед входом в дом — как другие держали памфлеты с обличением французских зверств в Голландии, так эти сжимали обязательства золотых дел мастера на имя Томаса Хама, — не ворвались и не потребовали свои блюда, подсвечники и гинеи. Начались юридические манёвры; они продолжались дни напролёт, бросая странную тень на погребение дяди Томаса. Владелец подвала лежал в могиле, его ближайших помощников нигде не могли сыскать; по слухам, их видели в Дюнкерке, где они пытались сплющенными золотыми кубками и супницами оплатить дорогу в Бразилию. Однако то были слухи. Факты находились в знаменитом своей надёжностью подвале братьев Хамов на Треднидл-стрит.

Его наконец распечатал эскадрон лордов и судей в сопровождении мушкетёров. Понятыми выступали Релей, Стерлинг и Даниель Уотерхаузы, а также сэр Ричард Апторп и другие государственные мужи. Прошло три дня с тех пор, как король умыл руки от государственных долгов и сэр Томас Хам принял крестную муку от Казначейства. Это

обстоятельство не преминул отметить Стерлинг Уотерхауз, как всегда, внимательный к мелочам. Стоя среди знатных и важных особ перед домом своего шурина, он шепнул Даниелю: «Как знать, не найдём ли мы камень отвален и гроб пуст?»

Даниель возмутился было двойному кощунству, потом вспомнил, что сам практически переселился в театр и каждый вечер пялится на некую актёрку — ему ли упрекать Стерлинга за шутку?

Это оказалась не шутка. Подвал был пуст.

Вернее — не пуст. Сейчас он был полон онемевшими людьми, которые стояли на римском мозаичном полу, не в силах двинуться с места.

РЕЛЕЙ: Я знал, что дела плохи. Но, Господи, здесь нет даже *картофелины*!

СТЕРЛИНГ: Своего рода анти-чудо.

ЛОРД ВЕРХОВНЫЙ КАЗНАЧЕЙ: Скажите мушкетёрам, пусть позовут ещё мушкетёров.

Некоторое время они стояли, почти не шевелясь. Разговоры вспыхивали и тут же гасли, как порох на мокрых полках. Единственным исключением, как ни странно, были Уотерхаузы. Катастрофа прибавила им разговорчивости.

РЕЛЕЙ: Наш последний покупатель сказал, что ты решил заделаться архитектором, Даниель.

СТЕРЛИНГ: Мы думали, ты будешь учёным.

ДАНИЕЛЬ: Все другие учёные этим занимаются. Недавно Гук рассчитал наконец конструкцию арки.

РЕЛЕЙ: Ты хочешь сказать, что все существующие арки построены по наитию?

СЭР РИЧАРД АПТОРП: Арки — и финансовые учреждения.

ДАНИЕЛЬ: Кристофер Рен перепроектирует все арки в соборе Святого Павла теперь, когда Гук ему объяснил.

СТЕРЛИНГ: Славно! Может, новый не будет таким кособоким и убогим, как прежний.

РЕЛЕЙ: К слову, Даниель, ты не хочешь показать нам свои планы?

ДАНИЕЛЬ: Планы?

РЕЛЕЙ: Если мне простят беглое отступление, я бы хотел взглянуть на твои планы.

Это был плохой каламбур и скрытый намёк со стороны Релея, старшего в семье (он достиг пятидесяти пяти лет и казался Даниелю молодым Релеем в наряде богача и старческом гриме), что пора уносить ноги. Так братья и поступили; сэр Ричард Апторп последовал их примеру. Они поднялись на второй этаж, в ту самую спальню, куда Даниель в своё время смотрел с крыши

Грешем-колледжа. Камень уже влетел в окно и несуразным украшением лежал на ковре среди стеклянных многоугольников. Другие стучали о стены; Даниель распахнул окна, чтобы уберечь стёкла. Все влезли на кровать посреди комнаты и стали смотреть на летящие камни.

СТЕРЛИНГ: Кстати о гинеях либо отсутствии оных: скверно получилось с Гвинейской компанией, а?

АПТОРП: Пф! Она вроде театральных пшиков вашего брата. Я свои акции продал давным-давно.

СТЕРЛИНГ: А ты, Релей?

РЕЛЕЙ: Я — её кредитор.

АПТОРП: Получите восемь шиллингов за фунт.

РЕЛЕЙ: Досадно, слов нет, но всё больше, чем получат вкладчики Томаса Хама.

ДАНИЕЛЬ: Бедняжка Мейфлауэр!

РЕЛЕЙ: Она с маленьким Уильямом переезжает ко мне, так что тебе придётся искать другое пристанище, Даниель.

СТЕРЛИНГ: Какой дурак скупает долговые обязательства Гвинейской компании?

АПТОРП: Джеймс, герцог Йоркский.

СТЕРЛИНГ: Вот я и спрашиваю, какой бесстрашный герой и так далее…

ДАНИЕЛЬ: Бред! Это же его собственные долги!

АПТОРП: Это долги Гвинейской компании. Герцог закрывает Гвинейскую компанию и создает новую Королевскую Африканскую компанию. Он будет её управляющим и единственным пайщиком.

РЕЛЕЙ: Мало ему потопить наш флот и поработить нас Папе — он её хочет продать в рабство всех негров.

СТЕРЛИНГ: Брат, ты говоришь подозрительно похоже на Дрейка.

РЕЛЕЙ: Возможно, на меня действует близость вооружённой толпы.

АПТОРП: Герцог Йоркский уходит из Адмиралтейства.

РЕЛЕЙ: Потому что от Адмиралтейства ничего не осталось.

АПТОРП: Женится на хорошенькой католичке[55] и улаживает свои африканские дела.

СТЕРЛИНГ: Сэр Ричард, наверное, вы опять знаете обо всём раньше всех, не то возмущённая толпа уже вышла бы на улицы.

РЕЛЕЙ: Она и вышла, малоумок, и, если у меня не видение в духе Дрейка, поджигает сейчас этот

---

[55] Примечания: 55

Мария д'Эсте, дочь герцога Альфонса IV Моденского, ибо Анну Гайд лебёдкой опустили в двуспальную могилу два года назад.

самый дом.

СТЕРЛИНГ: Я хочу сказать, возмущение было бы направлено против герцога, а не против нашего покойного шурина.

ДАНИЕЛЬ: Третьего дня я своими глазами видел возмущение против герцога, однако оно касалось его религиозных, а не военных, политических либо коммерческих изъянов.

СТЕРЛИНГ: Ты пропустил «интеллектуальных» и «моральных».

ДАНИЕЛЬ: Я стараюсь быть кратким — у нас маловато той субстанции, присутствующей в *свежем* воздухе, которую огонь отнимает у живых существ.

РЕЛЕЙ: Герцог Йоркский!.. Какой придворный лизоблюд удумал назвать Нью-Йорк в его честь?! Вполне приличный город.

ДАНИЕЛЬ: Если мне позволительно сменить тему, то причина, по которой я привёл вас в эту комнату, заключается в оной *лестнице*, каковая не только исправно служила для игр Уильяму Хаму, но и ведёт на крышу, где не столь жарко и дымно.

СТЕРЛИНГ: Даниель, что бы ни говорили, *ума* тебе не занимать.

[Следует ирони-комическая интерлюдия: бра-

тья Уотерхаузы нестройными и хриплыми (от дыма) голосами исполняют пуританский гимн о лестнице Иакова.]

СЦЕНА: Крыши Треднидл-стрит. Снизу доносятся крики, звон стекла, мушкетные выстрелы. Братья и сэр Ричард собираются возле исполинской печной трубы, из которой сейчас валит дым горящих мебели и стен.

СЭР РИЧАРД АПТОРП: Сколь отрадно, Даниель, взирать на спрямлённый и расширенный Чипсайд, сознавая, что на месте сем будет заново воздвигнут собор — по *математическим* принципам, так, что, может быть, простоит хоть малость.

СТЕРЛИНГ: Сэр Ричард, ваши слова пугающе напоминают речь проповедника, который, начав с простого житейского наблюдения, перекидывает от него длинное и притянутое за уши сравнение.

АПТОРП: Или, если угодно, *арку* — оттуда сюда.

РЕЛЕЙ: Так вы хотите воздвигнуть своего рода исполинскую триумфальную арку? Вы не думаете, что прежде нужен хоть какой-то *триумф*?

АПТОРП: Это лишь сравнение. То, что Кристофер Рен намерен заложить в строительство собора, я собираюсь заложить в основание банка. И как Рен использует принципы Гука, дабы

собор вышел устойчивым, так и я воспользуюсь современным методом в создании банка, который — при всём уважении к светлой памяти и заслугам вашего покойного шурина — не станет поджигать озверелая толпа.

РЕЛЕЙ: Наш шурин разорился, потому что король одолжил все его деньги — вероятно, под дулом мушкета, — а потом отказался их возвращать. Какие *математические* принципы позволят вам это предотвратить?

АПТОРП: Те же, с помощью которых вы и ваши единомышленники сохраняете свою веру: я не позволю королю вмешиваться в мои дела.

РЕЛЕЙ: Королям не нравится, когда им такое говорят.

АПТОРП: Я видел короля только вчера, и, поверьте, банкротство нравится ему ещё меньше. Я родился в тот самый год, когда король прибрал к рукам золото и серебро, которые Дрейк и другие торговцы поместили на хранение в Тауэр. Помните?

РЕЛЕЙ: Да, то был чёрный год, он сделал бунтовщиками многих разорившихся торговцев.

АПТОРП: В итоге возникли дело вашего шурина и практика златокузнечных обязательств — никто больше не доверял Тауэру.

СТЕРЛИНГ: А после нынешнего дня никто больше не будет доверять золотых дел мастерам и их никчёмным распискам.

АПТОРП: Верно. И как пустой гроб на Пасху во исполнение времён привёл к Воскресению…

ДАНИЕЛЬ: Я зажимаю уши. Когда заговорите как христиане, махните рукой.

Весть, что Голландия выиграла войну, распространилась по Лондону невидимо, как чума. В мгновение ока она настигла каждого. Однажды утром Даниель проснулся в Бедламе, зная, что Вильгельм Оранский открыл шлюзы и затопил полреспублики, чтобы спасти Амстердам. Однако он не мог вспомнить, когда и от кого это услышал.

Они с братьями покинули Треднидл, перебираясь с крыши на крышу. Апторпа оставили на крыше его собственной златокузнечной лавки, которая покуда избежала банкротства, однако и перед ней бушевала вооружённая толпа — и перед следующей, и дальше по улице. Как с опозданием поняли братья, они не только не выбрались из смуты, но, напротив, угодили в самую её гущу. Разумнее всего было повернуть назад, но теперь навстречу им по крышам двигался взвод квакеров с фитильными ружьями, и у каждого

в руках дымился зажжённый трут. Со стороны Грешем-колледжа по крышам Брод-стрит пробирался такой же армейский взвод; было ясно, что скоро квакеры и солдаты начнут перестрелку над головами других квакеров, гавкеров, трясунов, пресвитериан, евреев, гугенотов, диггеров и прочих индепендентов на улице.

Пришлось спускаться на улицу в мечущую камни толпу. Однако, оказавшись внизу, Даниель понял, что это не юные смутьяны славных Дрейковых дней, а пузатые торговцы, пришедшие узнать, где их деньги. Ответ был: там, куда деваются деньги во время финансового обвала. Даниель постоянно наступал на парики. Иногда сразу сотня людей поворачивалась и бросалась бежать от внезапной пальбы, и тогда все парики падали разом, как на военных учениях. На некоторых париках были шматки мозга, и от них на башмаках оставались перламутровые разводы.

Братья пробились на Брод-стрит, подальше от Биржи, где, судя по всему, и начались беспорядки. Псевдопольские гренадеры выстроились перед зданием бывшей Гвинейской, будущей Королевской Африканской компании. Уотерхаузы перебежали по дальней стороне улицы, оглядываясь, не летят ли им в спины роковые

металлические шары. Попытались укрыться в Грешем-колледже, однако туда после Пожара переехали многие государственные учреждения, поэтому колледж был закрыт и охранялся почти так же, как Королевская Африканская компания.

Продолжая двигаться на север, они добрались до Бедлама, где и спрятались между штабелями обтёсанных плит. На следующее утро Стерлинг и Релей ушли, а Даниель остался — опустошённый, не чувствующий никакого желания возвращаться в город. Время от времени он слышал, как колокол на соседней церкви звонит по кому-то, погибшему в беспорядках.

О его местопребывании прознали; начали приходить посыльные, по несколько раз в день, с приглашениями на новые похороны. Там его обычно просили встать и сказать несколько слов (не о покойном — по большей части это были люди малознакомые), но о религиозной терпимости вообще. Другими словами, его просили механически воспроизвести то, что сказал бы Уилкинс. Даниелю это было легко — легче, чем придумывать собственные слова. Из уважения к памяти отца он упоминал и Дрейка, что представлялось медленной и непрямой формой самоубийства; впрочем, после разговора с Джо-

ном Комстоком Даниель не видел особого смысла цепляться за жизнь. Его странно умиротворял вид прихожан в белом и чёрном. (Иногда ярким пятном присутствовал Роджер Комсток в сопровождении придворного-двух, сочувствующих или по крайней мере интересующихся.) Часто церковь не вмещала всех, кто хотел проводить усопшего; люди стояли во дворе или на улице, заглядывали в открытые двери и окна. Даниелю вспоминалось, как во время его учёбы в Кембридже Апнор убил пуританина. Тогда он проделал пять миль, чтобы попасть на службу, и чудесным образом встретил отца и братьев. Их разговор стал для него трудною, но поддержкой. Сейчас его слова звучали неожиданно страстно — как две инертные субстанции, смешанные в алхимической ступке, дают взрывчатый состав, так и воспоминания о Дрейке и Уилкинсе, соединяясь, наполняли его огнем.

Однако Даниель к этому не стремился, поэтому начал избегать похорон и все время проводил в тихом каменном саду Бедлама.

Гук тоже переселился сюда, ибо в Грешем-колледже не стало прохода от придворных интриганов. Бедлам был далек от завершения — каменщики даже не приступали к флигелям.

Однако центральную часть уже закончили, и наверху располагалась круглая башня с окнами по всем сторонам, где Гук любил уединяться: здесь было хорошее освещение и никто не мешал работе. Что до Даниеля, он оставался внизу и выходил в город только для встреч с Лейбницем.

* * *

Доктор Вильгельм Готфрид Лейбниц взял кофейник и в третий раз наклонил над чашкой. Из кофейника в третий раз ничего не вылилось — он был пуст последние полчаса. Лейбниц тихонько вздохнул и нехотя встал.

— Прошу меня извинить, сегодня я отправляюсь в долгий путь. Сперва через Ла-Манш, затем из Кале в Париж по дорогам, на которых хозяйничают сейчас французские полки — разбитые, голодные и озверелые.

Даниель настоял на том, чтобы расплатиться за обоих, и вместе с доктором вышел на улицу. Они двинулись к гостинице, в которой остановился Лейбниц, неподалёку от Биржи. На немощёных улицах по-прежнему валялись булыжники и обгоревшие головни.

— Лондон не блещет божественной гармонией, — сказал Даниель. — Мне стыдно, что я

англичанин.

— Если бы вы вместе с Францией завоевали Голландию, у вас было бы больше оснований для стыда, — отвечал Лейбниц.

— Тогда, добравшись с Божьей помощью до Парижа, вы сможете сказать, что ваша миссия увенчалась успехом: войны нет.

— Моя миссия провалилась, — молвил Лейбниц. — Я не смог предотвратить войну.

— В день приезда вы сказали, доктор, что ваши философские занятия не более чем ширма для дипломатии. Однако я подозреваю, что всё наоборот.

— Мои философские занятия тоже закончились провалом, — пожал плечами Лейбниц.

— Вы снискали себе приверженца…

— Да. Ольденбург одолевает меня просьбами закончить арифметическую машину…

— В таком случае двух приверженцев, доктор.

Лейбниц даже остановился и взглянул на Даниеля — не шутит ли тот.

— Весьма польщён, сударь, но я предпочёл бы считать вас *другом*, а не *приверженцем*.

— В таком случае это я весьма польщён.

Они взялись за руки и некоторое время шли в молчании.

— Париж! — воскликнул Лейбниц, как если бы лишь одна эта мысль могла поддержать его в следующие несколько дней. — Вернувшись в *Biblioteque du Roi*, я обращу все свои усилия к математике.

— Вы не хотите заканчивать арифметическую машину?

Впервые Даниель увидел на лице доктора раздражение.

— Я — философ, а не часовых дел мастер. *Философские* проблемы, связанные с арифметической машиной, решены. Из этого лабиринта я выбрался.

— Кстати, доктор, в день приезда вы упомянули, что вопрос свободной воли либо предопределения — один из двух лабиринтов, в который увлекается мысль. Каков второй?

— Состав континуума, или: что есть пространство? Евклид утверждает, что всякое расстояние можно разделить пополам, затем ещё пополам и так до бесконечности. Легко сказать, трудно представить.

— Думаю, труднее для *метафизика*, чем для *математика*, — заметил Даниель. — Как во многих других областях, современная математика даёт нам средства оперировать как бесконечно

большим, так и бесконечно малым.

— Что ж, может, я и впрямь в слишком большой степени метафизик, — согласился Лейбниц. — Понимаю, вы говорите о методе бесконечных последовательностей и рядов.

— Именно так, доктор. Но, как всегда, вы себя умаляете. Вы продемонстрировали Королевскому обществу, что знаете об этих последовательностях больше кого-либо из живущих.

— Увы, они не разрешают моих затруднений, лишь заставляют задуматься о глубине нашего непонимания. Например…

Лейбниц шагнул к свисающему с карниза на углу здания фонарю. Проект освещения лондонского Сити застопорился из-за нехватки средств, однако в этой неспокойной части города, где (по мнению сэра Роджера Лестрейнджа) в любом тёмном углу могли прятаться непокорные диссиденты, расходы на ворвань для фонарей сочли оправданными.

Лейбниц взял палку из груды мусора, которая еще недавно была златокузнечной лавкой, и, встав в круг желтовато-бурого света, нацарапал в грязи несколько первых членов последовательности:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} \,\&\, c$$

— Сумма этих членов стремится к «пи». Так что у нас есть способ приблизиться к значению «пи» — тянуться к нему, но никогда его не достичь… подобно тому и человеческий мозг, устремляясь к Божественной Сущности, получает несовершенное знание, но не способен взглянуть Богу в лицо.

— Бесконечные ряды не только служат метафорой непознаваемости — они могут и прояснять! Мой друг Исаак Ньютон творит с ними чудеса. Он научился описывать бесконечными рядами любую кривую.

Даниель забрал у Лейбница палку и нарисовал на земле кривую.

— Это отнюдь не *отвращает* его от познания, напротив, *укрепляет* в понимании, давая способ определить касательную в каждой точке.

Он прочертил прямую, касающуюся кривой.

По улице прогрохотала черная карета. Четвёрка лошадей, подстегиваемая кучером, опасливо шарахнулась от груды развалин. Даниель и Лейбниц отступили в арку, чтобы её пропустить, колёса расплескали лужу и превратили лейбницевы гиероглифы вместе с Даниелевыми загогулинами в систему каналов, быстро смывающих нарисованное.

— Проживёт ли дольше хоть что-либо из наших начинаний? — горько произнёс Даниель. Лейбниц коротко рассмеялся и на протяжении следующих нескольких ярдов не проронил ни слова.

— Я думал, Ньютон занимается одной алхимией, — сказал он наконец.

— Время от времени Ольденбургу, Комстоку или мне удаётся растормошить его на математическую статью.

— Наверное, меня тоже следует тормошить, — произнес Лейбниц.

— Это сможет делать Гюйгенс, когда вы вернётесь.

Лейбниц резко тряхнул плечами, как будто хотел сбросить с них Гюйгенса.

— До сих пор он был мне хорошим наставником, но сумел дать лишь задачи, уже разрешённые англичанами, а следовательно, знает математику не лучше меня.

— Ольденбург тоже вас подталкивает, хотя и к иному.

— Я постараюсь найти в Париже кого-нибудь, кто построит арифметическую машину ради Ольденбурга, — вздохнул Лейбниц. — Это достойный проект, но там осталась работа для механика.

Они вошли в свет от следующего фонаря. Даниель воспользовался случаем заглянуть спутнику в лицо и оценить его настроение. Лейбниц выглядел куда решительнее, чем под прошлым фонарём.

— Ребячество — ждать, что старшие направят мою мысль, — сказал доктор. — Никто не велел мне думать о свободной воле и предопределенности. Я сам вступил в этот лабиринт, и заплутал, и вынужден был отыскать выход.

— Вас ждёт второй лабиринт, — напомнил Даниель.

— Да… время углубиться в него. Отныне это моя единственная цель. В следующий раз, когда вы увидите меня, Даниель, я буду первым математиком мира.

В устах любого другого европейского законоведа эти слова прозвучали бы нелепым бахвальством; однако их произнёс монстр.

Я дал волю своим страстям.

***Джон Беньян, «Путешествие пилигрима»*[56]**

Однажды утром Даниель проснулся от приглушённого взрыва и решил, что за городом

---

[56] Примечания: 56
Перевод издательства «Свет с востока».

испытывают новую пушку. Он уже собирался заснуть, когда вновь раздалось «бух!», словно точка в конце книги.

Утренний свет наполнял башню Бедлама и медленно пробирался по балкам, крепям и лесам вниз, туда, где спал на соломенном тюфяке Даниель. Наверху кто-то двигался, не наобум, как вор или мыши, но проворно и точно, как птицы и Роберт Гук.

Даниель встал и, не надевая парик, чтобы прохладный ветер обдувал коротко остриженную голову, полез к свету по лесам и верёвочным лестницам. Просветы между досками над головой розовели прямыми линиями, тугими и параллельными, словно клавесинные струны. Он протиснулся в люк, вспугнув пару ласточек, и оказался под куполом башни, в полукруглом помещении вместе с Робертом Гуком. Воздух искрился пылинками. Гук разложил на полу большие чёрные крылья и воздушный винт. Перед окном он установил стекло, аккуратно расчерченное чёрной декартовой сеткой, на которое наносил параболы — траектории пушечных ядер. Гук любил наблюдать, как летит ядро, и восковым карандашом рисовать его траекторию.

— Отвесь мне пять гран пороха, — попросил

Гук, не отрывая глаз от разрежающей машины: снабжённого поршнем цилиндра, одного из тех, при помощи которых они с Бойлем исследовали расширение газов.

Даниель подошёл к установленным на столе точным весам. Рядом на полу стоял бочонок с гербом Серебряных Комстоков. Затычка прилегала неплотно и была усеяна зёрнами чёрного пороха. Рядом лежал цилиндрический холщовый мешочек диаметром с кулак, набитый, как мучной куль. Когда-то он был зашит, но Гук разрезал неровные стежки. Заглянув под выцветшую ткань, Даниель тоже увидел порох.

— Взять из бочонка или из мешка? — спросил Даниель.

— Мне дороги мои глаза и машина, так что из бочонка.

— Почему вы так сказали? — Даниель снял затычку и увидел, что бочонок почти полон. Взяв медную ложку, которую Гук оставил рядом с весами (медь не даёт искр), он зачерпнул порох и начал сыпать на золотую чашку. Однако взгляд его постоянно устремлялся на мешочек; отчасти потому, что Гук, мало чего страшившийся, счёл его опасным. И ещё потому, что он казался смутно знакомым, хотя Даниель и не мог вспомнить, где

его видел.

— Разотрите между пальцами, — посоветовал Гук. — Не бойтесь, не взорвётся.

Даниель взял из мешка щепоть пороха. Ответ не заставил себя ждать: порох в мешочке был тоньше, чем в бочонке. И тут же Даниель вспомнил, где такой видел: в ту ночь в лаборатории. Роджер Комсток растирал порох и ссыпал в очень похожий мешочек.

— Откуда это? Из театра?

Гук опешил, что с ним случалось нечасто.

— Почему вы задали такой странный вопрос? Как вам пришло в голову столь дикое предположение, скажите на милость?

— Тонкий порох используют в театре. — Даниель кивнул на мешочек, потому что руки у него были заняты. Отвесив пять гран пороха, он ссыпал их в бумажный кулёк и отнёс Гуку. — Такой горит много быстрее грубого. — В подтверждение своих слов Даниель потряс кульком; звук получился, словно встряхивали песок. Гук забрал порох и высыпал в цилиндр разрежающей машины. Некоторые из машин были стеклянные, но эта представляла собой тяжёлую медную трубку размером с чайницу, то есть, по сути, миниатюрную мортиру. Поршень входил в неё, как ядро.

— Знаю, — отвечал Гук, — потому и не хочу всыпать пять гран такого пороха в свою разрежающую машину. Пять гран комстоковского пороха горят медленно и ровно, выталкивая поршень, как мне нужно. То же количество пороха из мешочка сгорит в один миг, взорвав мой аппарат и меня.

— Вот почему я предположил, что он из театра, — сказал Даниель. — Такой порох не годится для разрежающей машины, но на сцене даёт эффектную вспышку.

— Этот мешочек, — сказал Гук, — доставлен с военного корабля. На некоторых кораблях порох по старинке сыплют в пушку из бочонка, как мушкетер заправляет своё оружие из рожка. Однако в пылу боя наши артиллеристы нередко просыпают порох на палубу или неверно отмеряют его количество. А держать открытый порох рядом с пушкой значит накликать беду. Сейчас появился новый метод. До боя, когда есть возможность работать сосредоточенно, порох тщательно отмеряют и ссыпают в мешки, называемые картузами, которые затем старательно зашивают. Картузы хранятся в пороховом погребе, и во время боя их подносят к пушкам по одному.

— Ясно, — сказал Даниель. — И канониру надо

лишь разрезать мешок и всыпать порох в дуло.

Далеко не в первый раз Гука раздосадовала непонятливость Даниеля.

— Зачем возиться с ножом, если огонь сам вскроет мешок?

— Простите?

— Диаметр мешка равен диаметру дула. Зачем его вскрывать? Нет, весь мешок, как есть зашитый, забивают в дуло.

— И канонир даже не видит, что в нём?

Гук кивнул.

— Канониры имеют дело лишь с порохом для затравки, который насыпается в запальное отверстие и передаёт огонь мешку.

— Значит, канониры полагаются на тех, кто зашивает мешки, — вверяют им свою жизнь, — сказал Даниель. — Если положить в картуз не того пороха… — Он, не договорив, вернулся к мешку и запустил пальцы внутрь. Разница между этим порохом и комстоковским была как между мукой и песком.

— Вы говорите в точности как Джон Комсток, когда тот вручал мне бочонок и картуз.

— Он принёс их *лично*?

Гук кивнул.

— Сказал, что никому больше не доверяет.

Видимо, на лице Даниеля отразился ужас, потому что Гук поднял руку.

— Я прекрасно понимаю его состояние. Некоторые из нас, Даниель, подвержены меланхолии и во время ее приступов терзаются страхами, будто окружающие строят против них козни. Это опасное чувство. У меня время от времени возникают такие подозрения касательно Ольденбурга и других. Ваш друг Исаак Ньютон тоже к ним предрасположен. Из всех живущих, полагаю, Джон Комсток менее всего одержим подозрительностью. Однако когда он пришёл сюда с бочонком, то был целиком в её власти, и это огорчило меня более всех последних событий.

— Милорд считает, что его недруги подложили в пороховые погреба военных кораблей картузы с мелким порохом. Такой картуз, плотно зашитый, будет неотличим от остальных, но заправленный в пушку и подожжённый…

— Разорвёт ствол и убьёт всех вокруг, — закончил Гук. — Что спишут на дурную пушку или на дурной порох. Поскольку милорд поставляет и то, и другое, вина в любом случае ляжет на него.

— Откуда взялся картуз? — спросил Даниель.

— Милорд сказал, что получил его от своего сына Ричарда, который обнаружил картуз в по-

роховом погребе собственного корабля накануне отплытия к Саутуолду.

— Где Ричарда убило голландским бортовым залпом, — сказал Даниель. — И милорд попросил, чтобы вы осмотрели картуз и составили мнение, испорчен ли он некими заговорщиками.

— Именно так.

— И что вы сказали?

— Никто ещё меня не спросил.

— Даже Комсток?

— Даже он.

— Зачем было лично нести сюда картуз, чтобы потом ни о чём не спросить?

— Могу лишь предположить, — отвечал Гук, — что милорд пришёл к выводу о бессмысленности расследования.

— Какая странная мысль!

— Отнюдь, — возразил Гук. — Предположим, я засвидетельствую, что порох в картузе мелкий. Что это даст? Англси — ибо не сомневайтесь, за этим стоит он, — объявит, что Комсток подменил порох, дабы оправдаться за неисправные пушки. Сын Комстока — единственный, кто мог подтвердить подлинность мешка, — мёртв. Не исключено, что были и другие, но — спасибо адмиралу де Рёйтеру — они теперь на морском

дне. Мы проиграли войну, и надо найти виновного — не короля и не герцога Йоркского. Комсток уже понял, что виновным назначат его.

В башне становилось светлее с каждой минутой. Гук вставил в цилиндр шатун и соединил его с кривошипом, потом через крошечное запальное отверстие поджёг порох. Бабах! Поршень подскочил так быстро, что Даниель не успел даже отшатнуться. Шестерни завертелись, закручивая пружину, свернутую в спираль диаметром с тарелку. Собачка остановила храповик, чтобы она не раскручивалась. Гук совместил шестерни так, чтобы огромная часовая пружина посредством ремня передавала движение ведущему валу странного спиралевидного предмета, очень лёгкого, изготовленного из пергаментной бумаги, натянутой на каркас из лозы. Наподобие архимедова винта. Пружина начала медленно раскручиваться, быстро и ровно вращая винт. Стоя рядом с ним, Даниель ощущал вполне заметный ветер. Это продолжалось больше минуты — Гук засёк время по своим новейшим часам.

— Если подобрать форму и закладывать порох через равные промежутки времени, эта машина сможет оторвать себя от земли, — сказал Гук.

— Добавлять порох будет непросто, — заметил

Даниель.

— Я пользуюсь порохом потому лишь, что он у меня есть, — отвечал Гук. — Теперь, когда председателем Королевского общества избран Англси, я думаю испробовать горючие газы.

— Даже если к тому времени я переберусь в Массачусетс, — сказал Даниель, — я непременно вернусь взглянуть, как вы полетите по воздуху, мистер Гук.

Неподалеку начал бить колокол. Даниелю подумалось, что для похорон вроде рановато. Однако через несколько минут к первому колоколу присоединился второй. Затем третий. Они трезвонили не умолкая, словно праздновали некое радостное событие. Англиканские церкви не разделяли общего ликования; звонили только у голландцев, евреев и диссидентов.

* * *

Чуть позже к воротам Бедлама подъехал Роджер Комсток в карете, запряженной четвернёй. Герб прежнего владельца был сбит и заменен гербом Золотых Комстоков.

— Даниель, окажите милость сопровождать меня в Уайт-холл, — сказал Роджер. — Король ждёт вас на подписание.

— Подписание чего? — Даниель мог предположить несколько вариантов; самыми вероятными представлялись смертный приговор ему за подстрекательство либо Роджеру за саботаж в пользу Голландской республики.

— Как чего?! Декларации! Разве вы не слышали? Свобода вероисповедания для диссентеров всех мастей — почти. Как и мечтал Уилкинс.

— Весть добрая, соглашусь, — но зачем его величеству я?

— После Болструда вы у нас самый видный диссидент.

— Неправда!

— Не важно, — бодро отвечал Роджер. — Так считает король, и так будет с сегодняшнего дня.

— Почему он так считает? — спросил Даниель, уже почти зная ответ.

— Потому что я так говорю всем и каждому.

— Мне не в чем было бы пойти в бордель, не то что в Уайт-холл.

— Разница невелика, — рассеянно заметил Роджер.

— Вы не понимаете! В моём парике вывели птенцов ласточки, — отнекивался Даниель.

Однако Роджер щёлкнул пальцами, и тут же из кареты выскочил слуга с кучей свёртков. Через

приоткрытую дверцу Даниель различил и женские наряды — на женщинах. Их было две. Сверху донеслись взрыв и приглушённая брань Гука.

— Не беспокойтесь, ничего щегольского, — сказал Роджер. — Всё прилично для ведущего диссидента.

— Относится ли сказанное к дамам? — спросил Даниель, входя вместе с Роджером и слугой в Бедлам.

— Они — не дамы, — ответил Роджер. — Окажите Лондону милость, снимите это тряпьё. Мой лакей сожжёт его в печке.

— Рубашка ещё вполне крепкая, — возмутился Даниель. — Впрочем, согласен, носить её больше нельзя. Однако она сгодилась бы на пороховой картуз для королевского флота.

— В них больше нет нужды, — заметил Роджер, — война ведь кончилась.

— Напротив, я бы сказал, что придётся шить много новых картузов, поскольку столько старых оказались дефектными.

— Что ж, для политического простачка вы неплохо осведомлены. Кто внушил вам подобные мысли? Очевидно, сторонники Комстока.

— Вероятно, сторонники Англси уверяют, будто порох был превосходен, а пушки Комстока — с

изъяном.

— Это знает весь высший свет.

— Свет-то, может, и знает, но нам с вами и кое-кому ещё известно, что были изготовлены картузы с тонко истёртым порохом.

По совпадению или нет, к этому моменту разговора Даниель разделся догола; на нём было исподнее, но Роджер бросил ему новое и отвёл взгляд.

— Даниель! Я не могу смотреть на вас в таком виде и не желаю слышать ваших ядовитых намёков. Я поворачиваюсь спиной и буду некоторое время говорить. Обернувшись, я хотел бы увидеть нового человека, одетого и осведомленного.

— Что ж, полагаю, у меня нет особого выбора.

— Ни малейшего. Итак, Даниель. Вы видели, как я толку порох и ссыпаю его в мешок, — тут отпираться бессмысленно. Без сомнения, вы подумали обо мне худшее, как думаете со времён нашей общей учёбы в Кембридже. А как человек в моём положении может подкинуть картуз в пороховой погреб военного корабля? Ясно, что никак. Это сделал кто-то другой. Обладающий влиянием и связями, о каких мне нечего и мечтать.

— Герцог Ган…

— Молчите! Молчите! И в молчании поразмыш-

ляйте о сходстве между пушкой и ртом. Профан видит пушку и полагает, что это безотказное орудие против недругов. Однако старый канонир знает, что пушка, когда говорит, порою взрывается. Особенно если её заряжают в спешке. Когда это происходит, Даниель, враг остаётся невредим. Быть может, он ощущает лёгкое колебание воздуха, не способное даже взъерошить его парик. А вот ретивый канонир *и все его товарищи* — разорваны на куски. Задумайтесь об этом, Даниель, и хоть раз в жизни проявите чуточку осмотрительности. Не важно, как на самом деле зовут джентльмена, по чьей вине взорвалась пушка. Важно другое: *я понятия не имел, что делаю*. Откуда мне разбираться в военной артиллерии? В Королевском обществе я свёл знакомство с некими джентльменами. Им стало известно, что я помогаю Исааку Ньютону в алхимической лаборатории. Один из них попросил меня оказать им услугу. Ничего сложного. Очень тонко истереть порох и сложить в полотняный мешочек. Это, как вы помните, я исполнил. За год я изготовил полдюжины картузов. Один взорвался на месте благодаря вам. Из остальных, как я теперь понимаю, один подложили артиллеристам при «Осаде Маастрихта», и в результате пушка взорвалась

на глазах у всего Лондона. Четыре попали на военные корабли. Один из них Ричард Комсток обнаружил и переслал отцу. Один взорвался во время боя с голландцами. Оставшиеся два лежат на морском дне. Касательно моей вины: я до последнего времени не подозревал, зачем упомянутый джентльмен обратился ко мне со столь странной просьбой. Заполняя мешочки, я не знал, что они послужат убийству.

Даниель, продевая руки и ноги в новую одежду, верил каждому слову. Он давно потерял счёт моральным изъянам Роджера. Роджер, подозревал Даниель, нарушил все заповеди и совершил все смертные грехи, какие только сумел, и активно искал способы добрать упущенное. Вся история не имела ни малейшего отношения к порочности Роджера. Кто-то подстроил смерть несчастных канониров, чтобы бросить тень на репутацию графа Эпсомского, — ничего гнуснее Даниель вообразить не мог. За этим мог стоять Томас Мор Англси или кто-то из его сыновей, ибо, как верно указал Роджер, самому ему такое было бы не под силу. Оставался один вопрос: понимал ли Роджер, для чего нужен порох. Англси ему, разумеется, не сказал, а карьера Роджера в Тринити не давала основания ждать от него гениальных прозрений.

Убежденность, что Роджер невиновен, сняла с плеч Даниеля бремя, о котором он до сей минуты даже не подозревал. Облегчение было такое, что включился пуританский самоанализ. Столь приятное чувство могло быть дьявольской уловкой. Быть может, он *притворяется*, будто верит Роджеру, ради собственного спокойствия.

— Как вы можете встречаться с этими людьми, если знаете, какие мерзости они творят?

— Собирался задать вам тот же вопрос.

— Простите?

— Вы встречаетесь с ними, Даниель, на каждом собрании Королевского общества.

— Я же не знал, что они — убийцы!

— Напротив, Даниель, вы знали это с той самой ночи в Кембридже, когда Луи Англси убил вашего единоверца.

Человек другого склада произнёс бы эти слова с мстительным торжеством. Дрейк изрёк бы их с горечью или гневом. У Роджера они прозвучали остротой. Даниель даже хохотнул, прежде чем одумался и помрачнел.

Условия сделки прояснялись. Почему Даниель отказывается ненавидеть Роджера? Не потому, что слеп к его недостаткам, — он видел моральную трусость Роджера, словно Гук, смотрящий в

микроскоп. И не из христианского всепрощения. Он отказывался ненавидеть Роджера, потому что Роджер видел моральную трусость Даниеля, видел все эти годы — и не проникся к нему ненавистью. Всё честно. Они — братья.

Однако моральные терзания по поводу Роджера померкли через полчаса, когда Даниель, в парике, галстуке, камзоле и при часах, которые Роджер каким-то образом выцыганил у Гука, вышел из Бедлама и сел в карету. Ибо одна из женщин была Тесс Чартер. Сердце глухо стукнуло в груди. Бух.

Отсмеявшись вместе с подружкой выражению Даниелева лица, Тесс подалась вперёд и взяла его за руку. Она была умопомрачительно и пугающе *живая* — более живая, чем он. Тесс взглянула ему в лицо и сказала с французским акцентом:

— Право, Даниель, это такая замечательная роль — играть любовницу джентльмена столь чистого, столь духовного, что он не способен мыслить о тебе плотски! — Потом на простонародном лондонском наречии: — Однако я больше люблю играть перевоплощения — это и отделяет меня от Нелл Гвин.

— Интересно, что отделяет от Нелл Гвин короля? — спросила её товарка.

— Десять дюймов бараньей кишки с узлом на

конце, если король себе не враг! — засмеялась Тесс. *Бух*.

И далее в том же духе. Даниель повернулся к Роджеру, сидевшему рядом с ним.

— Сэр! С чего вы взяли, будто я хочу притвориться, что у меня есть любовница?

— Кто говорит о *притворстве*? — отвечал Роджер и, когда Даниель не рассмеялся, сказал, подобравшись: — Пфу! Явиться в Уайт-холл без любовницы — всё равно что прийти на дуэль без шпаги. Право, Даниель, никто не воспримет вас всерьёз! Решат, будто вы что-то скрываете.

— А он и скрывает — хотя и не очень успешно, — сказала Тесс, указывая глазами на выпуклость в Даниелевых штанах.

— Мне понравилось, как вы сыграли в «Голландской потаскухе», — робко произнёс Даниель.

Всю дорогу вдоль Лондонской стены и дальше на запад за любой попыткой Даниеля завести серьёзный разговор следовала придворная острота — часто настолько фривольная, что Даниель не понимал её, как Тесс не поняла бы его выступление перед Королевским обществом, — затем взрыв женского смеха и необъяснимый переход на другую тему.

Как раз когда Даниелю казалось, что он завязал

осмысленную беседу, карета въехала на Варфоломеевскую ярмарку. За окном отплясывали джигу медведи и ковыляли на ходулях гермафродиты. Набожные мужчины и благовоспитанные дамы отвели бы взгляд, однако Тесс и её приятельница (тоже актриса и, судя по всему, настоящая, не показная любовница Роджера) были не из таких. Десять минут спустя, когда карета въехала на Холборн, они всё ещё обсуждали увиденное. Даниель решил взять пример с Роджера, который не пытался беседовать с дамами, а смотрел на них и лыбился, словно деревенский дурачок.

Они остановились на углу Уотерхауз-сквер, чтобы ритуально восхититься земельным приобретением Роджера и съязвить по поводу дома, который построил себе Релей. Вердикт был таков: эту исполинскую кучу архитектор Релея наложил в приступе несварения желудка. Сходным образом дамы отозвались о наряде вдовой Мейфлауэр Хам, которая как раз выходила из дома, чтобы тоже отправиться в Уайт-холл.

Затем мимо многочисленных полей, церквей и скверов, носящих имя святого Эгидия, и по Пиккадилли до Комсток-хауса, где Роджер велел кучеру остановиться и несколько минут любовался тем, как Серебряные Комстоки выезжают

из особняка, в котором их предки жили с войны Алой и Белой розы. Исполинские живописные холсты с охотничьими сценами и морскими баталиями стояли прислонённые к чугунной ограде. Рядом примостились картины поменьше, в основном портреты, лишённые золочёных рам, которые ушли с торгов. Казалось, будто целая толпа Серебряных Комстоков, по большей части в старинных дублетах и брыжах, уныло смотрит через ограду. «Да, за решётку их следовало отправить лет сто назад!» — сказал Роджер и рассмеялся собственной шутке так громко, что Джон Комсток, наблюдавший, как из дома выносят батальное полотно размером с грот линейного корабля, обернулся в его сторону.

Даниель смотрел на картины не отрываясь. Отчасти потому, что вид графа Эпсомского внушал ему грусть, отчасти потому, что слишком много времени провёл с Лейбницем, а тот часто говорил о таких картинах в связи с Божественным разумением. На одном холсте, словно бы с одной точки зрения, живописец изобразил различные стычки, прорывы, кавалерийские атаки и гибель нескольких главных участников, которые на самом деле происходили в разное время и в разных местах. И это была не единственная

вольность в обращении с пространством и временем: подведение подкопа под бастион, взрыв и последующий штурм художник тоже нарисовал так, словно они происходили одновременно. Эти сцены располагались рядом, подобно заспиртованным личинкам в собрании Королевского общества, пребывая в одном времени, но так, что, скользя по ним взглядом, можно было представить себе весь ход событий. Батальное полотно, разумеется, было не одно, а в окружении других картин, вынесенных из дома ранее; его восприятие дополнялось другими сценами, которые Комстоки видели на своём веку и сочли достойным запечатления. Сейчас все они перемешались по скорбному поводу. Однако видеть падение Серебряных Комстоков в обрамлении стольких моментов их истории было не так страшно, чем если бы оно происходило само по себе, одинокое во времени и пространстве.

Граф Эпсомский повернул голову и взглянул через Пиккадилли на своего Золотого родича, однако чувств никаких не выказал. Даниель вжался в спинку сиденья, надеясь, что его скроет мрак. Джон Комсток показался ему почти умиротворённым. Поди плохо жить в Эпсоме, каждый день охотиться на лис и ловить рыбу? Так сказал себе

Даниель — однако позже скорбное, осунувшееся лицо графа вставало перед его глазами в самые неподходящие минуты.

— Не глупите, Даниель, из-за того, что вы увидели его лицо, — сказал Роджер. — Этот человек вел кавалерийские атаки против парламентских пехотинцев. Видите эту кошмарную мазню: двоюродный дед Комстока вместе с друзьями преследует лису? Замените лису голодным йоменом, безоружным и одиноким, и вы поймёте, что делал Джон Комсток во время Гражданской войны.

— Знаю, — отвечал Даниель. — И всё же он и его семья мне милее герцога Ганфлитского с его семейством.

— Джона Комстока надо было убрать и войну проиграть, прежде чем случилось бы всё остальное, — сказал Роджер. — Что до Англси и его отродья, я люблю их не больше вашего. Не беспокойтесь из-за них. Радуйтесь своему торжеству и своей любовнице. Англси предоставьте мне.

Затем в Уайт-холл, где различные Болструды, Уотерхаузы и другие смотрели, как король подписывает декларацию религиозной терпимости. Составленный Уилкинсом, этот документ давал свободу вероисповедания *всем*. Версия, которую сейчас подписывал король, была сильно урезана:

она исключала крайних еретиков, таких, как ариан, не признающих Троицу. Тем не менее это был достойный повод поднять в память Джона Уилкинса несколько кружек в нескольких тавернах на Друри-Лейн. Якобы любовница Даниеля сопровождала его на всех этапах эпохального загула, который завершился в театре у Роджера, в одном из помещений за сценой, где по чистой случайности оказалась кровать.

— Кто здесь изготавливает колбасы? — удивился Даниель. Тесс зашлась от хохота. Девушка как раз стягивала с него штаны.

— А у тебя очень даже хорошенькая колбаска, — выговорила она наконец.

— Я бы сказал, что это *твоя* работа, — возразил Даниель и (поскольку искомая часть тела была теперь на виду) добавил: — Хотя я не вижу в нём ничего хорошенького.

— Оба раза мимо! — Тесс протянула руку и схватила предмет их разговора. Даниель ойкнул. Тесс потянула. Даниель вскрикнул и шагнул к ней.

— Ах, так он всё-таки растёт *из тебя*. Значит, ты сам за него в ответе, и нечего валить всё на бедных девушек. Что до хорошенького… — Она ослабила хватку и, держа Даниелево хозяйство на ладони, всмотрелась внимательнее. — Ты просто

не видел гадких, так ведь?

— Меня учили считать, что все они *гадкие*.

— Может, и так — это всё метафизика, верно? Но поверь, одни гаже других. Вот почему мы держим здесь кишки для колбас.

Затем она проделала нечто поразительное с десятью дюймами завязанной на конце бараньей кишки. Не то чтобы Даниелю нужны были десять дюймов, однако Тесс не поскупилась на кишку, может быть, желая сделать ему комплимент.

— Значит ли это, что соития на самом деле не происходит? — с надеждой спросил Даниель. — Раз я с тобой не соприкасаюсь? — На самом деле он с ней соприкасался, и не в одном месте, а она — с ним. Однако в самом главном месте он соприкасался только с бараньей кишкой.

— Твои братья по вере часто задают такой вопрос, — сказала Тесс. — Так же часто, как разговаривают во время этого дела.

— А ты что отвечаешь?

— Отвечаю: не соприкасаемся и не любимся, если тебе так спокойнее. Хотя, когда всё будет позади, тебе придется объяснить своему Творцу, зачем ты сношался с дохлым бараном.

— Ты меня смешишь! — воскликнул Даниель. — Больно ведь!

— Чего тут смешного? Я говорю правду. Тоже мне скажешь — больно!

Даниель понял, что она права. Слово «больно» совсем не передавало его ощущений.

Когда ближе к следующему полудню он проснулся на той же самой кровати, Тесс рядом не было. Она оставила записку. (Кто бы подумал, что она грамотная? Впрочем, ей же приходится читать роли.)

> Даниель!
>
> Попозже снова займёмся изготовлением колбас. Мне надо играть. Да, ты, верно, запамятовал, что я — актриса.
>
> Вчера я работала: изображала твою любовницу. Роль была трудная, потому что скучная. Однако теперь это факт, не фарс, и мне больше не придется актёрствовать, что куда легче. И поскольку я больше не играю твою любовницу в профессиональном качестве, твой друг Роджер Комсток больше не будет выплачивать мне вознаграждение. А раз я теперь на самом деле твоя любовница, уместны были бы маленькие подарочки. Прости мою прямоту. Джентльмены знают, как принято,

пуритане нуждаются в руководстве.

P.S. Тебе потребуются наставления в актёрском ремесле. Охотно помогу.

Даниель некоторое время ходил по комнате, сперва собирая одежду, затем пытаясь надеть её в правильной последовательности. Справившись, он пробрался между декорациями и реквизитом на подмостки. Театр был пуст, только несколько актёров дремали на скамьях. Даниель обрёл своё место: он — лицедей, хотя никогда не будет играть на сцене и должен придумывать реплики экспромтом.

Он ясно видел будущую роль: видный диссидент, по совпадению известный учёный, член Королевского общества. До последнего времени Даниель не счёл бы её трудной, поскольку она была очень близка к жизни. Однако все его иллюзии касательно собственной праведности умерли с Дрейком и сгорели с Тесс. Он воображал себя натурфилософом, но понял, что бессилен тягаться с Исааком, Гуком и Лейбницем. Что до роли, которую сочинил для него Роджер Комсток, она представлялась весьма заманчивой. Что ж, может, ему, как и Тесс, будет даже лучше.

Так думал Даниель в то утро 1673 года. Однако последствия были настолько же недоступны его

уму, как дифференциальное исчисление — уму Мейфлауэр Хам. Он не мог предвидеть, что карьера актёра на лондонской сцене продлится двадцать пять лет, а если бы и предвидел, никогда не предположил бы, что сорок лет спустя его вызовут на бис.

На «Минерве», залив Кейп-Код, Массачусетс
Ноябрь, 1713 г.

Чёрная борода охотится за ним! Даниель провёл день в страхе до того, как это узнал; теперь самое время оцепенеть от ужаса. Однако он спокоен. Отчасти потому, что врач больше его не штопает — всё перемена к лучшему. Отчасти потому, что во время операции он потерял немного крови и выпил немного рома. Впрочем, это механическое объяснение. Что бы ни говорил Даниель Терпи-Смиренно перед отъездом из Бостона о свободной воле и всём прочем, не хочется верить, что его поступками управляет баланс телесных гуморов. Нет, Даниель в хорошем расположении духа (во всяком случае, после часа или двух отдыха), поскольку картина начала обретать смысл. Пусть даже смутный. Боль пугает его, смерть — не особенно (он никогда не рассчитывал дожить до таких лет!), но вот хаос и чувство, что мир не подчиняется разумным законам, приводят его в состояние животного ужаса собаки, которую режут живьём, а она не

понимает зачем. Закатившиеся глаза связанных, заключённых в намордники псов всегда были для него мерилом страха.

— Уже вышли прогуляться, доктор?

Даппа, очевидно, узнал его по звуку шагов и стуку палки — последние полчаса он не отрываясь смотрит в подзорную трубу.

— Что столь примечательного в той шхуне, мистер Даппа? Помимо того, что на ней полно убийц.

— Мы с капитаном поспорили. Я говорю, что это фламандка, лёгкая и увальчивая. Ван Крюйк видит в её оснастке свидетельства обратного.

— «Легкая» означает малую осадку, то есть она прыгает на волнах, как пробка, — что, полагаю, полезно для фламандцев и пиратов равно, ибо тем и другим приходится входить в мелкие бухточки.

— Пока все ваши замечания справедливы.

— В таком случае «увальчивая», вероятно, означает, что из-за малости киля ветер смешает её вбок, когда она идёт в бейдевинд — как сейчас.

— И как мы, доктор.

— «Минерва», полагаю, имеет тот же недостаток…

Такой поклёп заставляет Даппу оторвать от

глаза подзорную трубу.

— С чего вы взяли?

— Все амстердамские корабли по необходимости имеют плоское днище, разве нет? Чтобы войти в Эйсселмер…

— «Минерва» построена на малабарском побережье.

— Мистер Даппа!

— Я не насмехаюсь над вами, доктор. Истинная правда. Я при этом присутствовал.

— Но как…

— Сейчас неподходящее время, чтобы излагать всю повесть, — замечает Даппа. — Довольно сказать, что она не увальчива. Её *кажущийся* курс очень близок к *истинному*.

— И вы хотите знать, относится ли то же самое к шхуне, — говорит Даниель. — С весьма похожей задачей сталкивается астроном, желающий установить истинную траекторию кометы, в то время как Земля под ним мчит по орбите и вертится вкруг своей оси.

— Теперь мой черед спросить, не насмехаетесь ли вы надо мной, доктор.

— Вода подобна небесному эфиру; то и другое — жидкая среда, в которой движутся тела. Кейп-Код подобен далёкой неподвижной звезде.

Взяв азимут на церковный шпиль в Провинстауне, на гору южнее и на торчащую из воды мачту вон того затонувшего судёнышка, а затем, проведя некоторые тригонометрические вычисления, мы можем определить нашу позицию и, соединяя одну точку с другой, прочертить траекторию. Шхуна в таком случае подобна комете, что движется в эфире; измеряя угол, который она составляет с нами, с церковным шпилем и так далее, мы можем определить её истинный курс, сопоставить с кажущимся и легко понять, увальчива она или нет.

— Сколько это займёт?

— Если вы сделаете замеры и дадите мне спокойно провести вычисление, я дам ответ примерно через полчаса.

— Тогда приступим немедленно, — сказал Даппа.

Прокладывая курс на старой карте в кают-компании, Даниель понимает, почему вопрос так важен. Чтобы выйти из залива Кейп-Код, они должны обогнуть самую северную точку полуострова — мыс Рейс. Он от них к северо-востоку. Ветер последние несколько часов — норд-вест-тень-норд, «Минерва» может идти шесть румбов

к ветру[57], то есть еле-еле держит северо-восточный курс. Короче, не будь пиратов, она в течение часа обогнула бы мыс Рейс.

Однако два пиратских корабля идут параллельным курсом, примерно как раньше шхуна и кеч. С наветренной стороны (то есть примерно к северо-западу от «Минервы») — большой шлюп, флагман Тича, имеющий в этих обстоятельствах полную свободу движений. Это ходкий, манёвренный, хорошо вооружённый корабль, способный держать четыре румба к ветру; он далеко к северу и не рискует сесть на мель возле мыса Рейс. Шхуна — с подветренной стороны между ними и мысом. Она тоже может держать четыре румба к ветру, то есть способна перехватить «Минерву» и взять её на абордаж раньше, чем та выйдет в открытый океан. Если всё так, «Минерве» стоит повернуться к ветру кормой, разделаться со шхуной, затем привестись к ветру (желательно не налетев до того на мель) и атаковать шлюп.

Однако если Даппа прав и шхуна увальчива, всё иначе, чем представляется. Ветер будет сносить её вбок, прочь от «Минервы» и ближе к мысу; чтобы не сесть на мель, ей придется сменить курс и

[57] Примечания: 57
В картушке компаса — тридцать два румба.

прекратить погоню. Коли так, «Минерве» лучше и дальше идти в бейдевинд, выжидая, пока шлюп Тича сделает первый шаг.

Это всё вопрос арифметики — той самой арифметики, над которой, вероятно, корпит сейчас в Гринвичской обсерватории королевский астроном Флемстид, силясь доказать, что сэр Исаак неверно рассчитал орбиту Луны. Только здесь «Минерва» — Земля, шхуна — Луна, а неподвижный Бостон, без сомнения, центр Вселенной. Даниель проводит исключительно приятные полчаса, переводя аккуратные замеры Даппы в синусы, косинусы, конические сечения и производные. Приятные, потому что упорядоченность изгоняет страх. И ещё потому, что он в увлечении забывает про тянущие, пульсирующие швы.

— Даппа прав. Шхуну сносит под ветер; скоро она либо повернет, либо сядет на мель, — объявляет он ван Крюйку на юте.

Ван Крюйк раз, другой, третий пыхтит трубочкой, кивает и что-то бормочет по-голландски. Боцманы и вестовые разносят его волю по палубам корабля. «Минерва» забывает про шхуну и направляет все силы на предстоящий бой со шлюпом.

Ещё через полчаса увальчивая шхуна доставля-

ет им повод повеселиться: она и впрямь садится на мель у самого окончания Трескового мыса. Позор, разумеется, но не то чтоб совсем неслыханный. Английские пираты в Массачусетсе всего несколько дней и не обязаны знать назубок все местные мели. Шкипер решил, что безопаснее сесть на мель и после с неё сняться, чем выйти из боя и отвечать перед Тичем.

Ван Крюйк немедленно приказывает взять курс вест-тень-зюйд, как если бы решил возвращаться в Бостон. Он намерен зайти Тичу в корму и дать по шлюпу продольный бортовой залп. Однако Тич успевает сменить галс, уйти из-под пушек «Минервы», повернуть к югу, пройти мимо севшей на мель шхуны и забрать с неё несколько десятков матросов, которые пригодятся в абордажном бою. Через несколько минут он уже нагоняет «Минерву» с кормы.

Состязания в лавировке продолжаются около часа. Тич хочет подойти к «Минерве» на расстояние мушкетного выстрела, не угодив под её пушки; ван Крюйк — дать один, хорошо просчитанный бортовой залп. Происходит вялая перестрелка. Тич проделывает в борту «Минервы» дыру, которую быстро латают; шквал железного лома с юта «Минервы» сносит один

из парусов шлюпа, который тут же заменяют новым. Тоскливое однообразие и необходимость отойти подальше от берега, покуда ещё светло, берут верх над ненавистью ван Крюйка к пиратам. Даппа напоминает, что до Атлантического океана всего миля-две. Он убеждает ван Крюйка, что лучший способ унизить пирата — оставить его с носом. Обогнать пирата, уверяет он, более сладкая месть, нежели одолеть его в бою.

Ван Крюйк приказывает лечь на другой галс и взять курс на Англию. Канониры вынуждены, как древле Цинциннат, в самый момент торжества перейти к мирным трудам: в данном случае — поднять все паруса, какие «Минерва» может нести. Усталые, закопчённые матросы вылезают на свет и, едва хлебнув по глотку воды, принимаются выстреливать лисель-спирты. Лиселя разворачиваются и наполняются ветром. Словно альбатрос, что долго летел сквозь нагромождение скал и наконец, взмыв, увидел пред собой безбрежный простор, «Минерва» расправляет крылья и устремляется в полёт. Корпус обращается в точку, влекомую исполинской туманностью парусов.

Видно, как Тич мечется по шлюпу, из головы у него буквально валит дым. Он размахивает

абордажной саблей и орёт на команду, однако все знают, что «Месть королевы Анны» не готова сейчас пересечь Атлантический океан.

«Минерва» несётся по синей воде с силой, которую Даниель ощущает ступнями. Она рассекает зыбь, как утром сокрушила пиратский кеч; покуда солнце садится над Америкой, «Минерва» с попутным ветром устремляется к Старому Свету.